РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН

4

ИЮЛЬ-АВГУСТ

"НАУКА"
МОСКВА – 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Вяч. Вс. Иванов (Москва/Лос-Анджелес). Об эволюции переработки и передачи информации в сообществах людей и животных 3
А.Д. Кошелев (Москва). Об основных парадигмах изучения естественного языка в свете современных данных когнитивной психологии 15
З.А. Зорина (Москва). Обезьяны не только «думают», но и «говорят» 41
А.Е. Кибрик (Москва). Лингвистическая реконструкция когнитивной структуры 51
У. Чейф (Санта-Барбара). Роль интроспекции, наблюдения и эксперимента в понимании мышления 78
К.Ю. Дружкин (Москва). «Группа артикля» в древнегреческом языке 89

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

П.В. Иосад (Москва). Теория оптимальности: обзор основной литературы 104

Рецензии

И.Б. Левонтина (Москва). Антология концептов 122
В.М. Мокиенко (Грейфсвальд). *W. Wysoczański*. Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków 126
Я.Г. Тестелец (Москва). *A. Pereltsvaig*. Copular sentences in Russian. A theory of intra-clausal relations. Studies in natural language and linguistic theory 131
В.Б. Крысько (Москва). Типографский устав: Устав с Кондакарем конца XI – начала XII века 136
А.Б. Летучий (Москва). *D.A. Peterson*. Applicative constructions 147

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

Л.Л. Федорова (Москва). Международная конференция «Стереотипы в языке, коммуникации и культуре» 152
Н. Н. Казанский (Санкт-Петербург). XIX ежегодная индоевропейская конференция в Лос-Анджелесе 155

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.А. Плунгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН,
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

© Российская академия наук, 2008 г.
© Редколлегия журнала «Вопросы языкознания» (составитель), 2008 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 2008

© 2008 г. Вяч. Вс. ИВАНОВ

ОБ ЭВОЛЮЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В СООБЩЕСТВАХ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ

Рассматривается несколько вопросов, признающихся ключевыми при сопоставлении систем коммуникации людей и животных (в частности, антропоидов и обезьян): 1. Эволюция символики чисел и счета, в частности, сохранение у человека двух разных обнаруженных у животных систем оценки количества – общей, не связанной с дискретным счетом, и другой, предполагающей счет отдельных различающихся предметов. Рассматривается развитие некоторых языков Амазонии, приведшее к сохранению первой системы при почти полном исчезновении второй, опиравшейся в них некогда на числительные, позднее исчезнувшие. 2. Соотношение в эволюции речи, пения и музыки в связи с проблемой первичности общения песенного типа и с выявлением ритмической активности у антропоидов. 3. Генетические истоки естественного звукового языка в свете открытий последних лет, касающихся эволюции гена FOX P2, играющего роль для коммуникации у разных животных (от птиц и мышей до человека) и по новым данным претерпевшего сходные изменения у Человека Разумного и неандертальца. 4. Теоретико-информационный подход к языкам и мышлению человека и животных в связи с развитием идей квантовой теории информации в трудах Л.Б. Левитина и других крупных современных ученых.

Начавшееся обсуждение увлекательной книги З.А. Зориной и А.А. Смирновой позволяет поставить несколько вопросов, существенных для будущего диахронического изучения языка в контексте соединения лингвистических, естественно-научных и математических исследований.

1. Эволюция символики чисел и счета. Излагаемую в книге З.А. Зориной и А.А. Смирновой [Зорина, Смирнова 2006: 53–54] идею Л.С. Выготского о различных путях развития мышления и языка, лишь на последнем (собственно человеческом) этапе соединяющихся в единой семиотической системе, представляется возможным конкретизировать на примере категории числа и счета. В книге этот вопрос рассмотрен на примере опытов с шимпанзе и макаками, с одной стороны, с высшими видами птиц – воронами и попугаями, с другой [Зорина, Смирнова 2006: 78–90, 204, 251, 253, 256, 288]. В настоящее время можно сослаться и на новейшие результаты сравнительного изучения возможностей приближенной и точной оценки количеств у животных (в том числе обезьян), детей и взрослых людей, говорящих на языках разных типов. Согласно последней серии исследований, проведенных с помощью современных методов, можно предположить наличие двух разных систем, имеющих эволюционные корни. Одна система, очень рано формирующаяся в ходе эволюции (уже у рыб и рептилий[1], не говоря уже о более продвинутых видах [Dehaene 1997; Uller et al. 2003; Wiese 2003: 95–107]) и представленная у детей начиная с младенчества, позволяет приближенно оценить количество предметов, в том числе и достаточно большое [Dehaene et al. 2004; Feigenson et al. 2004]. Другая система, имеющая аналоги у обезьян и рано проявляющаяся у младенцев, делает возможным точно сосчитать небольшое число предметов (у макаки-резуса число их ограниче-

[1] Я не возвращаюсь здесь к затронутому в моей статье в обсуждаемой книге вопросу об информации, передаваемой танцем пчел, так как там следует говорить об оценке расстояния, а не о счете в собственном смысле слова. Данные об арифметических способностях муравьев получены Ж.И. Резниковой, см. [Зорина, Смирнова 2006: 40].

но пределом 4 [Hauser et al. 2000], новейшие данные об арифметических способностях обезьян см. [Cantlon, Brannon 2007]). Взаимодействие двух этих систем ведет, в частности, к выделению особых базисных числительных, которыми в большинстве языков служат 2 или 3, 4 или 5[2]: другие числительные, часто построенные на этих базисных, от них отличны, что может иметь и грамматическое выражение (ср. в индоевропейских языках противопоставления типа русск. *четыре человека – шесть людей*).

Нейронные модели работы мозга начали использовать для выяснения нервных механизмов, лежащих в основе каждой из двух систем. Предположены на нейронном уровне пути определения количества предметов в мозге макаки. Определенные нейроны (около 15–30% в соответствующей популяции) соотносятся с конкретным числом. При показе соответствующего множества предметов нейроны отвечают, как бы голосуя за известное число. Если большинство нейронов высказывается за данное число, принимается соответствующее решение (Рис. 1, B). Зоны коры обоих полушарий, отвечающие за операции по оценке количества предметов, у макаки и человека сопоставимы (Рис. 1, A и C).

У человека связь операций этого рода с теменными зонами обоих полушарий подтверждается и патологическими случаями – нарушением счета (дискалькулией), вызванной поражением этих зон в случае синдрома Тернера и других генетических заболеваний [Dehaene et al. 2004; Molko et al. 2003; Bruandet et al. 2004; Rivera et al. 2002]. При некоторых из подобных болезней страдают системы одного полушария, у правшей – обычно левого [Barnes-Goraly et al. 2005]. Нейропсихологические основы более поздних в эволюционном плане операций счета возможно обнаруживает заболевание с последствиями отчасти сходного типа – синдром Герстманна, вызванный повреждением левой теменной области мозга. Он ведет не только к отсутствию счета-акалькулии, но часто и к расстройству других форм собственно человеческой семиотической деятельности – аграфии (нарушению письма), нераспознаванию пальцев и нарушению двоичного противопоставления правой и левой стороны[3]. Эти семиотические функции человека, как и

---

[2] См. оживленную дискуссию об этих числительных [Hurford 1987; 2001; 2003; Dehaene, Mebler 1972; Dehaene 2001; Rutkovski 2003, Hammarstrom 2004; Heine 1997; Cowan 2001].

[3] Ср. [Иванов Вяч.Вс. 1998: 421–422, 463]. Синдром Герстманна сейчас рассматривают как нарушение преобразования мыслительных образов [Mayer et al. 1999; Gruber et al. 2001; Fias et al. 2003]. Возражения против единства разных расстройств, объединяемых синдромом Герстманна, пробовали едва ли правомерно обосновать ссылками на опыты сравнения образов отделов мозга, активизировавшихся при стимуляции числительными и названиями частей тела [Le Clec et al. 2000]. Отрицательный вывод об отсутствии связи между двумя этими семантическими полями свидетельствует только о том, что данные исторической и типологической семантики, полученные на материале множества языков, где числительные образованы от названий частей тела, нельзя прямо сравнивать с результатами нейропсихологического изучения людей, говорящих на современных западно-европейских языках, в которых числительные организованы по другим принципам. Одно из условий успешного сотрудничества естественных наук с семиотическими состоит в обязательном учете данных каждой области знания. Ставший нейропсихологом математик Деэн, увлекшись биологическими истоками оценки количества, в широко развернутом цикле публикаций со своими соавторами не придает достаточного значения этапу пальцевого счета, что делает его схему исторически сомнительной. В этом отношении необходимые коррективы вносят исследования, показывающие, что нервные системы, ведавшие движениями пальцев, позднее переключаются на счет предметов и математические рассуждения [Anderson 2007; Gentilucci, Corballis 2006; Butterworth 1999; Penner-Wilger et al. 2007]. О необходимости принятия во внимание при более общих построениях пальцевого счета и других неязыковых способов кодирования чисел ср. также [Harris 1982]. Большое число работ в последние годы связано с применением к естественному языку и языку жестов идеи зеркальных нейронов, ср. [Arbib 2006; Corballis 2006]. При всех должных оговорках по поводу роли самонаблюдения я считаю нужным к этому прибавить, что великий математик А.Н. Колмогоров рассказывал мне, как для него математические идеи связывались с определенными ощущениями в пальцах рук. По его словам, он делился этим выводом с акад. Понтрягиным, который подтвердил эту мысль на собственном опыте (Понтрягин был слепым, но в данном случае это едва ли имеет значение, потому что он ослеп в отрочестве, когда он уже начал заниматься математикой).

Рис. 1. А – результаты электрофизиологического изучения зон мозга макаки, участвующих в выработке оценок количества; В – профили ответов разных нейронов этих зон мозга макаки в зависимости от числа показываемых ей предметов (по логарифмической шкале); С – результаты активации зон мозга человека (по методу получения образов мозга при магнитно-ядерном резонансе) при подсчете числа предметов. По [Dehaene 2007; Nieder, Freedman, Miller 2002; Nieder, Miller 2003; 2004; Nieder, Marten 2007].

более древние, им предшествовавшие в эволюции, соотносятся с теми же теменными зонами, но при наличии латерализации, выделяющей левое полушарие как доминантное. Оно первоначально ведает у человека пальцевым счетом, предшествующим словесному. Сравнение жестовых символов антропоидов и людей подтверждает идею первичности счета посредством жестов. В той мере, в какой антропоидов удается обучить жестовым символам, соответствующим числительным естественного человеческого языка, они в состоянии производить операции счета. В развитии коммуникации ребенка и в реконструированных праязыках многих семей языков пальцевые жесты выступают в качестве символов соответствующих чисел, что можно считать универсальной чертой естественных языков, где, как правило, числительное 5 означало некогда «одна рука», 10 – «обе руки» и т.п.

Изложенные выше открытия, касающиеся ранних систем счета, были использованы для истолкования своеобразия числительных и особенностей счета у некоторых племен Бразилии [Pica et al. 2004]; ср. [Gelman, Butterworth 2005: 8–9; Ivanov V.V. 2007; Иванов Вяч.Вс. 2007]. В современном языке мундуруку, где не осталось числительных выше пяти (5 = *pũg pogbi* 'одна рука'), все числа, большие, чем это предельное, выражаются размытым (расплывчатым – fuzzy) образом – с ними соотносятся разные количественные слова. Можно сказать, что у мундуруку (как и у пирахан и у некоторых других племен Амазонии «зоны пирахан»[4], где отсутствуют числительные выше 2 и названия пальцев) сохраняется первая система приближенного обозначения количеств, не соотносящаяся с числительными, при очень слабых следах второй системы точного счета (преимущественно по отношению к еще у них сохраняющимся первым числительным натурального ряда). Высказанное ранее [Иванов Вяч.Вс. 2005] предположение об исчезновении в языке пирахан древних числительных в связи с воздействием языков тупи согласуется с данными об истории ряда языков Амазонии. В вымерших языках мура, родственных пирахан, по данным, которые нуждаются в подтверждении, были числительные: мура *puhehi* «1», *mukóia* «2», *musapuri* «3»; бохура *huyi* «1», *mukui* «2» (ср. в древнем тупи *oíepé* «1», *mokõi* «2», *mosapy* «3»); как заметил еще в XIX в. Трамбелл [Trumbull 1874: 41–42, fn. 2], цитировавший латинские тексты европейских путешественников, после прихода европейцев язык тупи потерял бывшие в нем числительные, обозначавшие числа выше 3: древнее тупи *irundyk* «4», *po* «5 = рука», *che po che py* «20 = мои руки и ноги» (формально в тупи, как и в пирахан, различие единственного и множественного числа не выражено). В настоящее время в мундуруку (семья тупи) отсутствуют зафиксированные более ранними источниками числительные для чисел, большие, чем 5. Эти особенности языков Амазонии (в частности, семьи тупи) уже несколько веков назад (в 1690 г.) обнаружил и осмыслил основатель современной когнитивной семиотики Джон Локк. Говоря о необходимости знаков или имен для понимания чисел и счета, он писал: «некоторые жители Америки, с которыми я разговаривал (и которые в других отношениях обладали довольно хорошими умственными способностями), в своем счете никоим образом не могли, подобно нам, дойти до тысячи и не имели отдельной идеи этого числа, хотя очень хорошо считали до двадцати, ибо их язык, скудный, приспособленный к немногим потребностям их бедной и простой жизни, не знакомой ни с торговлей, ни с математикой, не имел слов для обозначения тысячи. И когда с ними беседовали о таких больших числах, то для выражения большого количества, которого они не могли счесть, они указывали на свои волосы на голове. Эта неспособность их, я полагаю, происходила от недостатка названий. У племени туупинамбо не было имен для чисел выше пяти; все числа больше пяти они выражали, показывая на свои пальцы и на пальцы других присутствующих лиц. Да и мы сами, несомненно, могли бы точно считать, [пользуясь] словами гораздо дальше, чем считаем обычно, если бы придумали хотя бы еще несколько пригодных для обозначения чисел наименований»[5]. Наблюдение Локка можно подкрепить ссылкой на то, что у пирахан большее или меньшее количество предметов символизи-

---

[4] Понятие введено М. Сисоу (Cysouw) на основании данных «Всемирного атласа языковых структур»; в зону входит 29 языков разных языковых семей Амазонии, объединенных 22 общими фонологическими и грамматическими типологическими признаками, редко встречающимися в других областях. К их числу относятся и синтаксические особенности числительных, которые в некоторых из этих языков связываются в предложении только с глаголом, а не с именем [Dryer 2005]. Ср. в языке арара каро *ma 'wit ip ?iy matet iagárokũm-nem* 'Вчера человек поймал 2 рыбы (букв. Человек-рыбу-ловит-вчера-две)'. Вызывающие оживленную дискуссию взгляды Эверетта на пирахан (изложенные в статье [Иванов Вяч.Вс. 2005] преимущественно на основании его материалов в Интернете) опубликованы в работе [Everett 2005] в сопровождении ряда критических комментариев. Напечатанные недавно [Gelman, Butterworth 2005: 9] сведения Эверетта о легкости выучивания «португальского» счета у пирахан противоречат другим опубликованным ранее утверждениям этого и других исследователей.

[5] [Локк 1985: 256–257]. Там же см. о счете у детей в раннем возрасте.

руется иконическим жестом раскрытой ладони, которая может соответственно приближаться к земле или удаляться от нее (аналогический способ передачи информации). Другим способом жестового обозначения большого количества предметов у пирахан служит поза сидящего человека (чаще мужчины), который вытягивает руки и ноги, а также вытягивает пальцы рук и пальцы ног[6].

В отличие от Локка многие современные исследователи, пишущие в последние годы об этих заново открытых особенностях языков Амазонии, сосредоточены не столько на занимавшей Локка необходимости чисел для точного счета, сколько на возможности определения количества независимо от языка. На основании этих фактов и экспериментов с людьми в обществах современного типа нейропсихологи приходят к выводу о том, что язык и математика не зависят друг от друга, и к звучащему на лад Платона утверждению, согласно которому понятие числа возникает раньше, чем соответствующее ему слово [Varley et al. 2005; Brannon 2005; Dehaene 2007] можно было бы процитировать для иллюстрации этой мысли в духе Выготского строки любимого его поэта – Мандельштама: «Быть может, прежде губ уже родился шепот, И в бездревесности кружилися листы». Можно предположить, что это раннее понятие числа сперва воплотилось в жесте и потом лишь – в слове. Без слова представление точного дискретного числа невозможно. Как и многие другие идеи современной семантики, гипотеза об этом пути овладения числом была предвосхищена еще Лейбницем, писавшим о переходе от непрерывного (аналогического) понимания числа к дискретному (точному).

Для сравнения с системами коммуникации антропоидов и людей значительный интерес представляет описание человеческих жестовых символов для чисел как одного из способов передачи ручных понятий согласно мысли великого антрополога Кашинга [Cushing 1892], которую развивавший ее Леви-Брюль назвал открытием гения [Леви-Брюль 1930: 105–107, 128, 134]. Эйзенштейн пытался продолжить это открытие в собственных экспериментах, касающихся архаичного мышления и его использования в искусстве[7]. В замечательном исследовании А. Леруа-Гурана было показано, в какой мере история культуры определяется соотношением жеста («ручного понятия») и речи [Leroi-Gourhan 1965]. Эксперименты с антропоидами, описанные в книге Зориной и Смирновой, послужили одним из доводов для возвращения к давней идее первоначальности языка жестов по сравнению с фонемным устным языком[8]. Однако можно задаться вопросом, являются ли ручные понятия типа древних жестовых символов для чисел пережитком еще более ранней ручной символики или же речь может идти о специализированном языке для арифметики, который мог сосуществовать с естественным устным языком, описывавшим другие сферы повседневной жизни; наличие именно в сфере счета особых зрительных символов характерно для разных по времени человеческих семиотических систем от открытых Фроловым и Маршаком зарубок в графике палеолита до знаков (tokens) предклинописи, изученных Шмандт-Бессера, и позднейших логографических и силлабических письменных способов передачи чисел (ср. характерное наличие цифр-логограмм в современном алфавитном письме).

При изучении жестовых способов общения антропоидов с людьми в лабораторных условиях одним из важных вопросов является то, в какой мере соответствующие знаки представляют собой результат воздействия исследователей. Книга Зориной и Смирно-

---

[6] [Everett 2005: 624]. Ср. выше об обозначении 20 = «мои руки и ноги» у тупи. Эверетт [Там же] сообщает также, что у пирахан части тела могут играть роль числительных: '*apai* 'голова = во-первых'.

[7] [Эйзенштейн 2002: 93, 458; Иванов Вяч.Вс. 1998: 496; Ivanov V.V. 2006: 18-19]. Опыты Эйзенштейна были связаны с деятельностью кружка по изучению первобытного сознания и языка, для участия в котором он привлек Н.Я. Марра, Л.С. Выготского и А.Р. Лурия.

[8] Недавно было обнаружено использование правой руки при коммуникации бабуинами, в связи с чем выдвигается предположение, что левое полушарие управляло жестовыми знаками до того, как к нему перешла и функция управления возникавшим устным языком, см. [Meguerditchian, Vauclair 2006].

вой содержит обсуждение (на основе выводов Н.А. Войтониса и Н.А. Тих) того, как с помощью экспериментатора у обезьяны могут формироваться указательные жесты [Зорина, Смирнова 2006: 129–131]. В последнее время обнаружены некоторые случаи употребления шимпанзе на воле знаков (указателей-индексов по классификации Пирса), которые раньше были выявлены при общении их с людьми[9].

2. Речь, пение и музыка в эволюции. Описанная в книге З.А. Зориной и А.А. Смирновой [Зорина, Смирнова 2006: 112–113] система звуковых сигналов, использовавшаяся Н.Н. Ладыгиной-Котс при общении с Иони, как и последние неожиданные успехи бонобо Канзи в понимании устного английского языка [Там же: 120, 220–241], заставляют вернуться к сопоставительному анализу разных акустических знаков, используемых приматами. Особый интерес, как допускал еще Дарвин, могут представить гиббоны, у которых пение является важнейшей частью системы общения. Согласно последним работам в этой области, песни гиббонов (как при диалоге самца и самки [Geissmann 2002], так и в устных текстах, появляющихся при опасности нападения хищников) складываются из разных последовательностей одних и тех же элементарных «тонов» или слогов, имеющих определенную интонацию [Clarke et al. 2006]. Иначе говоря, структура целого текста определяется синтаксическими правилами сочетаний исходных элементарных единиц, что сопоставимо с принципами организации человеческого устного языка (количество фонем в разных человеческих языках в среднем существенно больше числа элементов коммуникации гиббонов). Отчасти сходные данные получены и в отношении некоторых из обезьян низшего эволюционного типа (в частности, *Cercopithecus nictitans*), у которых разные звуковые элементы соединяются по-разному в одно просодическое целое, имеющее различную структуру в зависимости от функции всего сообщения (сигнал присутствия хищника или необходимость движения стаи)[10]. Но значительность отличия как числа исходных элементов, так и строящихся из них сообщений, от принципиально большего, наблюдаемого в естественных языках, исключает возможность прямой генетической связи. Речь идет о сходстве типологическом или гомологии, которая может быть выявлена и при изучении того, как из элементов строится песня у певчей птицы (ср. [Fitch 2005; 2006]).

Наряду с жестами, роль которых сопоставима у антропоидов с функцией слов в естественных языках, они пользуются и акустическими сигналами. Звуковые сигналы эмоций у шимпанзе и человека имеют общие черты [Jurgens, Hammerschmidt 2006]. Разница состоит в том, что у человека междометия входят в словарь языка и образуются сочетаниями фонем (в том числе и особых внесистемных символов, встречающихся только в этой специальной части словаря). Иначе говоря, и здесь проявляется многоэтажность (точнее, многоуровневость), которую Роман Якобсон и Клод Леви-Строс признавали наиболее характерной особенностью разных человеческих систем. Согласно их общему выводу, эта многоуровневость обнаруживается в различных основных структурах человеческого общества и его коммуникации. Люди строят слова из цепочек фонем, используют орудия для изготовления орудий и брачные правила обмена женщинами для организации социальных структур: всякий раз элемент, который как таковой известен и у антропоидов (звуковой сигнал, орудие, отношение между самцом и самкой), используется как материал низшего уровня для построения собственно человеческой многоуровневой структуры, не имеющей прямых аналогов у антропоидов. Среднее число фонем в естественных языках близко к числу сигналов в системах коммуникации высших млекопитающих, но разница состоит в том, что у последних каждый сигнал имеет только одну

---

[9] [Pika, Mitani 2006]. Следует, однако, заметить, что эти знаки не входят в основной словарь тех средств общения, который используется в диалогах между человеком и антропоидом.

[10] [Arnold, Zuberbühler 2006]. Принципиальное отличие от фонемного языка в обеих системах у приматов состоит в крайне ограниченном числе образующихся сообщений с разными функциями.

функцию, а фонемы используют для построения слов с потенциально бесконечным числом функций.

Акустическая сигнализация обезьян и антропоидов сопоставима у человека как с устным языком, так и с пением и музыкой. Многие ученые сейчас возвращаются к гипотезе Дарвина о первичности общения песенного типа по сравнению с естественным языком [Masataka 2007]. Кажется возможным соотнести это предположение с выводами нейропсихологии. Приуроченность песенно-музыкальной памяти и композиторского творчества к правому полушарию можно было бы считать следом того отдаленного прошлого, когда хранение основной информации, нужной коллективу, осуществлялось посредством правополушарной памяти, основанной на слоговой песенной структуре (подробнее см. [Иванов Вяч.Вс. 2000; 2004а: 142–148; Ivanov V.V. 2000], там же обсуждаются возможные другие причины генетической передачи музыкальных способностей, которые едва ли могут быть ограничены только этими прагматическими потребностями, необходимыми для выживания).

Одной из наиболее интересных проблем, связанных с сопоставлением звуковых сигналов у антропоидов и человека, является ритмическая активность, характерная для бонобо, шимпанзе и горилл. Поскольку эта способность «барабанить» по собственному телу или по каким-либо используемым для этого предметам (например, стволам деревьев) есть только у перечисленных антропоидов и отсутствует у орангутанов[11] и гиббонов, в последнее время обсуждается вопрос о возможной связи этой ритмической активности с человеческой [Fitch 2005; 2006]. У человека особые орудия для производства музыкальных звуков засвидетельствованы археологически уже десятки тысяч лет назад (т.е. по времени сопоставимы с ранними образцами пещерного изобразительного искусства). Как и по отношению к использованию других орудий, допущение о возможной генетической связи (а не только гомологии или типологической параллели) применительно к производству ритмических последовательностей звуков у шимпанзе, бонобо и горилл кажется возможным.

3. Генетические истоки естественного звукового языка. Затрагиваемый во многих местах книги З.А. Зориной и А.А. Смирновой жгучий вопрос о биологических предпосылках языка получил в самые последние годы новое освещение благодаря серии работ, посвященных недавно открытому гену FOXP2 (Рис. 2), нарушения которого у человека ведут к неправильной работе многих частей речевого аппарата (и тех лицевых мускулов, которые могли играть роль и в языке жестов).

Отличительной особенностью гена является крайняя его консервативность. За 75 миллионов лет, которые на эволюционной лестнице разделяют мышь и шимпанзе, изменилась только одна аминокислота, тогда как человека от шимпанзе отличает целых две аминокислоты (чем подчеркивается связь данного гена с эволюцией человека разумного; в последнее время выявлено наличие изменения гена, сходное с произошедшим у человека, также у неандертальца, что может привести к пока еще недоказанной гипотезе о возведении этого изменения ко времени предполагаемого существования у них общего предка. См. [Krause et al. 2007]). Коммуникативная функция тех механизмов, за которые отвечает этот ген, предположительно является очень древней: ее можно обнаружить уже у некоторых певчих птиц, в частности, во время выучивания новых песен [Haesler et al. 2004; Scharff, White 2004; Teramitsu et al. 2004], ср. [Webb, Zhang 2005]. У ле-

---

[11] Отмеченный в моей статье в обсуждаемой книге дискуссионный вопрос о характере эволюционной близости орангутана и Человека Разумного продолжает обсуждаться в новейшей литературе. По молекулярным часам (на основании генетического сопоставления) время разделения предков человека и орангутана на несколько миллионов лет предшествовало отделению от других антропоидов (ср. ниже Рис. 2). Но замечено более 20 конкретных черт близкого сходства (больше, чем с шимпанзе), что следует объяснять другими способами, хотя некоторые приматологи настаивают на пересмотре сложившейся парадигмы, восходящей к провидческой заметке в записной книжке Дарвина об относительной степени близости разных типов антропоидов к человеку.

Рис. 2. Эволюция FOXP2 от мыши к обезьянам (макаке-резусу), орангутану, горилле, шимпанзе и человеку. Серые прямоугольники символизируют меняющиеся аминокислоты, вертикальные черточки – изменения в нуклеотидах. По [Enard et al. 2002].

тучих мышей предполагается связь эволюции этого гена с эхолокацией [Li et al. 2007]. А у мышей нарушение гена ведет к прекращению или ослаблению ультразвуковой связи между самкой и ее детенышами-мышатами [Shu et al. 2005]. Поскольку ген соотносится с областью 7q31 (хромосомы 7 [Lai 2000]), нарушения которой ведут к аутизму (понимаемому как генетическое заболевание), ставился и вопрос о связи этого гена с аутизмом. Но он пока остается без определенного ответа. Предполагается возможным и влияние нарушения этого гена на появление акустических галлюцинаций при шизофрении [Sanjuan et al. 2006]. Последнее представляет особый интерес в свете гипотезы Джейнза, допускавшего существенное значение таких галлюцинаций в древневосточных обществах, где предполагалось, что пророки получают непосредственную информацию от божества (ср. об этом [Иванов Вяч.Вс. 1998: 454]).

Исследование этого гена представляет собой только часть начавшегося изучения нестабильности генома человека, который мог претерпеть существенные изменения во время становления современного языка (предполагаемого источника всех или подавляющего большинства языков, позднее распространявшихся из Африки). Взгляд на этот именно ген как на важнейший фактор в развитии человека разделяется не всеми генетиками. Продолжающиеся работы, в частности, касающиеся взаимоотношения средств общения человека и антропоидов, могут пролить свет и на эту проблему.

4. Теоретико-информационный подход к языкам и мышлению человека и животных. Одной из главных проблем, обсуждаемых в книге З.А. Зориной и А.А. Смирновой, является вопрос о формах мышления животных, в частности, о выявлении ими аналогий. На этом пути современные исследователи, работы которых суммированы в соответствующей части книги [Зорина, Смирнова 2006: 71–101], пробуют конкретизировать идею Дарвина, полагавшего, что различия между человеком и животным состоят главным образом в количестве, а не в качестве. Кроме той статьи исследователей этого вопроса – Вассермана, Фагота и Янга, на которую среди других новых трудов ссылаются авторы [Там же: 57, 328], следует отметить и еще одну работу тех же исследователей [Fagot et al. 2001], где особое внимание обращено на возможность теоретико-информационного сравнения операций аналогического мышления у человека и обезьян (бабуинов). Вассерман и его соавторы приходят к выводу, что выбор, совершаемый обезьянами, целиком определяется энтропией используемых в опытах сходных и различных стимулов (картинок), тогда как в контрольной группе людей, решавших те же задачи отождествления и различения объектов, можно наблюдать и действие других факторов. Наблюдения этого рода приводят к положительному выводу о наличии логической ана-

логии не только у шимпанзе и павианов (что было установлено ранее, см. [Зорина, Смирнова 2006: 94], там же о воронах), но и у других обезьян – бабуинов.

В книге З.А. Зориной и А.А. Смирновой [Там же: 40] обращено внимание на существенность теоретико-информационного подхода к коммуникации у животных, возможность которого продемонстрирована в упоминаемых в книге опытах с муравьями новосибирской группы Ж.И. Резниковой и ее сотрудников. В последнем обзоре литературы, написанном Ж.И. Резниковой [Reznikova 2007], раскрываются многообразные возможности этого принципиально нового направления в исследовании коммуникации у животных. Из самых последних работ в этом духе стоит отметить детальное исследование энтропии песен горбатых китов [Suzuki et al. 2006]. Авторы установили, что за секунду с помощью одной песенной структурной единицы передается меньше 1 бита, дается также оценка количества информации, передаваемого всей песней (приблизительно 130 битов). Исследование предполагаемых аналогов рифм и других звуковых повторов может оказаться интересным для оценки избыточности языка сообщений. Продолжение подобных исследований может иметь большое значение для создания количественно ориентированного сравнительного описания систем коммуникации разных животных в их сопоставлении с естественными языками.

В последнее время предложены новые усовершенствованные методы вычисления энтропии естественного языка, основанные на игровом подходе [Levitin, Reingold 1994]. Это направление в целом в отличие от характерного для науки последнего полувека накопления эмпирических данных без общей теории относится к числу таких, где на первом плане – начинающиеся теоретические построения, сулящие перестройку целых больших разделов существующего знания. В этом отношении приобретает особую роль цикл работ последнего времени, посвященных информационному подходу к науке в целом. В этом смысле большое значение имели книги общего характера фон Бейера и других об информация как новом языке науки и серия физических исследований в этом направлении, где соединяются теория информация и квантовая механика. Опубликованные в последнее время обобщения в этой сфере касаются и организованных сложных систем, таких, как жизнь и искусственный интеллект [Toffoli, Levitin 2005: 58]. Стал очевидным смысл ранее замеченного сходства форм выражений для количества информации и давно открытой в термодинамике энтропии. Видную роль сыграла теорема Н. Марголюса и Л.Б. Левитина (начинавшего свои работы в России и продолжающего их в Бостоне). Она устанавливает соотношение между временем, нужным для производства информации, и энергией, на это затрачиваемой. Теорема и выводы из нее имеют приложение к целому спектру проблем от геометрии пространства – времени до определения числа операций, проделанных Вселенной как гигантским компьютером за время ее существования. Еще на заре кибернетики гениальный фон Нейман говорил о мире как о пассивной памяти машины (эта идея была широко использована нашими семиотиками в их исследованиях знаковых систем). Сейчас приходят к мысли, что существование Вселенной состоит в вычислении. Это важно не только для теории познания в целом, но и для понимания роли каждой отдельной научной дисциплины. Вслед за созданием Шенноном теории информации в годы после Второй мировой войны появилось множество опытов приложения ее к исследованию языка, музыки и других систем знаков (см. библиографию и обзор [Моль 1966; Яглом А., Яглом И. 2006]). Позднее интерес к таким исследованиям охладевает, хотя для многих ученых установление возможности количественного подхода к проявлениям духовной культуры остается одним из главных достижений науки прошлого века (ср. [Иванов Вяч.Вс. 2004б]). Оживление интереса к этим проблемам приходит в последнее время со стороны естественных наук. Теория информации (в частности, развитая в последние годы квантовая теория информации [Холево 2000]) начинает применяться к очень широкому кругу явлений, включающему и разные виды языков и знаковых систем, используемых людьми и разными живыми существами (в том числе обезьянами и антропоидами). Книга З.А. Зориной и А.А. Смирновой поможет привлечению интереса наших ученых (особенно молодых) к этому важнейшему направлению современной науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Зорина, Смирнова 2006 – *З.А. Зорина, А.А. Смирнова*. О чем рассказали «говорящие» обезьяны. М., 2006.

Иванов Вяч.Вс. 1998 – *Вяч.Вс. Иванов*. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 1. М., 1998.

Иванов Вяч.Вс. 2000 – *Вяч.Вс. Иванов*. Заметки по исторической семиотике музыки // Музыка и незвучащее. М., 2000.

Иванов Вяч.Вс. 2004а – *Вяч.Вс. Иванов*. Наука о человеке. Введение в современную антропологию. М., 2004.

Иванов Вяч.Вс. 2004б – *Вяч.Вс. Иванов*. Лингвистика третьего тысячелетия: вопросы к будущему. М., 2004.

Иванов Вяч.Вс. 2005 – *Вяч.Вс. Иванов*. Типология языков бассейна Амазонки. II. Числительные и счет // ВЯ. 2005. № 5.

Иванов Вяч.Вс. 2007 – *Вяч.Вс. Иванов*. К антропологии числа // Studia ethnologica. АБ–60: Сб. ст. к 60-летию А.К. Байбурина. СПб.: Европейский Университет в Санкт-Петербурге, 2007.

Леви-Брюль 1930 – *Л. Леви-Брюль*. Первобытное мышление / Пред. Н.Я. Марра. М., 1930.

Локк 1985 – *Дж. Локк*. Опыт о человеческом разумении // Сочинения. Т. 1. М., 1985.

Моль 1966 – *А. Моль*. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.

Холево 2000 – *А.С. Холево*. Квантовая теория информации. М., 2000.

Эйзенштейн 2002 – *С.М. Эйзенштейн*. Метод. Т. 1. Grundproblem. М., 2002.

Яглом А., Яглом И. 2006 – *А.М. Яглом, И.М. Яглом*. Вероятность и информация. 4-е изд. 2006.

Anderson 2007 – *M.I. Anderson*. Evolution of cognitive function via redeployment of brain areas // The neuroscientist. 13 (1). 2007.

Arbib 2006 – *M. Arbib* (ed.). Action to language via the mirror neuron system. Cambridge, 2006.

Arnold, Zuberbühler 2006 – *K. Arnold, K. Zuberbühler*. Language evolution: Semantic combinations in primate calls // Nature. 441. 2006.

Barnes-Goraly et al. 2005 – *N. Barnes-Goraly, S. Eliez, V. Menon, R. Bammer, A.I. Reiss*. Arithmetic ability and parietal alterations; A diffusion tensor imaging study in velocardiofacial syndrome // Cognitive brain research. 25. 2005.

Brannon 2005 – *E.M. Brannon*. The independence of language and mathematical reasoning // Proceedings of the National academy of sciences of the USA. 102 (9). 2005.

Bruandet et al. 2004 – *M. Bruandet, N. Molko, L. Cohen, S. Dehaene*. A cognitive characterization of dyscalculia in Turner syndrome // Neuropsychologia. 42. 2004.

Butterworth 1999 – *B. Butterworth*. The mathematical brain. London, 1999.

Cantlon, Brannon 2007 – *J.F. Cantlon, E.M. Brannon*. Basic math in monkey and college students // PLoS Biology. 5 (12). 2007.

Clarke et al. 2006 – *E. Clarke, U.H. Reichard*. Zuberbühler. The syntax and meaning of wild gibbon songs // PLoS ONE. 1 (1). 2006.

Corballis 2006 – *M.C. Corballis*. Evolution of language as a gestural system // Marges linguistiques. № 11. 2006.

Cowan 2001 – *D. Cowan*. The magical number 4 in short-term memory. A reconsideration of mental storage capacity // Behavioral and brain sciences. 24. 2001.

Cushing 1892 – *F.H. Cushing*. Manual concepts: A Study of the influence of hand-usage on culture-growth // American anthropologist. V. 5. № 4. 1892.

Cysouw – *M. Cysouw*. Area centered on Pirahã // http://email.eva.mpg.de/~cysouw/pdf/cysouwKOEL-NAPPENDIX.

Dehaene 1997 – *S. Dehaene*. The number sense. Oxford, 1997.

Dehaene 2001 – *S. Dehaene*. Author's response. Is number sense a patchwork? // Mind and language. 16. 2001.

Dehaene 2007 – *S. Dehaene*. A few steps toward a science of mental life // Mind, brain and education. V. 1. № 1. 2007.

Dehaene, Mebler 1992 – *S. Dehaene, J. Mebler*. Cross-linguistic regularities in the frequency of number words // Cognition. 43. 1992.

Dehaene et al. 2004 – *S. Dehaene, N. Molko, L. Cohen, A.J. Wilson*. Arithmetic and the brain // Current opinion in neurobiology. 2004. 14.

Dryer 2005 – *M. Dryer*. (Map) 89. Order of numeral and noun // World atlas of linguistic structures. Berlin, 2005.

Enard et al. 2002 – *W. Enard, M. Przeworski, S. Fisher, C. Lai, V. Wiebe, T. Kitano, A. Monaco, S. Pääbo*. Molecular evolution of FOXP2, a gene involved in speech and language // Nature. 418. 2002.

Everett 2005 – *I. Everett*. Cultural constraints on grammar and cognition in Pirahã // Cultural anthropology. V. 46. № 4. 2005.

Fagot et al. 2001 – *J. Fagot, E.A. Wasserman, M.E. Young*. Discriminating the relation between relations; the role of entropy in abstract conceptualization by baboons (*Papio papio*) and humans (*Homo sapiens*) // Journal of experimental psychology. Animal behavior processes. V. 17. № 4. 2001.

Feigenson et al. 2004 – *L. Feigenson, S. Dehaene, E. Spelke*. Core systems of number // Trends in cognitive sciences. V. 8. № 7. 2004.

Fias et al. 2003 – *W. Fias, J. Lammertyn, B. Reynvoet, P. Dupont, G.A. Orban*. Parietal representation of symbolic and non-symbolic magnitude // Journal of cognitive neuroscience. 15 (1). 2003.

Fitch 2005 – *W.T. Fitch*. The evolution of music in comparative perspective // Annals of the New York Academy of sciences. 1060 (1). 2005.

Fitch 2006 – *W.T. Fitch*. The biology and evolution of music: a comparative perspective // Cognition. V. 100. № 1. 2006.

Geissmann 2002 – *T. Geissmann*. Duet-splitting and the evolution of gibbon songs // Biological Review. 77. 2002.

Gelman, Butterworth 2005 – *R. Gelman, B. Butterworth*. Number and language: how are they related? // Trends in cognitive sciences. V. 9. № 1. 2005.

Gentilucci, Corballis 2006 – *M. Gentilucci, M.C. Corballis*. From manual gesture to speech: a gradual transition // Neuroscience behavior review. 30. 2006.

Gruber et al. 2001 – *O. Gruber, P. Indefrey, H. Steinmetz, A. Kleinschmidt*. Dissociating neural correlates of cognitive components in mental calculation // Cerebral cortex. 11 (4). 2001.

Haesler et al. 2004 – *S. Haesler, K. Wada, A. Nashdejan, E.E. Morrisey, T. Lints, E.D. Jarvis, C. Scharff*. FoxP2 expression in avian vocal learners and non-learners // Journal of neuroscience. 24 (13). 2004.

Hammarström 2004 – *H. Hammarström*. Properties of lower numerals and their explanation: A reply to Pavel Rutkovski // Journal of universal language. V. 5. № 2. 2004.

Harris 1982 – *J.W. Harris*. Facts and fallacies of aboriginal number systems // Languages and cultures. Work papers of Summer institute of Linguistics-Australian Aboriginal Branch. Series B. 1982.

Hauser et al. 2000 – *M.D. Hauser, S. Carey, L.B. Hauser*. Spontaneous number representation in semi-free-ranging rhesus monkeys // Proceedings of the Royal Society. B. Biological sciences. London. 267. 2000.

Heine 1997 – *B. Heine*. Cognitive foundations of grammar. Oxford, 1997.

Hurford 1987 – *J.R. Hurford*. Language and number. Oxford, 1987.

Hurford 2001 – *J.R. Hurford*. Languages treat 1–4 specifically. Commentary on Stanislas Dehaene' précis of *The number sense* // Mind and language. 16. № 1. 2001.

Hurford 2003 – *J.R. Hurford*. The interaction between numerals and nouns // F. Plank (ed.). Noun phrase structure in languages of Europe (Empirical approaches to language typology. V. 20. № 7). Berlin, 2003.

Ivanov V.V. 2000 – *V.V. Ivanov*. The semiotic of sound texts: the semiotic dimensions // Elementa. V. 4. № 3. 2000.

Ivanov V.V. 2006 – *V.V. Ivanov*. Eisenstein's risqué drawings and the «cardinal problem» of his art // A mischievous Eisenstein. St.-Petersburg, 2006.

Ivanov V.V. 2007 – *V.V. Ivanov*. Towards semiotics of number // Bulletin of the Georgian national academy of sciences. V. 175. № 1. 2007.

Jürgens, Hammerschmidt 2006 – *U. Jürgens, K. Hammerschmidt*. Common acoustic features in the vocal expression of emotions in monkeys and man // Primate report. 74. 2006.

Krause et al. 2007 – *J. Krause, C. Lalueza-Fox, L. Orlando, W. Enard, R.E. Green, H.A. Burbano, J.-J. Hublin, C. Hänni, J. Fortes, M. de la Rasilla, J. Bertranpetit, A. Rosas, S. Pääbo*. The derived FOXP2 Variant of modern humans was shared with Neandetertals // Current biology. 17. 2007.

Lai et al. 2000 – *C. Lai, S. Fisher, J. Hurst, E. Levy, S. Hodgson, M. Fox, S. Jeremiah, S. Povey, D. Jamison, E. Green, F. Vargha-Khadem, A. Monaco*. The SPCH1 region on human 7q31: genomic characterization of the critical interval and localization of translocations associated with speech and language disorder // American journal of human genetics. 67 (2). 2000.

Le Clec et al. 2000 – *G. Le Clec, S. Dehaene, L. Cohen, J. Mehler, E. Dupoux, J.B. Poline, S. Lehericy, P.F. van de Moortel, D. Le Bihan*. Distinct cortical areas for names of numbers and body parts independent of language and input modality // NeuroImage. 12. 2000.

Leroi-Gourhan 1965 – *A. Leroi-Gourhan*. Le geste et la parole. Paris, 1965.

Levitin, Reingold 1994 – *L.B. Levitin, Z. Reingold.* Entropy of natural languages: Theory and experiment // Chaos. Solitons. Fractals. 4. 1994.

Li et al. 2007 – *G. Li, J. Wang, J.R. Rossiter, G. Jones, S. Zhang.* Accelerated Fox P2 evolution in Echolocating bats // PLos ONE. 2 (9). 2007.

Masataka 2007 – *N. Masataka.* Music, evolution and language // Developmental science. V. 10. № 1. 2007.

Mayer et al. 1999 – *E. Mayer, M.-D. Martory, A.J. Pegna, T. Landis, J. Delavelle, J.-M. Annoni.* A pure case of Gerstmann syndrome with a subangular lesion // Brain. V. 122. № 6. 1999.

Meguerditchian, Vauclair 2006 – *A. Meguerditchian, J. Vauclair.* Baboons communicate with their right hand // Behavioural brain research. 171. 2006.

Molko et al. 2003 – *N. Molko, A. Cachia, D. Riviere, J.F. Mangin, M. Bruandet, D. Le Bihan, L. Cohen, S. Dehaene.* Functional and structural alterations of the intraparital sulcus in a developmental dyscalculia of genetic origin // Neuron. 40. 2003.

Nieder, Freedman, Miller 2002 – *A. Nieder, D.J. Freedman, E.K. Miller.* Representation of the quantity of visual items in the primate prefrontal cortex // Science. 297. 2002.

Nieder, Marten 2007 – *A. Nieder, K. Marten.* A labeled-line code for small and large numerosities in the monkey prefrontal cortex // The journal of neuroscience. 27 (22). 2007.

Nieder, Miller 2003 – *A. Nieder, E.K. Miller.* Coding of cognitive magnitude. Compressed scaling of numerical information in the primate prefrontal cortex // Neuron. 37. 2003.

Nieder, Miller 2004 – *A. Nieder, E.K. Miller.* A parieto-frontal network for visual numerical information in the monkey // Proceedings of the National Academy of sciences of the United States of America. 101. 2004.

Penner-Wilger et al. 2007 – *M. Penner-Wilger, I. Fast, J. LeFevre, B.L. Smith-Chant.* The foundations of numeracy: subitizing, finger gnosia, and fine-motor ability // Proceedings of the 29th annual conference of the cognitive science society. Mahvah; New Jersey, 2007.

Pica et al. 2004 – *P. Pica, C. Lerner, V. Izard, S. Dehaene.* Exact and approximate arithmetic in an Amazonian Indigene group // Science. V. 306. 2004.

Pika, Mitani 2006 – *S. Pika, J. Mitani.* Referential gestural communication in wild chimpanzees (*Pan troglodytes*) // Current biology. 16. 2006.

Reznikova 2007 – *Zh. Reznikova.* Dialog with black box: using information theory to study animal language behaviour // Acta ethologica. Springer, 2007.

Rivera et al. 2002 – *S.M. Rivera, V. Menon, C.D. White, B. Glaser, A.L. Reiss.* Functional brain activation during arithmetic procession in females with fragile X syndrome is related to PMR1 protein expression // Human brain mapping. 16. 2002.

Rutkovski 2003 – *P. Rutkovski.* On the universal neuropsychological basis of the syntax of numerals // Journal of universal language. 2. 2003.

Sanjuan et al. 2006 – *J. Sanjuan, A. Tolosa, J.C. Gonzalez, E.J. Aguilar, J. Perez-Tur, C. Najera, M.D. Molto, R. de Frutos.* Association between FOXP2 polymorphisms and schizophrenia with auditory hallucinations // Psychiatrical genetics. 16 (2). 2006.

Scharff, White 2004 – *C. Scharff, S.A. White.* Genetic components of vocal learning // Annals New York Academy of sciences. 1016. 2004.

Shu et al. 2005 – *W. Shu, J.Y. Cho, Y. Jiang, M. Zhang, D. Weisz, G.A. Elder, J. Schmeidler, R. De Gasperi, M.A. Gama Sosa, D. Rabidou, A.C. Santucci, D. Perl, E. Morriseya, J.D. Buxbaum.* Altered ultrasonic vocalization in mice with a disruption in the FOXP2 gene // Proceedings of the National Academy of sciences of the USA. V. 102. № 27. 2005.

Suzuki et al. 2006 – *R. Suzuki, J.R. Buck, P.L. Tyack.* Information entropy of humpback whale songs // Journal of the Acoustical society of America. V. 119 (3). 2006.

Teramitsu et al. 2004 – *I. Teramitsu, L.C. Kudo, S.E. London, D.H. Geschwind, S.A. White.* Parallel FOXP1 and FOXP2 expression in songbird and human brain predicts functional interaction // Journal of neuroscience. 24 (13). 2004.

Toffoli, Levitin 2005 – *T. Toffoli, L.B. Levitin.* Specific ergodicity: an information indicator for invertible computational media // Computer frontiers. 2005.

Trumbull 1874 – *J.H. Trumbull.* On numerals in American Indian languages, and the Indian mode of counting // Transactions of the American philological association. V. 5. 1874.

Uller et al. 2003 – *C. Uller, R. Jaeger, G. Guldry, C. Martin.* Salamanders (Plethodon cinereus) go for more: rudiments of numbers in an amphibian // Animal cognition. 6. 2003.

Varley et al. 2005 – *R.A. Varley, N.J.C. Klessinger, C.A.J. Romanowski, M. Siegal.* Agrammatic but numerate // Proceedings of the National Academy of sciences of USA. 102 (9). 2005.

Webb, Zhang 2005 – *D.M. Webb, J. Zhang.* FoxP2 in Song-Learning birds and vocal-learning mammals // Journal of heredity. 96 (3). 2005.

Wiese 2003 – *H. Wiese.* Numbers, language and the human mind. Cambridge, 2003.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 2008

© 2008 г. А.Д. КОШЕЛЕВ

ОБ ОСНОВНЫХ ПАРАДИГМАХ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

В статье дан сопоставительный анализ трех альтернативных подходов (парадигм) к описанию языка и некоторых представляющих эти подходы концепций: Ф. де Соссюра, И.А. Мельчука, А. Вежбицкой, Дж. Лакоффа и др. Рассмотрены два недавних (последняя четверть XX в.) открытия в когнитивной психологии, позволяющие оценить перспективность обсуждаемых парадигм. Предложена трактовка языкового значения как концептуальной системы особого типа – продукта поэтапного развития концептуального мира ребенка.

I. ВВЕДЕНИЕ

Понимание роли языка и механизмов его функционирования предопределяется ответом на следующий вопрос: что для человека (ребенка) хронологически первично – его концептуальный мир или родной язык? Концептуальным миром мы называем целостное представление предметного мира – систему концептов (категорий ментальных объектов и связывающих их ментальных отношений), а языком – систему языковых знаков и правил их соединения.

Принципиальных ответа здесь три. Соответственно, получаем три парадигмы.

Первая парадигма исходит из постулата о первичности родного языка, который усваивается ребенком до концептуального мира. Используя язык, ребенок формирует далее свой концептуальный мир, категоризуя воспринимаемую действительность, расчленяя ее на концепты и устанавливая между ними отношения в соответствии с языковыми значениями и их отношениями. Язык оказывается замкнутой и самодостаточной системой, а концептуальный мир – ее продуктом, отражающим эту системность. Поскольку при этом концептуальный мир не внеположен языку, у языковых знаков не может быть референтов.

Центральным представителем первой парадигмы является теория Ф. де Соссюра, поэтому мы будем называть ее **соссюровской парадигмой**.

Третья парадигма исходит из противоположного постулата: концептуальный мир первичен и изначально (до языка) формируется в мозгу человека (ребенка). Усваиваемые позднее языковые значения суть поименованные элементы концептуального мира и их отношения. Поэтому системность знаков языка индуцируется системностью концептов мира. В этом случае язык также оказывается замкнутым, но не на себя, а на уже существующий и внеположный ему мир.

Эта парадигма отражает когнитивный подход к языку. Ее представляют концепции А. Вежбицкой и Дж. Лакоффа. Поскольку она противоположна первой, соссюровской парадигме, мы будем называть ее **антисоссюровской**, а также **когнитивной**.

Наконец, **вторая**, промежуточная парадигма исходит из постулата о том, что и концептуальный мир, и язык человека формируются как самостоятельные системы. Поэтому языковые знаки образуют свою системность (они замкнуты и самодостаточны), а элементы концептуального мира с их отношениями – свою. При этом языковые значения описывают концепты мира не непосредственно (в этом случае язык утратил бы самостоятельность, независимость от мира), а посредством специального универсального

языка мыслей. Эту парадигму естественно назвать **постсоссюровской**[1]. К ней, в частности, относятся концепции Н. Хомского и И.А. Мельчука.

В основании предложенного исчисления парадигм лежит внелингвистический признак – соотношение языка и мира человека. Однако, как мы покажем далее, полученные таким теоретическим (аксиоматическим) путем три парадигмы задают практически полезную классификацию, охватывающую широкий класс лингвистических теорий.

II. О ПОНЯТИЯХ КОНЦЕПТ, КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ МИР, ЖИЗНЕННЫЙ МИР И ЯЗЫКОВОЙ ЗНАК

1. К определению концепта. Обсуждение введенных парадигм невозможно без уяснения структуры и функции концепта[2]. Условимся считать, что концепты задают базовые категории, и их функция – обеспечивать человеку восприятие предметного мира (формирование предметных образов из мешанины пятен, линий, точек, светотени и пр., возникающей в его перцептивном поле).

При определении концепта мы будем исходить из теории Дж. Лакоффа.

> Со времени Аристотеля до поздних работ Витгенштейна категории рассматривались как ясные... сущности... Принималось, что вещи относятся к одной и той же категории, если и только если они имеют некоторые общие признаки... И признаки, которые были у них общими, рассматривались как определяющие эту категорию ⟨...⟩ В поразительно короткое время все изменилось ⟨...⟩ появился новый подход к категориям, который Элеонора Рош назвала *теорией прототипов и категорий базового уровня* [Лакофф 2004: 21, 10].

Для пояснения сути нового подхода, рассмотрим, как в нем определяются «концепты базового уровня», задающие категоризацию мира по родам: «яблоко», «роза», «собака», «стул» и др. (здесь и далее концепты обозначаются двойными кавычками). Занимая промежуточное положение между более общими концептами «фрукты», «цветы», «животные» и более частными – видами (сортами): «антоновка», «чайная роза», «лайка», они, по мысли Дж. Лакоффа, являются, тем не менее, первичными, исходно понятными категориями, поскольку

> опираются на опытные аспекты человеческой психологии: гештальтное восприятие, ментальную образность, двигательную активность... уровень рода (который Берлин называл «народно-родовым уровнем») является, по всей видимости, психологически базовым ⟨...⟩ Вещи на этом уровне воспринимаются целостно, как единый гештальт, тогда как для идентификации на более низком уровне должны быть выбраны специфические признаки... отличающие, например, один вид дуба от другого ⟨...⟩ вышестоящие категории не характеризуются образами или моторными действиями. Например, мы имеем ментальные образы стульев – абстрактные образы, не соответствующие какому-нибудь отдельному стулу, – и мы имеем обобщенный набор движений для взаимодействия со стульями. Но когда мы переходим от категории базового уровня «стул» к вышестоящей категории «мебель», ситуация меняется. У нас нет абстрактных ментальных образов предметов

---

[1] В статье [Касевич 1989: 8] обсуждается «когнитивный подход», при котором «языковые структуры носят, по существу, чисто формальный характер ... и только потенциально допускают семантизацию ... то есть установление корреляций с когнитивными структурами, которые столь же самостоятельны, сколь и языковые ... их отношения паритетны». Этот подход рассматривается автором как «противоположный» соссюровскому. Во избежание терминологической путаницы отметим, что мы называем этот подход постсоссюровским (язык и концептуальный мир самостоятельны) и считаем промежуточным. А противоположным соссюровскому мы считаем подход, в котором не язык доминирует над миром (Соссюр), а мир – над языком; его мы и называем антисоссюровским.

[2] В [Демьянков 2007: 27] тонко подмечено различие терминов «концепт» и «значение» (понятие), отвечающее традиции их использования: «О *понятиях* люди договариваются, **конструируя** их для того, чтобы "иметь общий язык" при обсуждении проблем. *Концепты* же существуют сами по себе, их люди **реконструируют** с той или иной степенью (не)уверенности» (выделение автора); см. также анализ термина «концепт» в [Кубрякова 2007].

мебели, которые не были бы образами объектов базового уровня, таких как стул, стол, кровать и т. д. ... У нас, далее, нет моторных действий для взаимодействия с мебелью вообще, которые не были бы моторными действиями для взаимодействия с определенными объектами базового уровня – стульями, столами, кроватями и т. д. ⟨...⟩ общий внешний вид является главным определителем базового уровня [Лакофф 2004: 55, 56, 58, 78, 79].

Мы постараемся показать, что концепты задаются более широким набором характеристик. Обрисуем их кратко. Прежде всего заметим, что в основе базового (родового) концепта лежит не просто «общий внешний вид», а структурированный внешний образ, т.е. целостный образ вместе с его партитивной структурой – составом и взаимным расположением его самых крупных (непосредственно составляющих) частей. Так, для концепта «собака» – это соположение лап, тела, головы и хвоста. Кроме того, данная структура лежит также в основе обобщенного концепта «четвероногое животное», поскольку реализуется и в других его родовых концептах: «кошка», «медведь» и пр. Она же присуща и видовым концептам – породам собак: «лайка», «фокстерьер», «борзая» и др. Тем самым оказывается, что все три типа концептов «четвероногое животное», его роды и виды обладают общим признаком – единой партитивной структурой. Чем же выделяются родовые («базовые») концепты? По мнению Лакоффа, целостными образами (гештальтами): образы собаки и кошки целостны и различны. У концепта «четвероногое животное» единого образа нет, а видовые концепты различаются лишь «специфическими признаками». Такое объяснение кажется нам недостаточным. Во-первых, каждый видовой концепт – и «лайка», и «фокстерьер», и «борзая» – несомненно, обладает не только специфическими признаками, но и собственным целостным образом, отличным от других образов. Во-вторых, некоторые общие концепты (например, семейства) имеют тот же образ, что и его родовые концепты. Единый образ, к примеру, присущ и всему семейству «кошачьих», и его родам («кошка», «рысь», «тигр»), и видам каждого рода («сиамская кошка», «персидская кошка» и пр.). В свете сказанного неясно, чем родовой концепт «кошка» отличается, с одной стороны, от общего концепта – семейства «кошачьих», а с другой стороны, от его видовых концептов (пород кошки).

В чем же в таком случае состоит столь явное различие между родами «кошка», «рысь», «тигр» семейства «кошачьих»? Ведь различие образов этих «базовых» концептов невелико и гораздо меньше бросается в глаза, чем различие внутривидовых образов тех же кошек: сиамской и персидской. Может быть, все дело в размерах (тигр гораздо больше рыси, а рысь – больше кошки)? Но у собак наблюдается аналогичное различие – дог гораздо больше таксы, однако это не меняет его родовой принадлежности, и дог, и такса принадлежат к одному родовому концепту «собака».

На наш взгляд, главное различие между концептами «кошка», «рысь» и «тигр» обусловлено относительной, чисто человеческой характеристикой – различием того места в окружающем человека мире, которое занимают представители этих концептов. Все они хищники, но если кошка охотится на мышей и для человека не опасна, то рысь уже представляет серьезную опасность (может напасть на человека) и вызывает страх. Тигр еще более опасен и может вызвать панический ужас. Как мы видим, в данном случае увеличение размера меняет характер отношений человека и животного, роль последнего в человеческом мире. Для собак этого не происходит: их место в человеческом мире почти не зависит от их размера: и дог, и такса функционально однотипны. В частности, они неопасны для человека. Совершенно другое дело – волк. Его образ весьма близок к образу родового концепта «собака», однако он образует не вид (породу собаки), а самостоятельный родовой концепт «волк», поскольку его место в мире человека существенно иное, отличное от места собаки.

Этот же антропоцентрический дифференцирующий принцип сохраняется и для других типов концептов, как более общих, так и более частных. Меняется лишь масштаб функциональной зоны, задаваемый концептом. Породы собак «лайка», «фокстерьер», «борзая» и др. суть более частные вариации общей функции родового концепта «собака», т. е. занимают свои особые места в рамках общей роли собак. То же можно сказать

и об австралийской собаке динго – она хоть и дикая, но на человека не нападает и считается «подвидом собаки». Это же верно и для дикой кошки и дикой утки – они считаются видовыми вариантами родовых концептов «кошка» и «утка» (дикая утка по своей роли близка к домашней утке, в частности, человек ее тоже употребляет в пищу).

Классы «четвероногое животное», «пресмыкающиеся», «птицы», «рыбы» отражают более крупный (чем родовые концепты) масштаб антропоцентрической классификации животного мира. Семейства кошачьих, беличьих, бобровых, хомячьих, обезьян и др. дают еще один вариант подобной классификации.

Итак, мы видим, что концепт возникает как единство двух составляющих различной природы: а) целостного предметного образа вместе с его партитивной структурой (качественная характеристика элемента внешнего мира) и б) его антропоцентрической характеристики (относительная характеристика, отражающая общую роль, или функцию этого элемента в мире человека). В итоге получаем такое определение:

(1) «концепт» = «партитивный предметный образ (гештальт) ← его роль для человека (≈ 'возможности и опасности при взаимодействии с ним')».

Здесь стрелка ← обозначает отношение интерпретации: элементу одной системы (мира) приписывается элемент совершенно иной системы (человеческих интенций).

Проиллюстрируем дефиницию (1) примерами. Семейство «фрукты» имеет единую партитивную структуру: ножка (или плодоножка), на которой висит плод в процессе созревания, кожа (кожура), мякоть и плодоносные зернышки или косточка [Кошелев 2006: 563 и сл.]. Общая функция фруктов для человека понятна: они служат определенным видом пищи, занимающим свое, особое место (условно говоря, относится к десерту). Родовые концепты «яблоко», «груша», «апельсин» являются, во-первых, различными вариациями общей партитивной структуры, а во-вторых, дифференцируют данную область еды (десерт), занимают в ней свои более частные места. Виды (сорта) яблок («антоновка», «белый налив») задают еще более частные, но значимые для человека различия вкусовых качеств в диапазоне «яблочного» вкуса.

Это рассуждение сохраняет силу и в отношении артефактных концептов: родовые концепты «табурет», «стул» и «кресло» имеют схожие партитивные структуры. Их дифференциация вызвана важными различиями в позе сидящего человека: собранная, не расслабленная – без опоры для спины и локтей (табурет), полурасслабленная – с опорой только для спины, или частично для спины (низкая спинка) и локтей (стул) и вполне расслабленная, позволяющая даже спать сидя или полулежа – с полным набором опор для спины, локтей и головы (кресло). Сказанное верно и для других концептов: «цветы», «озеро», «овраг», «дом», «велосипед» и др., см. [Кошелев 2006: 529, 545 и сл.].

Приведем два примера, иллюстрирующие общее определение (1):

(1а) «стул» = «партитивный образ стула ← 'на нем можно сидеть, опираясь спиной'»,
(1б) «яблоко» = «партитивный образ яблока ← '≈ его едят на десерт, держа в руке'».

Вернемся к понятию «уровень базовых концептов». Хорошо известно, что эти концепты (роды) усваиваются ребенком ранее других и их имена он узнает первыми. Объяснение Лакоффа, связывающего этот факт с наличием у базового концепта целостного образа, непосредственно понятного ребенку, недостаточно, поскольку подобный образ имеется и у других концептов – семейств и видов. Правда, наши рассуждения тоже не объясняют данный факт. Но они показывают, что для ребенка это оптимальный путь структурно-антропоцентрического освоения окружающего мира: сначала разбить его пространство на достаточно крупные зоны (родовые категории), а затем параллельно осуществлять два встречных процесса: интегрировать эти зоны (обобщать родовые концепты в семейства, классы и пр.) и дифференцировать их (строить видовые концепты).

2. Концептуальный мир. Перейдем теперь к характеристике общего назначения концепта. Важно помнить, что компоненты концепта – элементы разных по своей природе систем: структурная составляющая – элемент системы образов мира, а функциональная составляющая – элемент системы обобщенных интенций (желаний, устремлений, трактовок) человека. Благодаря партитивному образу человек осуществляет первичную категоризацию воспринимаемых визуальных впечатлений, т. е. распознает конкретные предметы в своем перцептивном поле, вычленяет «фигуры» (конкретные стулья, яблоки и пр.) из визуального «фона». Благодаря функциональной характеристике партитивного образа человек понимает, какую общую роль способен играть для него данный предмет.

Итак, концепт задает двустороннее описание воспринятого предмета: партитивный образ концепта задает предмет как системный элемент внешнего мира, а характеристика образа трактует предмет как значимую для человека роль, или функцию, т. е. как системный элемент человеческих интенций. Следовательно, каждая составляющая концепта (1) имеет, наряду с содержательной, еще и относительную – системную часть, отражающую место этой составляющей в рамках ее системы (мира или человека). Объединим для простоты обе системные части концепта и назовем эту объединенную часть **«значимостью концепта»**. Она отражает системные связи данного концепта с другими концептами. Тогда получим полное (системное) определение:

(1') «системный концепт» = «концепт» + «значимость концепта».

Совокупность таких концептов образует систему, которую мы и будем называть **концептуальным миром** человека.

Природу и системность концептуального мира хорошо поясняет постулат Канта, получивший в недавнее время полное когнитивное подтверждение (см. ниже и раздел 6.1):

> ...хотя материя всех явлений дана нам только a posteriori, форма их целиком должна для них находиться готовой в нашей душе a priori... Посредством внешнего чувства (свойства нашей души) мы представляем себе предметы как находящиеся вне нас, и притом всегда в пространстве. В нем определены или определимы их внешний вид, величина и отношение друг к другу [Кант 1964: 128–129].

3. Жизненный мир. Теперь можно объяснить назначение концептуального мира. Благодаря ему складывающаяся у ребенка картина окружающего мира представляет собой не «беспорядочную смесь расплывающихся образов и сливающихся в монотонный гул звуков» (как полагал известный американский психолог начала XX века У. Джемс [Крайг, Бокум 2007: 215]), а осмысленное и вполне конкретное предметное пространство – **жизненный мир**, как мы его далее будем называть. Воспринятая ребенком «беспорядочная смесь расплывающихся образов...», проходя через концептуальный мир, преобразуется в его конкретизированную версию – предметное пространство, в котором задействованные концепты (их образы, характеристики и отношения) обретают реальные черты и воплощаются в реальные предметы и ситуации окружающего мира.

Назначение концептуального мира и состоит в «сотворении» жизненного мира человека: в преображении возникающих в его перцептивном поле стимулов в конкретный и осмысленный предметный мир.

Замечание 1. Недавние когнитивные исследования показали, что к последним месяцам первого года (т.е. к началу усвоения языка) у младенца складывается целостный, но достаточно дифференцированный концептуальный мир, делающий его жизненный мир вполне осмысленным и предсказуемым. Оказалось, что способности младенца распознавать и объяснять окружающий мир быстро развиваются. К 8 месяцам младенец уже способен воспринимать пространственные образы, их субстанциональность (предметность), расстояния до них, независимость их размеров от дистанции восприятия. Он осознает константность предмета – независимость его существования от доступности для наблюдения (мяч, закатившийся под кровать, не

исчезает, и его можно оттуда извлечь). Младенец понимает единство полимодальных свойств предмета (цвета, формы, плотности, тактильных и звуковых проявлений), необходимость опоры для предмета и падение последнего, если он такой опоры лишается [Берк 2006: 253 и сл.; Шэффер 2003: 292 и сл.]), ср.:

Младенцам, вероятно, от рождения присуща способность «расчленять» физический мир на категории (Gelman 1998) задолго до того, как они научаются выражать их в словах ⟨...⟩ В возрасте 6 недель... младенцы пробуют уклониться, зажмуриться или как-то еще избежать столкновения с объектом, который надвигается прямо на них. В 2 месяца они... уже не реагируют на объекты, траектория которых проходит рядом. В возрасте 7–8 месяцев у младенцев складывается самое общее представление о живых существах, их отличии от движущихся механизмов, а в 9 месяцев они начинают отличать птиц от самолетов [Крайг, Бокум 2007: 242, 255; Сергиенко 2006: 228, 287].

Итак, первичный концептуальный мир младенца отделен как от перцептивных впечатлений ребенка, так и от его языка (усваиваемого позднее), см. также раздел 6.1.

4. Языковой знак. Перейдем теперь к языку. Поскольку его главное назначение – эксплицитно описывать жизненный мир человека, естественно полагать, что языковые знаки оперируют общезначимыми (понятными для других носителей языка) единицами – концептами и их конфигурациями, дающими обобщенное описание конкретных предметов и ситуаций жизненного мира. Определим сначала **общую семантическую схему знака**:

(2) слово – 'значение' ÷ «концепт»,
(2') *стул* – 'стул' ÷ концепт «стул».

В ней значение связано некоторым отношением (значок ÷) с концептом. Для каждой теории языка, задающей свою трактовку знака, отношение между значением и концептом приобретает соответствующее содержание. Конкретизируется и значок ÷, превращая общую схему (2) в ту или иную конкретную **семантическую схему знака**.

III. ПЕРВАЯ (СОССЮРОВСКАЯ) ПАРАДИГМА ЯЗЫКА

1. Основной постулат. Родной язык для человека хронологически первичен и доминирует над концептуальным миром, формируя его элементы и придавая им свою системность.

Этот постулат вполне соответствует позиции Ф. де Соссюра:

В психологическом отношении наше мышление, если отвлечься от выражения его словами, представляет собой аморфную, нерасчлененную массу. ...без помощи знаков мы не могли бы с достаточной ясностью и постоянством отличать одно понятие от другого. Взятое само по себе, мышление похоже на туманность, где ничто четко не разграничено. Предустановленных понятий нет, равным образом как нет никаких различений до появления языка [Соссюр 1977: 144].

Данная позиция для Соссюра принципиальна (см., например [Кацнельсон 2001: 387–388]). Она неоднократно обсуждается и в публиковавшихся позднее его «заметках и фрагментах размышлений», ср.:

В лингвистике мы в принципе отрицаем... будто имеются вещи, которые продолжают существовать, когда мы переходим от идей одного порядка к идеям другого порядка... как если бы эти вещи были даны сами по себе ⟨...⟩ Связь, которую мы устанавливаем между вещами... существует *до самих вещей* и служит их определению (цит. по [Бенвенист 1974: 54, 56], курсив автора; см. также [Слюсарева 2004: 67]).

Этой же точки зрения на значение придерживаются Б. Уорф и Э. Бенвенист, ср.: «Мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит, в основном – языковой системой, хранящейся в нашем сознании» [Уорф 1999: 97]. «Язык воспроизводит мир, но подчиняет его своей собственной организации» [Бенвенист 1974: 27, см. также: 30–31, 105].

Как мы видим, Соссюр трактует систему языковых значений (Означаемых, или понятий) как непосредственный инструмент дифференциации и категоризации воспринимаемой «аморфной» действительности, т.е. как инструмент формирования жизненного (предметного) мира человека. Следовательно, значение фактически является концептом (выполняет его функцию). За исключением имени, ничего содержательно отличного от концепта и его функции в соссюровской трактовке языкового значения нет. Стало быть, языковые знаки суть поименованные концепты, и их системность обусловлена системностью концептов (их значимостью, см. (1')). Ясно, что в таком случае жизненного мира, внеположного языку, нет. Этот мир создается языком (= системой поименованных концептов), который и придает миру свою системность.

Следовательно, в данном случае общая семантическая схема знака (2) приобретает следующий вид:

(2a) слово – 'значение' ≡ «концепт»,
(2a') *стул* – 'стул' ≡ «стул».

Здесь общее отношение (÷) превращается в тождество: значение ≡ концепт.

2. Лингвистические постулаты Соссюра. Из основного постулата следуют два уже собственно лингвистических постулата.

1) язык представляет собой замкнутую и самодостаточную систему языковых знаков; значение знака задано системой отношений со значениями других знаков и вне этой системы не существует;

2) языковой знак – это двусторонняя сущность:

(3) Означающее (акустический образ) – Означаемое (понятие).

Первый постулат определяет знак как относительную единицу, не имеющую вне системы собственной «субстанциональности» [Соссюр 1977: 152–154]. Второй постулат задает схему языкового знака без референта [Там же: 99]. Оба они – прямое следствие основного постулата, согласно которому предметный мир априори, вне знака не существует.

Заметим, что проведенное выше отождествление Означаемого и предметного концепта полностью отвечает этим постулатам. Во-первых, концептуальный мир является замкнутой и самодостаточной системой, поэтому его концепты относительны: они не требуют для своего определения никаких внесистемных данных. Во-вторых, схема знака (2)–(2') тождественна соссюровской схеме (3).

Обрисуем кратко позицию Э. Бенвениста. Будучи последовательным сторонником Соссюра, Бенвенист стремился придать его концепции законченность и непротиворечивость. Так, он специально обращает внимание на непроизвольное отклонение самого Соссюра от своей же схемы знака, отмечая, что сразу же вслед за своими словами «языковой знак соединяет не предмет с именем, а понятие с акустическим образом» Соссюр «бессознательно и неявно» обращается «к третьему» термину, к «реальному предмету», который «необходимо исключить... из понимания знака» [Бенвенист 1974: 91].

Последовательность Э. Бенвениста в этом вопросе подтверждается следующей его мыслью: «такие понятия, как процесс или объект, не воспроизводят объективных свойств действительности, но уже являются результатом языкового выражения действительности ⟨...⟩ если "лошадь" – объект, а "бежать" – процесс, то это только потому, что первое – имя, а второе – глагол» [Бенвенист 1974: 168], см. также [Иванов 2004: 52–54].

В настоящее время данная парадигма развивается, например, в трудах Б.А. Успенского, ср.: «Хорошо известно вообще, что язык моделирует мир. Но одновременно он моделирует и самого пользователя этим языком, то есть самого говорящего. В этих усло-

виях именно язык оказывается *первичной феноменологической данностью»* [Успенский 1996: 5–6; 2007: 9–10].

Представители соссюровской парадигмы – Ф. де Соссюр, Б. Уорф, Э. Бенвенист, Б.А. Успенский и др.

IV. ВТОРАЯ (ПОСТСОССЮРОВСКАЯ) ПАРАДИГМА

1. Основной постулат. Родной язык человека и его концептуальный мир образуют две самостоятельные системы.

В рамках этой парадигмы языку отводится гораздо более скромная роль – он уже не участвует в категоризации мира. Напротив того, он мыслится как автономный модуль, функционирующий независимо от мира. При этом он может включать семантику (И.А. Мельчук), а может и не включать (Н. Хомский).

Из основного постулата следует, что языковое значение лишь опосредованно описывает концепт, поскольку при непосредственном описании концептов система значений утрачивает самодостаточность и становится зависимой от свойств концептуального мира. Обозначим опосредованную связь значения с концептом значком ⇔. Тогда общая схема знака (2) получит вид (÷ заменяется на ⇔):

(2б) слово – ‘значение’ ⇔ «концепт»,
(2б') *стул* – ‘стул’ ⇔ «стул».

2. Лингвистические постулаты. Замечательно, что столь радикальная перемена основного постулата не затрагивает лингвистических постулатов.

1) язык представляет собой замкнутую и самодостаточную систему языковых знаков; значение знака (= его значимость) задано системой отношений со значениями других знаков и вне системы не существует;

2) языковой знак задается двухкомпонентной соссюровской схемой (3).

Подчеркнем: в схеме (2б) знак определяется точно так же, поскольку он (левая часть схемы) строго отделен от концепта.

Соблюдение этих постулатов и будет критерием принадлежности лингвистической теории к данной парадигме. Чтобы соответствовать этим постулатам, требуется уже явным образом отделить значение знака от концептов мира, ср.:

> ...для лексики единственная возможность понять и построить систему заключается в отказе от термина и понятия «значение»... лексику как систему образуют те связи и отношения, которые составляют «сетку значимостей» ⟨...⟩ Отрицать у слов значение никто не собирается, и в очень многих случаях этим должен заниматься ученый. Но какой ученый? Кто по специальности? Вряд ли лингвист, если лингвист изучает язык как систему и структуру ⟨...⟩ при построении лексической системы важно не то, что значит отдельное слово (*есть* = *essen* или *manger*), а то, что возникает при наличии *есть, вкушать, кушать, жрать, шамать*... [Реформатский 1968: 108, 118, 119].

Здесь А.А. Реформатский следует мнению А.А. Потебни, ср.:

> Что такое «значение слова»? Очевидно, языкознание, не уклоняясь от достижения своих целей, рассматривает значение слов только до известного предела... говоря о значении слова *дерево*, мы должны были бы перейти в область ботаники, а по поводу слова *причина*, или причинного союза – трактовать о причинности в мире. Но дело в том, что под значением слова вообще разумеются две различные вещи, из коих одну, подлежащую языкознанию, назовем б л и ж а й ш и м, другую, составляющую предмет других наук, д а л ь н е й ш и м з н а ч е н и е м с л о в а. Только одно ближайшее значение составляет действительное содержание мысли во время произнесения слова [Потебня 1956: 127; разрядка автора].

В наиболее эксплицитной форме эта точка зрения излагается И.А. Мельчуком в ответе на письмо автора:

А.Д. Кошелев: Толкование полнозначного слова должно адекватно описывать множество его прямых референтов. [Ни в коем случае! – *И.М.*][3]. ⟨...⟩

И.А. Мельчук: Все зависит от того, к а к и е семантические примитивы Вы ищете. Если примитивы мысли или восприятия, то, разумеется, их надо искать в действительности [точнее, в психическом отражении действительности. – *И.М.*]. Но если это примитивы для описания з н а ч е н и й слов (а н е для описания вещей!), то они – только в языке. ...Я убежден (всегда был, а теперь и совсем уверен), что толкование слова не должно описывать множество его референтов! Для меня это центральное убеждение лингвиста [Кошелев – Мельчук 1996: 195–196].

Правда, И.А. Мельчук определяет языковой знак как тройку (Означаемое, Означающее, Синтактика), но ясно, что эта схема сводится к схеме (2б), если иметь в виду, что Синтактика – это системный компонент значения знака (левой части схемы). Как и у Соссюра, референт в это определение не включен (см. [Иорданская, Мельчук: 2007: 28], ср. подробнее [Мельчук 1997: 119]).

Лингвистические постулаты данной парадигмы делают совершенно обоснованной программу «описания значений любых языковых единиц... на специальном семантическом языке», который представляет собой «упрощенный и стандартизированный подъязык естественного языка описания. Упрощение состоит в том, что в подъязык отбираются относительно простые слова, грамматические формы слов и синтаксические конструкции в их основных значениях» [Апресян 2005: 13].

3. Теория моделей «Смысл ⇔ Текст». Эта лингвистическая концепция, будучи одной из самых разработанных (как в области теории, так и в сфере анализа конкретного языкового материала), дает точное определение языка (что редкость – к примеру, в [Chomsky 1980: 217] «язык» не относится к числу точных понятий лингвистики). По мысли И.А. Мельчука, владение языком проявляется у его носителя в умении осуществлять две взаимно обратные операции: а) извлекать из услышанной фразы ее смысл и б) строить для произвольного смысла выражающую его фразу (одну или несколько синонимичных). Следовательно, естественный язык – это особого рода преобразователь типа «Смысл ⇔ Фраза», выполняющий переработку заданных смыслов в соответствующие им фразы и заданных фраз в соответствующие им смыслы [Мельчук 1999: 9–10].

Чтобы задать концептуальный мир, И.А. Мельчук вводит в свою теорию «новый уровень представления высказываний, более глубинный, нежели семантический – к о н ц е п т у а л ь н ы й» [Мельчук 1999: XI]. Этот уровень описывает «фрагмент внеязыковой действительности, т.е. определенной ситуации». Его элементами являются «физические объекты, существа, субстанции», а также «действия, деятельность, события, процессы, состояния, отношения... и т.д.» [Иорданская, Мельчук 2007: 221, 50].

Теперь о самом главном в понимании данного определения языка (да и всей парадигмы). Как и значения слов, смыслы фраз языка тоже отделены от концептуального мира и его ситуаций (конфигураций концептов). Они описываются тем же семантическим языком, что и значения слов, посредством того же набора простых слов («смысловых атомов») языка и небольшого числа элементарных синтаксических конструкций.

Естественно возникает вопрос: как язык и его смыслы выполняют свою функцию – описывают концептуальный мир человека? Ответ здесь таков. Во-первых, для осуществления мышления человек использует особый общечеловеческий («универсальный» и «формальный») язык мыслей, ср.: «Представление концептуального уровня – это последовательность ***сообщений***, т.е. особого рода формальных выражений, изображающих желаемое содержание будущего текста м а к с и м а л ь н о н е з а в и с и м ы м о т я з ы к а о б р а з о м» [Мельчук 1999: XI; курсив автора, разрядка моя. – *А.К.*]. Во-вторых, для соотнесения смыслов фраз с концептуальными ситуациями человек использует специальную модель-конвертор «Смысл ⇔ Концепт», которая по языковому смыслу фразы строит соответствующее описание концепта на универсальном языке

[3] В квадратные скобки включены дополнения и разъяснения, сделанные И.А. Мельчуком при подготовке переписки к печати.

мыслей, а затем по этому описанию находит в концептуальном мире и сам концепт (или ситуацию). В итоге, связь между фразой и концептом реализуется посредством следующей цепочки:

Фраза ⇔ Смысл ↔ Описание концепта на языке мыслей ⇔ Концепт.

По определению Мельчука, «естественный язык в узком смысле, или ***собственно язык***» [Иорданская, Мельчук 2007: 221] – это только левая часть цепочки: модель «Фраза ⇔ Смысл». В то же время остальная ее часть – модель-конвертор «Смысл ⇔ Концепт» – хотя и «исключительно важна для работы модели» «Фраза ⇔ Смысл», но «к ней не относится», т.е. не является «собственно языком».

Итак, в модели «Смысл ⇔ Текст» *языковое значение (смысл) – это* ***семантическая*** *структура, заданная посредством элементов метаязыка (элементарных смыслов: имен и связывающих их предикатов)* [Мельчук 1999: 11, 57].

Обратимся для сравнения к языковой концепции С. Пинкера (она также принадлежит к данной парадигме). При всем ее капитальном отличии от целостной и многоаспектно разработанной теории И.А. Мельчука, связь между языком и миром объясняется в ней аналогично – посредством особого «языка мыслей и рассуждений», «универсального мыслекода»:

> Люди думают не на английском, китайском или языке апачей. Они думают на мыслекоде. Этот мыслекод… предположительно располагает символами для выражения понятий и комбинациями символов, которые соответствуют носителю и объекту действия ⟨…⟩ Знание языка, таким образом, означает знание того, как можно перевести мыслекод в словесные цепочки и наоборот [Пинкер 2004: 69–70].

Понятно, что использование мыслекода у Пинкера и языка формальных сообщений у Мельчука отменяет необходимость усматривать в грамматических классах и в частях речи какие-либо общие значения. Ср.: существительное – это «класс лексем, которые ведут себя как имена собственные. Они склоняются, имеют множественное число, их можно сделать подлежащим. А остальное просто не нужно» [Мельчук 2005] и «существительное… это вид слов, которые стоят после артикля, к такому слову можно "приклеить" апостроф с буквой s('s) и так далее» [Пинкер 2004: 94].

Порождающая грамматика Н. Хомского также относится к данной парадигме. Хотя эта теория не учитывала языковой семантики (по крайней мере, в первых версиях), она послужила «теоретической базой» для теории моделей «Смысл ⇔ Текст» [Мельчук 1999: 17]. В более поздней версии теории [Chomsky 1980] способность ребенка к овладению родным языком объясняется автономным развитием у него врожденного лингвистического модуля, задающего базовые структуры естественного языка. Там же (с. 4) автор специально подчеркивает, что не разделяет мнения многих ученых о том, что изучение языка связано с изучением сознания. Так что старое положение о независимости языка и мышления [Хомский 1972: 22] остается неизменным.

Замечание 2. Появились лингвистические результаты, ставящие под сомнение положение о замкнутости и самодостаточности языковых значений. Один из них содержится в монографии [Иорданская, Мельчук 2007: 524]. В толкования причинных предлогов (*из-за* и *от*) вводятся «особые условия на употребление», которые «зачастую обращаются не к семантическому описанию лексических единиц, а к определенным аспектам реальных ситуаций. В рамках модели "Смысл ⇔ Текст" в ее сегодняшнем состоянии такие условия непроверяемы; они рассчитаны на серьезную разработку Концептуального Представления мира и участников акта речевой коммуникации, которое пока отсутствует».

Иными словами, для описания правил употребления причинных предлогов с другими лексическими единицами требуется привлекать свойства «реальных» ситуаций. Следовательно, «Синтактику» причинных предлогов не удается определить только внутриязыковыми средствами, без обращения к внеязыковой реальности (к концептуальному уровню).

Представители постсоссюровской парадигмы: Л. Блумфилд, Н. Хомский, С. Пинкер, А.А. Потебня, А.А. Реформатский, И.А. Мельчук, Ю.Д. Апресян, А.К. Жолковский, В.С. Храковский и др.

V. ТРЕТЬЯ, АНТИСОССЮРОВСКАЯ, ИЛИ КОГНИТИВНАЯ ПАРАДИГМА

1. Основной постулат. Концептуальный мир первичен, возникает в мозгу ребенка до языка и играет в отношении последнего доминирующую роль. Значения языковых единиц суть концепты или их обобщения, а системность языковых единиц отражает системность мира (связи между его концептами)[4]. В результате, знаки языка по-прежнему образуют систему, но эта система является подсистемой поименованных концептов, т.е. частью концептуального мира ребенка[5]. Тем самым система знаков утрачивает свойство самостоятельности[6].

Схема знака в данной парадигме допускает два варианта. Один является зеркальным отражением варианта (2а) – соссюровской схемы. Только в данном случае тождество «значение ≡ концепт» названо не значением, а концептом (мы для простоты только его и оставляем):

(2в) слово – «концепт»,
(2в') *стул* – «стул».

Здесь знаки – это поименованные концепты. Они (их имена) возникают в процессе усвоения ребенком родного языка, когда он звучащие вокруг него слова напрямую связывает с уже существующими концептами – единицами своего концептуального мира.

Второй вариант схемы знака предполагает наличие еще одного типа концептов – обобщений предметных концептов (значок ≺ обозначает отношение обобщения):

(2г) слово – «концепт» ≺ «обобщенный концепт»,
(2г') *стул* – «стул» ≺ «обобщенный стул».

Схемы (2в) и (2г) по-разному решают проблему полисемии. Согласно второй схеме, у слова есть общее значение, или инвариант («обобщенный концепт»), и частные значения («концепты») – варианты общего значения. Эту позицию поддерживают Р. Якобсон, А. Вежбицкая и др. Согласно же схеме (2в) у слова есть только частные значения. Они могут иметь общие семантические элементы, но общего значения слово не имеет. Такой подход разделяется, в частности, Д.Н. Шмелевым, Дж. Лакоффом и др.

Эти две схемы отражают также разные трактовки природы языкового значения. В соответствии со схемой (2в) языковые значения не отличаются качественно от предметных концептов, не образуют в их системе особой подсистемы, ср. «постулат о нерелевантности противопоставления лингвистического и экстралингвистического знания»

---

[4] Ср. «постулат о примате когнитивного» в [Баранов, Добровольский: 1997: 14].

[5] Ср. точку зрения Б.А. Серебренникова: «первое членение мира осуществляется еще до возникновения языка... Представление о предметах и явлениях окружающего мира у человека возникает в доречевой стадии ⟨...⟩ В структуре языка отражаются отношения между предметами и явлениями материального мира» [Серебренников 1988: 203, 3].

[6] Именно эту «референциальную» функцию языка Р. Якобсон выделяет как «центральную» среди других его функций: «...установка на *референт*, ориентация на *контекст*, – короче, так называемая *референтивная* (денотативная, или когнитивная) функция – является центральной задачей многих сообщений...» [Якобсон 1975: 198; курсив автора], ср. также: «речевой звук... должен быть... ассоциирован с каким-либо элементом или группой элементов опыта – скажем, со зрительным образом или рядом зрительных образов... для того, чтоб приобрести хотя бы рудиментарную языковую значимость. Этот "элемент" опыта есть содержание или "значение" языковой единицы» [Сепир 1993: 33].

[Баранов, Добровольский 1997: 15]. Схема (2г), напротив, постулирует качественное различие двух типов значений: общие значения, будучи концептами более общего типа, образуют самостоятельную подсистему, отделенную от их вариантов – конкретных предметных концептов, представляющих частные значения. Ср.: «границы языка и мышления не совпадают... язык можно считать лишь внешней гранью мышления на наивысшем, наиболее обобщенном уровне символического выражения» [Сепир 1993: 36], ср. [Касевич 1998: 16–18], где приводятся «свидетельства относительной автономности языковых механизмов», их отделенности от «общекогнитивных структур и механизмов».

2. Лингвистические постулаты. Из основного постулата вытекают два лингвистических постулата:

1) язык представляет собой систему языковых знаков, значения которых суть элементы концептуального мира (т.е. образуют подсистему концептов);

2) языковой знак задается либо схемой (2в), либо схемой (2г).

Лингвистические теории, разделяющие постулаты 1 и 2, мы будем относить к когнитивной парадигме.

В современной отечественной лингвистике этот подход представлен в работах целой плеяды исследователей, в частности, в работах В.Г. Гака [Гак 1998: 210 и сл.], Б.А. Серебренникова и Д.Н. Шмелева. Последний, в отличие от А.А. Реформатского, определяет слово как «языковой знак, призванный обозначать предметы и явления окружающей действительности» [Шмелев 1977: 60; разрядка автора], ср. также:

> Индивидуальные лексические значения слов в значительной степени обусловлены природой обозначаемых словами предметов и явлений самой действительности ⟨...⟩ Конечно, возможно изучение значений слов на основе их лексической и синтаксической сочетаемости... Но такое изучение, очень важное для семасиологии, не является само по себе изучением значений... не может раскрыть подлинной природы существующих между ними различий ⟨...⟩ при всей привлекательности идеи о некоторой освобожденной от значения «сетки значимостей» неясно, как можно изучать номинативные единицы как таковые, игнорируя их номинативную функцию [Шмелев 2006: 13–16].

Эта точка зрения вполне согласуется с позицией Р. Якобсона, высказанной им в курсе лекций «Формальная школа и современное русское литературоведение» (Брно, 1935 г.). Анализируя цитированную выше мысль Потебни, он отмечал:

> ...установка на предметность является сущностью знака, и – прежде всего – основой слова, основой языка. Знак и в особенности слово обозначает нечто, иначе он бы не был бы знаком, это его собственная функция, его идеал. Каково отношение этого гравитационного пункта, этого языкового идеала к языковому идеалу, который выделяет Потебня и который можно определить как установку на знак или самодостаточность, самоцельность знака? ...Установка на знак предполагает одновременное существование противоположной функции, то есть ориентации знака на объект реальности, ибо иначе знак перестает быть знаком и обращается в ничто [Якобсон (в печати)].

Тем самым в значении слова различаются два компонента – «значимость» и «значение», ср. «значение слова основано на диалектическом единстве языкового и внеязыкового содержания» [Шмелев 1977: 62–63]. Может показаться, эта трактовка противоречит первому лингвистическому постулату, поскольку «сетка значимостей» задает собственную системность языка. На самом деле это не так, поскольку «сетка значимостей» отражает именно системность элементов мира, которую и фиксируют значения слов, ср. выше у Б.А. Серебренникова: «В структуре языка отражаются отношения между предметами и явлениями материального мира» и у Д.Н. Шмелева: «Словарные толкования как раз и основываются на определенном соотнесении обозначаемых словами предметов с другими предметами» [Шмелев 2006: 13].

3. Концепция А. Вежбицкой. Если обратиться к целостным концепциям, относящимся к когнитивной парадигме, то, пожалуй, первая из них (сочетающая в себе общий подход к языку и его назначению с детальной разработкой аппарата семантических описаний и широчайшим спектром его применения) – это концепция А. Вежбицкой[7]. На первый взгляд, она близка к теории моделей «Смысл ⇔ Текст», поскольку в ней также используется «естественный семантический метаязык» (ЕСМ), предназначенный для описания «любых языковых значений». Правда, ЕСМ строится как «универсальный метаязык» и базируется на положении о том, что «в основе всех языков, сколь угодно различных, лежат изоморфные множества семантических элементов» и «универсальные синтаксические правила» [Вежбицкая 1999: 17, 25].

Однако радикальное отличие концепции А. Вежбицкой от теории И.А. Мельчука связано не с универсальностью как таковой, а с обоснованием природы ЕСМ. Если в модели «Смысл ⇔ Текст» существование семантического метаязыка для данного языка следует из замкнутости последнего, его отделенности от концептуального мира, то в теории А. Вежбицкой, напротив того, существование ЕСМ обусловлено его непосредственной связью с концептами мира. Семантические примитивы ЕСМ суть «воплощения» (т.е. «лексикализации») в каждом языке основополагающих элементов мира человека – фундаментальных концептов, а синтаксические правила отражают естественные комбинации этих концептов в мире человека. Ведь каждый набор семантических примитивов

> …есть не что иное, как одна лингвоспецифическая манифестация универсального набора фундаментальных человеческих концептов. ⟨…⟩ Это предположение было основано на представлении о том, что фундаментальные человеческие концепты являются врожденными ⟨…⟩ Я также постулирую врожденные и универсальные правила синтаксиса… в смысле интуитивно верифицируемых моделей возможных комбинаций элементарных концептов [Вежбицкая 1999: 16–17, 25].

Тем самым фактически постулируется первичность и системность концептуального мира – «фундаментальных концептов» и их «возможных комбинаций», – порождающая (уже вторичную!) системность «семантических примитивов» и «универсальных правил синтаксиса».

Примат концептуального мира над языком не ограничивается у А. Вежбицкой только уровнем фундаментальных, общечеловеческих концептов. Он распространяется и на этнокультурные концепты, которые также воплощаются в языковых значениях слов, но не общепонятных, а лингвоспецифических, задающих «ключевые» концепты народной культуры.

Важно подчеркнуть: свой метаязык ЕСМ Вежбицкая использует не только для описания языковых значений, но и для описания самих концептов мира. Так, в [Вежбицкая 2005: 467] указывается, что автор изучает значения ключевых слов, «чтобы вскрыть их скрипты», т.е. этноспецифические концепты[8]:

> Культурные скрипты – это общеизвестные и обычно не оспариваемые м н е н и я о том, что хорошо и что плохо и что и чего нельзя – м н е н и я, которые отражаются в языке и поэтому представляют собой некоторые объективные факты, доступные научному изучению. ⟨…⟩ В русском языке имеется культурное ключевое слово *общение*… В английском языке таких слов нет. …Значит, нам нужно вскрыть русские культурные скрипты, которые могут объяснить существование и частое употребление таких слов, как о б щ е н и е, в русском языке; а ч т о б ы в с к р ы т ь э т и с к р и п т ы, нам нужно понять в точности смысл этих слов (разрядка моя. – *А.К.*).

---

[7] Не мы первые относим концепцию А. Вежбицкой к области «когнитивной семантики», см. [Рахилина 1998: 280].

[8] Как подчеркивает А. Вежбицкая, «теория культурных скриптов представляет собой расширение известного апресяновского учения о "наивной картине мира"» [Вежбицкая 2005: 467]. Необходимо, однако, помнить, что это учение относится исключительно к языку и языковым смыслам [Апресян 2005: 7–8].

Такая «двуликость» ЕСМ вполне понятна, ведь в его основу кладется «полный (пусть гипотетический) перечень фундаментальных человеческих концептов, способных генерировать все остальные концепты. Существенно, что этот список претендует на то, чтобы быть одновременно перечнем лексических универсалий» [Вежбицкая 1999: 16].

Но это означает, что между фундаментальным концептом и значением семантического примитива (воплощающим этот концепт) существенного различия нет. Если в теории Мельчука значение трактовалось как когнитивная единица особого типа, качественно отличная и отделенная от концепта, то здесь, напротив, значение оказывается когнитивной единицей, не дифференцированной от концепта.

Поскольку А. Вежбицкая считает «семантический инвариант краеугольным камнем эффективного семантического анализа», можно полагать, что она исходит из схемы знака (2г). В этом отношении ее подход также отличается от подхода И.А. Мельчука, считающего, что инварианты в семантических описаниях не нужны.

Подытожим сказанное. В концепции А. Вежбицкой *языковое значение – это* ***концептуальная*** *структура, образованная естественными комбинациями фундаментальных концептов; она задана посредством элементов метаязыка (семантических примитивов, связанных синтаксическими отношениями).* Можно думать, что языковая концепция А. Вежбицкой отражает ее более общие установки: сведение семантики к пониманию («семантика есть наука о понимании») и «атомистическое» объяснение понимания (человек может понять высказывание лишь потому, что оно «построено из простых элементов, которые понятны сами по себе») [Там же: 15].

Замечание 3. Нам кажется более обоснованной другая позиция: «толкование должно строиться не из простейших единиц, а из максимально крупных, какие только есть в словаре, т.е. из семантических "непосредственно составляющих"» [Мельчук 1999: 111]. Ведь чтобы осмыслить новое понятие, человек должен включить его в свой концептуальный мир, т. е. установить отношения между ним и своими концептами. Но если понятие действительно новое, такие отношения могут возникать лишь с его составляющими, уже не столь новыми. И чем они крупнее, тем легче усваивается и само понятие.

К примеру, если ребенок еще не научился обманывать, или не усвоил непосредственные составляющие обмана: «действие», «притворство», «выгода для себя», «ущерб для другого», он не сможет понять и слова *обман* (о концепте «Обман» см. [Кошелев 2008а: 128–130]). Иначе говоря, человек усваивает новое понятие лишь тогда, когда в его мире уже имеются концепты, сходные с ним или его основными компонентами. Так, восхитившись новой идеей, мы часто ловим себя на мысли, что уже не раз слышали (читали) о ней, но она «не доходила» до нас, пока мы сами не стали «кружить» вблизи нее.

Вообще, процесс понимания можно уподобить алхимическому процессу получения золота. Старый алхимический закон гласит: «Чтобы делать золото, прежде всего необходимо иметь некоторое количество настоящего золота. Если совсем не иметь золота, нет никакой возможности его сделать».

Из сказанного выше понятно, почему лингвисты, работающие в рамках когнитивной парадигмы, ищут семантические основания для грамматических и других абстрактных значений: они стремятся выявить характеристики общих концептуальных классов, задаваемых этими значениями. Классический пример – статья [Якобсон 1985]. Ср. также [Вежбицкая 1985: 303–341; 1999: 91–133; Кубрякова 2004: 115 и сл.].

4. Концепция Дж. Лакоффа. Обратимся теперь непосредственно к когнитивной лингвистике и ее теориям языка. Поскольку «конечной целью описания языка в рамках когнитивной лингвистики является установление соответствий между языком и когнитивным представлением» ([Кибрик 2003: 51]; разрядка автора), все эти теории принадлежат к когнитивной парадигме.

Одной из наиболее репрезентативных здесь является теория Дж. Лакоффа. Покажем сначала, что она гораздо ближе к теории А. Вежбицкой, чем это выглядит на первый взгляд. В самом деле, в отличие от А. Вежбицкой, изучающей концептуальный мир и его элементы исключительно посредством языка (см. выше: «Лучшие ключи к пониманию того, как мог бы выглядеть список фундаментальных концептов, дает нам исследо-

вание языков»), Дж. Лакофф большое значение придает непосредственному изучению единиц концептуального мира. Тем не менее, и для него «изучение категоризации в языке будет одним из основных источников данных о природе структуры категории вообще», ср. также: «мы будем использовать лингвистические данные для изучения когнитивного аппарата…» [Лакофф 2004: 87, 98].

Как и Вежбицкая, Лакофф не проводит существенного различия между концептом и значением: «Языковые категории должны быть того же типа, что и другие категории в нашей понятийной системе» [Там же: 86]. Только у Лакоффа это положение не постулируется, а выводится из того факта, что «прототипические эффекты» присущи как языковым значениям, так и концептам других типов [Там же: 86–98]. Кроме того, в отличие от А. Вежбицкой, Дж. Лакофф не признает инвариантов и считает, что «лексическая единица обладает семьей связанных друг с другом значений ⟨…⟩ из которых некоторые… более репрезентативны, чем другие» [Там же: 538–539].

Семантику Дж. Лакофф трактует, по существу, так же, как и А. Вежбицкая («семантика – это наука о понимании»), ср.: «Необходима когнитивная семантика – эмпирически адекватное описание человеческого разума». Надо сказать, что это положение неизбежно вытекает из предыдущего: ведь языковые значения близки к концептам – единицам мышления, ср.: «Изучение категоризации является ключом к изучению мышления» [Лакофф 2004: 474, 477].

Наконец, хотя Лакофф отвергает «атомистический» подход А. Вежбицкой («мысль имеет *свойства гештальта* и, таким образом, не атомистична: понятия имеют целостную структуру, которая не сводится к простому объединению понятийных "строительных блоков" посредством общих правил» [Там же: 13]), идея «семантической композиционности» в его теории также реализуется. Просто «строительные блоки» у Лакоффа значительно крупнее [Там же: 365].

Построенная Дж. Лакоффом концептуальная система имеет два типа «непосредственно значимых» структур: базовые (родовые) концепты и образные схемы. Из них посредством когнитивных моделей строятся сложные концептуальные структуры.

Базовые концепты были подробно рассмотрены выше (см. раздел 2.1). Коснемся кратко образных схем (ВМЕСТИЛИЩЕ, ЧАСТЬ–ЦЕЛОЕ и др.). Согласно Дж. Лакоффу и М. Джонсону (на которого ссылается Лакофф), образные схемы непосредственно понимаются человеком, поскольку воплощают его «телесный опыт». Они мыслятся как «гештальты – структурированные целые, которые представляют собой большее, чем просто совокупность частей» [Там же: 355], ср. объяснение «телесного опыта» для схемы ЧАСТЬ–ЦЕЛОЕ:

> Мы все являемся целостными существами… мы живем всю жизнь, сознавая как нашу целостность, так и наличие в ней частей. Наш опыт говорит о том, что наши тела представляют собой ЦЕЛОЕ с ЧАСТЯМИ. Для того чтобы действовать в мире, мы должны иметь знания о структуре ЧАСТЬ–ЦЕЛОЕ других объектов. В ходе эволюции наше восприятие базового уровня приобрело способность различать фундаментальную структуру ЧАСТЬ–ЦЕЛОЕ [Лакофф 2004: 356].

Замечание 4. По-видимому, способность человека «вычислять» партитивную структуру предмета (концепта) базируется на более простом и конструктивном основании – на знании его общей антропоцентрической характеристики. К примеру, у велосипеда такая характеристика: '≈ сидя на нем, можно двигаться с помощью ног и направлять его с помощью рук'. Из нее однозначно следует структура его непосредственно составляющих функций и реализующих их частей: колёса, руль, сиденье и педали. Но, скажем, спицы к ним уже не относятся, поскольку принадлежат ко второму уровню иерархии – выполняют частную функцию колеса́, а не целого велосипеда. Это фиксируется и приименным генитивом *Y X-а*, выражающим отношение 'часть–целое' [Якобсон 1985: 149; Кибрик 2003: 311]. Как показано в [Кошелев 2006: 538], *Y* в нем может называть только непосредственно составляющую *X-а*, поэтому словосочетания *колеса/руль велосипеда* корректны, а ?*спицы велосипеда* – нет. Аналогично и для «природных» объектов: «озеро», «обрыв» и др. [Там же: 550, 554 и сл.]. Партитивная структура живого организма, напротив, гетерархична: все его функциональные части являются непосредственно составляющими и относятся к первому уровню: *листья дерева, пальцы челове-*

ка, но не **листья ветки*, **пальцы кисти* [Там же: 560 и сл.]. Поэтому перенесение человеком интуитивно понимаемой им структуры своего тела на предметы давало бы искаженный результат.

Образные схемы являются «источником структур» для когнитивных моделей (пропозициональных, метафорических, метонимических и др.), «посредством которых организуется наше знание» и формируются более сложные когнитивные структуры [Лакофф 2004: 99, 368].

Введенный концептуальный аппарат Дж. Лакофф использует для описания языковых значений. Так, имя существительное определяется им как радиальная категория с центральной субкатегорией «физических сущностей – людей, мест, вещей». Широко известны его прототипические описания лексических значений таких слов, как *холостяк, мать, ложь* и др. [Там же: 103 и сл.][9]. При этом никаких признаков, выделяющих языковое значение из других концептуальных структур, не вводится: «нет непроходимой пропасти между языком … с одной стороны, и миром, с другой» [Там же: 379].

Итак, у Дж. Лакоффа, как и у А. Вежбицкой, *языковое значение – это* ***концептуальная*** *структура.*

Представители когнитивной парадигмы: Г. Фреге, Э. Сепир, Р. Якобсон, Б.А. Серебренников, Д.Н. Шмелев, Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, В.Г. Гак, Ю.С. Степанов, А. Вежбицкая, Дж. Лакофф, Д. Слобин, Ч. Филлмор и др.

5. Итоги. Предпринятый нами анализ имел целью показать релевантность введенных парадигм изучения языка и не преследовал собственно таксономических целей. По разным причинам не были рассмотрены многие известные лингвистические концепции. К примеру, мы не решились отнести к какой-то определенной парадигме лингвистические концепции, авторы которых, признавая в принципе наличие у знака референта, не учитывают пока его роли при изучении языковых значений. Здесь можно указать теорию функциональной грамматики А.В. Бондарко [Бондарко 2002: 99–101] и теорию семантических дериваций Е.В. Падучевой [Падучева 2004: 17, 155–157].

Отметим, наконец, «синхронию» введенных парадигм. В монографии [Степанов 1998: 176 и сл.] рассмотрен хронологически последовательный набор парадигм («философий языка»), отражающих «господствующий в данную эпоху взгляд на язык». В нашем случае речь идет об одновременно существующих и развивающихся парадигмах.

VI. ПАРАДИГМЫ ЯЗЫКА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Наша ближайшая цель – кратко охарактеризовать два психологических открытия последней четверти XX века, первое из которых ставит под сомнение психологическую обоснованность соссюровской парадигмы (раздел 3), а второе – психологическую обоснованность постсоссюровской парадигмы (раздел 4).

1. Когнитивная революция конца XX века[10]. Как мы уже отмечали в разделе 2.3, начавшиеся в 60-е годы широкомасштабные когнитивные исследования выявили радикальную недооценку способностей младенца в области восприятия, причем, не только У. Джеймсом, но и многими классиками психологии XX века[11], ср.:

С самого раннего возраста младенец наделен организующими принципами, позволяющими ему репрезентировать мир и «понимать» некоторые законы его существования… Например, такие конструкты, как непрерывность и субстанциональность, глубоко внедрены в когнитивные репрезентации физического мира и усваиваются человеком еще в младенческом возрасте. ⟨…⟩ мла-

---

[9] Как убедительно показано в [Вежбицкая 1996: 202, 205–208], эти описания, по меньшей мере, спорны.

[10] Не следует путать ее с когнитивной революцией второй половины XX века (см. о последней в [Демьянков 1994: 19; Вежбицкая 1999: 6–7]).

[11] Но не гештальтпсихологами (когнитивная революция заново «открыла» многие их результаты, см., например [Коффка 1934: 92 и сл.]), и не Л.С. Выготским [Выготский 2005: 72 и сл.].

денец – не сенсомоторный индивид, лишенный упорядоченных ментальных структур, погруженный в хаос ощущений, как ранее полагалось. **Младенец – репрезентативный индивид**, наделенный способностью структурировать и упорядочивать мир [Сергиенко 2006: 14; выделено автором].

Вся совокупность полученных в ходе когнитивной революции результатов (а приведенная выше цитата и замечание 1 в разделе 2.3 отражают лишь малую их долю) свидетельствует о том, что *возникающий у младенца предметный мир феноменологически первичен*. Он, во-первых, *предшествует усвоению ребенком родного языка*, а во-вторых, в своей первичной стадии *не зависит также и от конкретного жизненного уклада, в рамках которого протекает начальное развитие ребенка* (см., например [Би 2004: 246, 275]).

Полученные результаты порождают сомнения в психологической обоснованности соссюровской парадигмы описания языка (раздел 3).

2. О разумном поведении и языке «говорящих» антропоидов. В последние десятилетия были получены важные результаты в изучении мышления и языковых возможностей высших антропоидов. Во-первых, оказалось, что антропоид, обладая системой восприятия, близкой к человеческой [Зорина, Смирнова 2005: 96 и сл.; Сергиенко 2006: 185, 229; Гудолл 1992: 37 и сл.], демонстрирует разумное поведение, основанное на развитом мышлении: он способен, подобно человеку, играть, смеяться, узнавать себя в зеркале, помогать своим сородичам, обманывать их [Сергиенко 2006: 229, 337–340] и т. д. Ср. также: «По образному выражению, животное создает некую внутреннюю картину мира, включающую комплекс представлений *что, где, когда*... Различают также ***образные*** и ***абстрактные*** (отвлеченные) представления» [Зорина, Полетаева 2002: 87 и сл.; выделение авторов].

Во-вторых, антропоид оказался способным к усвоению человеческого языка на уровне двухлетнего ребенка. Это выявилось в ходе известной серии экспериментов по обучению антропоидов «языкам-посредникам» (упрощенному языку жестов глухонемых и др.), а также и естественному (английскому) языку. Наибольших «языковых» успехов добились шимпанзе Уошо[12] и Канзи. Был проведен эксперимент, позволивший сравнить понимание речевых инструкций двухлетней девочкой Алей и шимпанзе Канзи. Инструкции содержались в английских фразах, которые диктовались им через наушники.

Канзи без какой-либо специальной тренировки правильно выполнял каждый раз новые инструкции... При этом часть заданий давали в двух вариантах, смысл которых менялся в зависимости от порядка слов в предложении: *Выйди на улицу и найди там морковку; Вынеси морковь на улицу; Налей кока-колу в лимонад; Налей лимонад в кока-колу*. ⟨...⟩ Достижения Канзи несомненно подтвердили способность шимпанзе к спонтанному пониманию синтаксиса. ...В среднем Канзи выполнил правильно 81% заданий, тогда как Аля – 64% [Зорина, Смирнова 2005: 234, 236].

Полученные данные позволяют предположить, что концептуальный мир высших антропоидов сходен с концептуальным миром двухлетнего ребенка. Поскольку антропоид демонстрирует разумное поведение, основанное на мышлении, то в соответствии с постсоссюровской парадигмой он использует для этого специальный «язык мысли». Ср.: «Люди, лишенные языка, тем не менее, обладают мыслекодом, а младенцы и многие животные обладают его более простыми диалектами» [Пинкер 2004: 70]. Но отсюда следует, что антропоид, обучившийся языку двухлетнего ребенка, изобретает и конвертор, преобразующий значения фраз усвоенного им языка в универсальный мыслекод[13], ср.: «Знание языка, таким образом, означает знание того, как можно перевести мыслекод в словесные цепочки, и наоборот» [Там же].

---

[12] Как сообщило 31 октября 2007 года «Associated Press», в США, в ветеринарной больнице университета штата Вашингтон в городе Спокане (штат Вашингтон) в возрасте 42 лет скончалась Уошо – шимпанзе, освоившая человеческий язык (в версии американского языка жестов).

[13] Для С. Пинкера этот вывод нерелевантен, поскольку он считает, что «языковые» достижения антропоидов – это умелая дрессировка, а вовсе не языковое поведение: «шимпанзе – это хорошо выдрессированные животные, а двухлетний ребенок – это двухлетний ребенок» [Пинкер 2004: 223].

Это, однако, представляется маловероятным. Гораздо разумнее думать, что антропоид обучается начаткам человеческого языка, напрямую соотнося усваиваемые слова (или жесты) со своими концептами, т.е. реализует схему знака (2в): слово – «концепт».

В этом случае усвоение им языка (и семантики, и синтаксиса) объясняется просто. Концептуальный мир антропоида сходен с миром ребенка, поэтому, овладевая лексикой (соотнося слова со своими концептами), антропоид автоматически усваивает и простейший синтаксис, выражающий основные конфигурации концептов (рассуждение, полностью повторяющее логику А. Вежбицкой, см. раздел 5.3). И никакого конвертора, переводящего «словесные цепочки в мыслекод и обратно», антропоиду не требуется. А это, в свою очередь, делает маловероятной гипотезу об использовании такого конвертора ребенком, причем, как в двухлетнем возрасте, так и позднее, на этапе «языкового взрыва», когда его язык начинает интенсивно развиваться и быстро приближается к языку взрослого человека. Ведь это развитие преемственности и базируется на «доконвертерной» стадии владения языком.

Если приведенные рассуждения справедливы, они дают основание усомниться в психологической релевантности постсоссюровской парадигмы.

Дополнение. О развитии концептуальной системы ребенка и системы его знаков

В соответствии с общим постулатом когнитивной парадигмы изучения языка, мы полагаем, что развитие речи ребенка обусловлено, наряду с генетическим фактором, развитием его концептуального мира. Существует множество концепций развития человека (см., например [Крэйн 2007]). Как нам кажется, наибольшей объяснительной силой обладает концепция, вытекающая из общей теории эволюции Ч. Дарвина и Г. Спенсера. Коротко говоря, ее можно свести к двум параллельно протекающим и взаимно компенсирующим друг друга тенденциям: 1) рост дифференциации некоторого нерасчлененного целого, разделение его на ряд относительно самостоятельных элементов и 2) рост интеграции элементов, возникших в результате дифференциации целого, см. [Левин 2001: 281–282].

Далее мы будем исходить из следующей гипотезы: *сущность умственного развития ребенка заключается в поэтапном развитии его системного мышления*. Попытаемся кратко охарактеризовать этапы системного мышления ребенка и показать, что соответствующее этим этапам *развитие его концептов заключается в преобразовании их во все более сложные концептуальные с и с т е м ы*.

Опираясь на сформулированную выше эволюционную концепцию развития, определим элементарный этап (шаг) развития концептуальной единицы ребенка как результат следующего двунаправленного действия: 1) д и ф ф е р е н ц и а ц и я этой единицы на н е п о с р е д с т в е н н о с о с т а в л я ю щ и е части и 2) и н т е г р а ц и я этих частей в с и с т е м у – в с т р у к т у р и р о в а н н о е ц е л о е.

1. Концептуальный мир 8-месячного младенца. В возрасте восьми месяцев у младенца начинается процесс п а с с и в н о г о у с в о е н и я р е ч и (см., например [Крайг, Бокум 2007: 258]). Он начинает понимать первые слова и выражения родного языка и адекватно реагировать на них – обращать взгляд к названному предмету и пр. Это значит, что концептуальная система младенца обретает первичную схожесть с концептуальной системой взрослого. Попытаемся ее описать.

Восьмимесячный младенец вполне дифференцированно воспринимает окружающий предметный мир: тела (игрушки, животных, людей) и места (пол, «обрыв» за краем кровати, щель, и под.), ср.: «В 8 месяцев младенцы используют цвет, форму и непроницаемость поверхности для восприятия отдельности и целостности объектов (Needman, Bailargeon, 1993)» [Сергиенко 2006: 220 и сл.], см. также [Ньюкомб 2003: 176–177] и замечание 1 в разделе 2. Тем самым окружающий мир распадается на множество единиц, заданных своими предметными образами (или гештальт-формами – совокупностями предметных характеристик, включающих объемную форму, плотность, текстуру, размеры и др.).

Этим единицам младенец автоматически приписывает функциональные (ролевые) характеристики (потенциальности (affordances) – по Дж. Гибсону), ср.: «...от каждого предмета исходит как бы аффект, притягательный или отталкивающий, побуждающая мотивация к ребенку... Как образно говорил Левин, лестница манит ребенка, чтобы он по ней пошел; дверь – чтобы он закрыл ее или открыл; колокольчик – чтобы он в него позвонил... Словом, каждая вещь имеет аффективную валентность для ребенка... провоцирует его деятельность, т.е. направляет его» [Выготский 2005: 134–135].

В результате, каждая предметная единица представляется в виде пары:

(4) предметный образ ← {пучок желанных/нежелательных взаимодействий с ним},

где стрелка ← обозначает отношение интерпретации. Такие пары мы будем называть **субконцептами**. Например, субконцепт «стул» имеет вид:

(4а) образ стул ← {на нем можно сидеть/его можно передвигать/он может упасть...}.

Можно предположить, что совокупность таких субконцептов и образует концептуальный мир 8-месячного младенца. Возникающий на его основе конкретный жизненный (предметный) мир младенца и позволяет ему понимать первые слова.

Замечание 5. Следует, однако, иметь в виду, что узнаваемые младенцем слова еще не несут функции языковых знаков. Они для младенца – лишь звуковые жесты, указатели на некоторые физические ситуации, контактно соединенные комплексы субконцептов. Младенцу в этот период свойственно допонятийное (комплексное – по Выготскому) мышление и возникающая чуть позднее автономная речь, ср. «значение слов не постоянно, а изменчиво... не предметное, а ситуативное... в автономной детской речи предмет носит разное название в зависимости от ситуации» [Выготский 2005: 124].

С 9–10 месяцев ребенок начинает использовать символические действия для игры и управления действиями взрослых [Крайг, Бокум 2007: 253]. В это же время у него возникают «коммуникативные намерения и конвенциональная сигнализация» [Бейтс 1984: 51]. Если ранее ребенок, стремясь дотянуться до цели, смотрел только на нее, то теперь он попеременно смотрит на цель и на взрослого. Его действия (например, «дотянуться и схватить») часто становятся обращенной к взрослому символической имитацией реальных действий. Первые слова, произносимые ребенком в этот период (его холофразы), также выступают в символической функции. Полемизируя с В. Штерном, утверждавшим, что первое слово *мама* в переводе на развитую речь означает целое предложение: *Мама иди сюда*, или *Мама, дай*, Л.С. Выготский замечает: «не слово *мама* должно быть переведено на язык взрослых, например, *Мама, посади меня на стул*, а все поведение ребенка в данный момент (он тянется к стулу... и т.п.) ...единственно правильный перевод детского *мама* и вообще первых детских слов – это указательный жест, эквивалентом, условным заместителем которого они вначале являются» [Выготский 1996: 85; разрядка автора].

С 12–13 месяцев ребенок начинает употреблять слова как знаки – в их референциальной функции, не обусловленной конкретной ситуацией и его текущим поведением, ср.: «Слово *нос* применяется для множества носов, а не в конкретной игре, связанной с прикосновением к своему собственному носу. Таким образом, для ребенка в возрасте 13 месяцев у вещей уже есть имена, как в процессе понимания, так и порождения речи» [Бейтс 1984: 61].

2. Схема знака у ребенка одного-полутора лет. Появление у младенца языковых знаков мы связываем с развитием его концептуальной системы. На уровне 1 рис. 1 изображена ситуация «человек сидит на стуле», отвечающая восприятию 12-месячного ребенка. Первоначально в ней субконцепты «пол», «стул» и «человек» не интегрированы в целостную ситуацию. Они объединены для ребенка лишь контактной близостью. Но в какой-то момент ребенок начинает непроизвольно понимать, что эти субконцепты взаимодействуют друг с другом. Среди пучка действий субконцепта «пол» есть действие 'поддерживает (служит опорой)', а среди пучка действий субконцепта «стул» есть действие 'опирается'. Аналогично, человек в числе других действий может сидеть, а стул обеспечивает возможность сидеть. Тем самым ситуация обретает для младенца

целостность. Слово *стул* относится к субконцепту «стул», но обозначает также и всю ситуацию.

Итак, к 12–13 месяцам некоторые субконцепты ребенка обретают имена и становятся первыми языковыми знаками. К примеру, схема знака *стул* имеет вид:

(4) *стул* – субконцепт «стул», или
стул – предмет стул ← {на нем можно сидеть/его можно передвигать…}.

Заметим, что постепенно в пучке действий субконцептов выделяются наиболее типичные действия (назовем их функциями). Так, для пола это – 'служить опорой', а для стула – 'использоваться для сидения'. Поэтому в схеме знака действия также ранжируются по степени типичности.

3. Схема знака у ребенка полутора-двух лет. Следующий шаг развития можно определить так: субконцепты, имеющие в рамках ситуации ограниченную самостоятельность, превращаются в полностью независимые от ситуации (базовые) концепты. Например, для субконцепта «стул» данный шаг осуществляется следующим образом. Сначала ситуация «человек сидит на стуле» (первый уровень на рис. 1) дифференцируется на непосредственно составляющие ее субконцепты: «стул», «пол» и «человек». Затем предметные компоненты двух последних субконцептов заменяются их функциями в отношении стула: 'опора для стула' и 'может сидеть, опираясь спиной', которые и приписываются предмету стул, т.е. связываются с ним отношением интерпретации (←). Благодаря ему все три новые компоненты образуют целостную и уже вычлененную из ситуации систему – самостоятельный **концепт** «стул» (уровень 2 на рис. 1). Его предметная компонента наследует имя *стул*.

На рис. 1 данный шаг развития отображен переходом от уровня 1 (субконцепт) к уровню 2 (концепт). Здесь и далее двойные стрелки обозначают операцию дифференциации – переход от целого к его непосредственным составляющим (частям). Одинарные стрелки, напротив, осуществляют операцию интеграции – связывание разделившихся частей.

Обозначим отношение развития значком ⇐. Тогда схема знака у полуторагодовалого ребенка будет иметь вид:

(5) *стул* – субконцепт «стул» ⇐ концепт «стул».

Замечание 6. Примерно с полутора лет у ребенка появляется телеграфная речь – осмысленные фразы, состоящие из двух или трех слов, расположенных в правильном порядке, но часто не согласованных (*Вижу собачка, Сидеть стул, Где мяч?*) [Пинкер 2004: 254 и сл.; Крайг, Бокум 2007: 266]. Разумно предположить, что этот этап речевого развития ребенка обусловлен развитием его субконцептов – формированием из них самостоятельных концептов. Благодаря этому совокупность взаимосвязанных субконцептов превращается в конфигурацию самостоятельных (и поименованных) концептов, объединенных чисто функциональными отношениями. Для вербализации такой конфигурации концептов ребенок должен употребить уже не одно, а несколько слов, упорядочивая их некоторым «естественным» образом. Приведем два примера, иллюстрирующих сказанное. 1) «Маленькие дети часто комбинируют одно слово с жестом, создавая «двусловное сообщение», перед тем как они действительно начнут объединять два слова вместе… младенец может указать на ботинки отца и произнести *папа*, что будет обозначать 'папины ботинки'» [Би 2004: 260]. Раньше, когда ботинки не воспринимались ребенком как самостоятельный предмет, для описания данной ситуации он вполне мог ограничиться лишь указанием на них. 2) Ребенок использовал фразу *Мама носок*, чтобы описать две различные ситуации: «когда он подобрал мамин носок и… когда мама надевала носок на ножку ребенка» [Там же: 262]. Раньше и ту и другую ситуацию он мог бы назвать одним словом *носок*.

Этого же уровня языкового развития («телеграфная "речь"») достигает «говорящий» антропоид (см. раздел 6.2), что указывает на сходство концептуальных систем антропоида и ребенка полутора-двух лет.

Система частных суперконцептов:
"спинка" + "сиденье" + "ножки"

Рис. 1. Концептуальная система **«стул»** – единица познания (знания и понимания) предмета стул; задает совокупность всех значений слова *стул*.

4. Схема знака у ребенка двух-трех лет. Следующий шаг развития, относящийся уже к концептам, приводит к образованию из них еще более детализированных систем, – **суперконцептов**, предметный образ которых имеет вид партитивной структуры (разделен на части). Продолжим рассмотрение концепта «стул» (см. уровень 2 на рис. 1). Чтобы не усложнять рисунок, предположим, что функция 'опора для стула' элементарна и дальнейшему разложению не подлежит. Предметный образ стула разлагается на две непосредственно составляющие: Предметность ('материальность + физическая твердость + пространственная объемность') и Абстрактный (бесплотный) образ, наследующий имя *стул*. Общая функция Абстрактного образа распадается на три частные функции: 'опора для спины' + 'опора для седалища' + 'устойчивость опоры для седалища' (уровень 3 на рис. 1).

Возникший суперконцепт также образован двумя составляющими: структурной (абстрактный образ с его предметными свойствами) и функциональной, задающей роли его частей. Он появляется у ребенка двух-трех лет.

Соответствующим образом развивается и его схема знака:

(6) *стул* – субконцепт «стул» $\prec$ концепт «стул» $\prec$ суперконцепт «стул».

Замечание 7. Тот факт, что дети старше двух лет располагают когнитивными единицами типа суперконцепт «стул», имеет лингвистическое подтверждение. Употребление генитивной конструкции *Y X-а* (*спинка стула*) корректно лишь при условии, что существительное *Y* называет одну из непосредственно составляющих предмета X (см. замечание 4 в разделе 5.4). Поэтому, скажем, выражение *ножки стула* корректно, а **планки стула* – нет (о планках, скрепляющих ножки стула, см. рис. 1). Но «дети в возрасте до двух-трех лет усваивают… конструкции со значением часть – целое» [Цейтлин 2000: 135]. Следовательно, они уже открыли для себя («вычислили») партитивную структуру окружающих предметов – важнейший компонент предметного суперконцепта, превращающий знание ребенка о предмете в понимание предмета – знание функций его частей. Поэтому, если, допустим, стул потерял устойчивость и падает, когда на него садятся, трехлетний ребенок может догадаться о причине неустойчивости: могла сломаться ножка стула (утратилась ее функция), см. также замечание 3 в разделе 5.3.

В статье [Кошелев 2008 (в печати)] приводятся аргументы в пользу гипотезы о том, что начинающееся у двухлетнего ребенка лавинообразное развитие языка («языковой взрыв») обусловлено развитием его концептуальной системы до уровня суперконцептов. По-видимому, антропоид в своем развитии останавливается на уровне концептов. Поэтому он, во-первых, не обладает пониманием предметов, а во-вторых, не способен к дальнейшему развитию своего «языка».

5. Схема знака у ребенка трех-пяти лет. Очередной шаг в развитии, относящийся уже к суперконцепту (уровень 3 на рис. 1), заключается в преобразовании его в **систему частных суперконцептов**: «спинка», «сиденье» и «ножки» (см. уровень 4 на рис. 1).

Функция каждой составляющей абстрактного образа (спинки, сиденья и ножек) дифференцируется на более частные функции. Так, функция ножки 'удерживает сиденье (придает ему устойчивость)' делится на две составляющие: ножка своей верхней частью 'поддерживает сиденье', а нижней – 'опирается на пол'; спинка передней стороной 'дает опору спине человека', а задней (или нижней) – 'прикрепляется к сиденью или ножкам (чтобы выдерживать давление)'. Аналогично и для сиденья. Тем самым частные функции задают и физическую дифференциацию составляющих: верхняя/нижняя части ножки, передняя/задняя стороны спинки и т. д. В результате спинка, сиденье и ножки сами становятся суперконцептами (партитивными структурами), которые уже функционально, а не физически (контактно, как в абстрактном образе) связаны между собой. Эти связи задают «функциональную схему сборки» абстрактного образа: 'спинка задней (или нижней) частью прикрепляется к сиденью или ножкам' и т.д. Возникающая система частных суперконцептов и наследует имя *стул*.

Итак, у ребенка трех-пяти лет схема знака имеет вид:

(7) *стул* – субконцепт «стул» $\prec$ концепт «стул» $\prec$ суперконцепт «стул» $\prec$ система частных суперконцептов: «спинка» + «сиденье» + «ножки».

Назовем четырехуровневую структуру (рис. 1) **концептуальной системой «стул».** Тогда схема (7) получит вид: *стул* – концептуальная система **«стул»**.

Замечание 8. Система частных суперконцептов (4-й уровень) обеспечивает ребенку более глубокое понимание предмета. Он теперь знает, как «работают» части составляющей, чтобы обеспечить «работу» целой составляющей (выполнение ею своей функции). Так, зная теперь, что ножка 'верхней частью поддерживает сиденье', а 'нижней частью опирается на пол', ребенок может сообразить, почему «не сработала» ножка стула (см. замечание 7): сломалась ли она сама (и ее верхняя часть не поддерживает сиденье) или же проломился под ней пол (и не обеспечивает опоры для ее нижней части).

Можно предположить, что система частных суперконцептов возникает у ребенка после трех лет. В этот период каузальные способности детей существенно возрастают [Крайг, Бокум 2007: 339–340; Шэффер 2003: 360]. Они «употребляют логические, каузальные выражения, например, *если – то* и *потому что*, с той же степенью точности, что и взрослые… Создается впечатление, что логика в рассуждениях страдает лишь при незнании предмета…» [Берк 2006: 393]. Вопрос «Почему?» – становится в 4 года их главным вопросом.

6. Концептуальная система – единица познания жизненного мира. Частные суперконцепты 4-го уровня на рис. 1 («ножки» и др.) далее не развиваются, поскольку их части: «верхняя/нижняя часть ножки» и др. не имеют самостоятельной формы, которая бы задавала их функции. Они – **элементарные суперконцепты**. Но для велосипеда частные суперконцепты 4-го уровня: «колеса», «педали» и др. (см. замечание 4 в разделе 4.5) не элементарны. Каждый из них порождает следующий, 5-й уровень своих частных суперконцептов. К примеру, для колеса – это «обод», «шина» и «спицы». Для автомашины таких уровней может быть гораздо больше. Естественно, обычный человек (не автомеханик) может не знать не только всех концептуальных уровней автомашины, но даже и 5-го уровня велосипеда. Где-то между уровнями проходит граница, отделяющая обыденные знания человека (мы их будем называть жизненными, относящимися к его жизненному миру) от профессиональных и научных знаний. Об этом же писали А.А. Реформатский и А.А. Потебня, указывавший, что при описании значения слова *дерево* нельзя «переходить в область ботаники» (см. раздел 3.2).

Мы будем полагать, что жизненные знания рядового носителя языка об окружающих его предметах ограничиваются четвертым уровнем, – системой частных суперконцептов. В этом случае можно считать, что человек обладает глубоким пониманием предмета. Знание трех уровней обеспечивает ему поверхностное понимание предмета, а двух – просто знание предмета (им обладают полуторагодовалые дети и высшие антропоиды).

Замечание 9. Как мы видим, элементарные концепты возникают естественным путем – как терминальные единицы концептуальной системы. Часто они входят в структуру других концептов, ср.: ножка цветка/гриба/ребенка/дивана/торшера/циркуля/бокала/зонтика, козья ножка, ножка буквы Т, плодоножка и т.д. (ср. также: нога человека/коровы/подсолнуха/телебашни и т.д.); спинка кровати/дивана/скамейки/парты/сиденья машины и др. Подчеркнем: одно имя для внешне столь непохожих элементов (ножки гриба, циркуля, дивана и др.) обусловлено тем, что в своих системах концептов (подобных концептуальной системе **«стул»**, см. рис. 1), эти элементы выполняют одну и ту же роль: 'удерживать предмет над землей, от падения на нее'.

Будучи самостоятельными, не связанными между собой физически, концепты разных систем (как элементарные, так и просто частные: «колесо», «педаль») легко классифицируются, поскольку могут быть аргументами самых разных отношений: тождества, подобия, обобщения и пр.

7. О значениях слова *стул*. Концептуальная система **«стул»** – правая часть схемы (7) – задает совокупность всех значений слова *стул*. В лексическом плане она подобна схеме (2г'): *стул* – «стул» $\prec$ «обобщенный стул» (см. раздел 5.1), которая решает проблему полисемии посредством общего значения. В схеме (7) концепт «стул» (уровень 2 на рис. 1) выражает главное (частное) лексическое значение, а пара «суперконцепт «стул» $\prec$ система частных суперконцептов» выполняет функцию общего значения (инварианта). Другие частные значения получаются из этого инварианта путем признания некоторых его элементов (характеристик) факультативными. Перечислим основные частные значения, точнее, задаваемые ими классы референтов.

1) контурный рисунок стула, подобный абстрактному образу (отпадает 'материальность', 'твердость' и др. элементы). При этом 'объемность' сохраняется, но приписывается ему как потенциальная: в самом деле, глядя на плоский рисунок (абстрактный образ) стула на рис. 1, трудно заставить себя увидеть его не объемным, двумерным;

2) несоразмерные стулья, типа детской игрушки или исполинского стула, сложенного из огромных каменных плит, как на картине Рене Магритта «Легенда веков» (1948 г.);

3) мираж стула – 'объемность' реальна, но многие другие элементы концептуальной системы **«стул»** элиминируются;

4) разобранный стул – стопка его частей; он соответствует системе элементарных суперконцептов (4-й уровень на рис. 1);

5) стул без ножки или без спинки, сломанный стул;

6) любой предмет в форме стула (увидев в механизме своей игрушки деталь, внешне похожую на стул, ребенок вполне может назвать ее словом *стул*).

Нетрудно видеть, что инвариантом всех этих (и других) лексических значений является абстрактный образ стула. Он или, по крайней мере, бóльшая его часть присутствует во всех значениях. Что касается его интерпретаций, то почти все они факультативны.

Будучи полным значением слова *стул*, концептуальная система **«стул»**, наряду с лексическими, задает и его грамматические значения. Вообще, кажется естественным полагать, что структурная составляющая системы воплощается в синтаксических (грамматических) значениях, а функциональная (ролевая) – в лексических. В самом деле, структура образа и его место в системе образов мира жестко фиксированы и не допускают произвольных вариаций. Это качество отражается в синтаксисе языка, который подчинен столь же жестким правилам. Функциональная характеристика образа – его место в системе человеческих интенций – напротив, допускает вариативность в весьма широких пределах, делающих выражения типа *бесцветные зеленые идеи* или *глокая куздра* семантически допустимыми.

Если обратиться к рис. 1, можно увидеть то место в образной составляющей уровня 3, где предметность отделяется от образа и становится факультативной характеристикой. С этого момента слово *стул* из предметного имени превращается в полноценное существительное, называющее не только предметы (конкретные стулья), но и объекты другой природы, например, рисунки стульев[14].

По-видимому, типология усваиваемого языка не влияет на структуру концептуальных систем. Известны примеры «глухих взрослых, не знающих языка ни в одной форме – ни жестового, ни чтения по губам ⟨...⟩ Несмотря на их изоляцию от словесного мира, они демонстрировали множество форм абстрактного мышления: могли починить сломанный замок, знали, как обращаться с деньгами...» [Пинкер 2004: 56][15].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян 2005 – *Ю.Д. Апресян*. О Московской семантической школе // ВЯ. 2005. № 1.

Баранов, Добровольский 1997 – *А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский*. Постулаты когнитивной семантики // ИАН СЛЯ. Т. 56. 1997. № 1.

Бейтс 1984 – *Эл. Бейтс*. Интенции, конвенции и символы // Психолингвистика. М., 1984.

Бенвенист 1974 – *Э. Бенвенист*. Общая лингвистика. М., 1974.

Берк 2006 – *Л.Е. Берк*. Развитие ребенка. СПб., 2006.

Би 2004 – *Х. Би*. Развитие ребенка. СПб., 2004.

Бондарко 2002 – *А.В. Бондарко*. Теория значения в системе языковой семантики: На материале русского языка. М., 2002.

Вежбицкая 1985 – *А. Вежбицкая*. Дело о поверхностном падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 15. М., 1985.

Вежбицкая 1999 – *А. Вежбицкая*. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.

Вежбицкая 2005 – *А. Вежбицкая*. Русские культурные скрипты и их отражение в языке // Анна А. Зализняк и др. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005.

Выготский 2005 – *Л.С. Выготский*. Психология развития ребенка. М., 2005.

Выготский 1996 – *Л.С. Выготский*. Мышление и речь. М., 1996.

Гак 1998 – *В.Г. Гак*. Языковые преобразования. М., 1998.

Гудолл 1992 – *Дж. Гудолл*. Шимпанзе в природе: поведение. М., 1992.

Демьянков 1994 – *В.З. Демьянков*. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // ВЯ. 1994. № 4.

---

[14] Известный американский нейробиолог Д. Примак отмечал, что действия Канзи и девочки Али, выполнявших инструкции речевых тестов (см. раздел 6.2), выявляют «только примитивный уровень владения языком», который «базируется на перцептивных категориях типа "действие – предмет", а не на грамматических "глагол – существительное". ⟨...⟩ Бесспорно, что в положенное время ребенок... перейдет к правилам, основанным на грамматических категориях "глагол – существительное"» [Зорина, Смирнова 2006: 240]. На рис. 1 зафиксирован один из возможных вариантов перехода от «предмета» к «существительному».

[15] Выражаю глубокую благодарность М.Н. Григорян и Т.В. Самариной за ценные советы.

Демьянков 2007 – *В.З. Демьянков*. «Концепт» в философии языка и когнитивной лингвистике // Концептуальный анализ языка: Современные направления исследования. М., 2007.

Зорина, Полетаева 2002 – *З.А. Зорина, И.И. Полетаева*. Зоопсихология: Элементарное мышление животных: Учеб. пособ. М., 2002.

Зорина, Смирнова 2006 – *З.А. Зорина, А.А. Смирнова*. О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами? М., 2006.

Иванов 2004 – *Вяч.Вс. Иванов*. Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему. М., 2004.

Иорданская, Мельчук 2007 – *Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук*. Смысл и сочетаемость в словаре. М., 2007.

Кант 1964 – *И. Кант*. Критика чистого разума // Сочинения. Т. 3. М., 1964.

Касевич 1989 – *В.Б. Касевич*. Языковые структуры и когнитивная деятельность // Язык и когнитивная деятельность. М., 1989.

Касевич 1998 – *В.Б. Касевич*. О когнитивной лингвистике // Общее языкознание и теория грамматики. СПб., 1998.

Кацнельсон 2001 – *С.Д. Кацнельсон*. Категории языка и мышления. Из научного наследия. М., 2001.

Кибрик 2003 – *А.Е. Кибрик*. Константы и переменные языка. СПб., 2003.

Коффка 1934 – *Ф. Коффка*. Основы психического развития. М.; Л., 1934.

Кошелев 2006 – *А.Д. Кошелев*. О схеме лексического значения предметного существительного и ее функционировании в акте коммуникации // Вереница литер: Сб. ст. к 60-летию В.М. Живова. М., 2006 (http://www.lrc-press.ru/05.htm).

Кошелев 2008а – *А.Д. Кошелев*. К описанию универсального концепта 'ОБМАН–ОБМАНУТЬ' // Между ложью и фантазией. Сб. Логический анализ языка. М., 2008.

Кошелев 2008 (в печати) – *А.Д. Кошелев*. О качественном отличии человека от антропоида // Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка (в печати).

Кошелев–Мельчук 1996 – Извлечения из электронной переписки А.Д. Кошелева и И.А. Мельчука // Референциальный подход к анализу языковых значений // Московский лингвистический альманах. Вып. 1. М., 1996 (http://www.lrc-press.ru/05.htm).

Крайг, Бокум 2007 – *Грэйс Крайг, Дон Бокум*. Психология развития. СПб., 2007.

Крэйн 2007 – *Уллес Крэйн*. Психология развития человека: 25 главных теорий. СПб., 2007.

Кубрякова 2007 – *Е.С. Кубрякова*. Предисловие // Концептуальный анализ языка: Современные направления исследований. М., 2007.

Кубрякова 2004 – *Е.С. Кубрякова*. Язык и знание. М., 2004.

Лакофф 2004 – *Дж. Лакофф*. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. М., 2004.

Левин 2001 – *К. Левин*. Регрессия, ретрогрессия и развитие // К. Левин. Динамическая психология. М., 2001.

Мельчук 1997 – *И.А. Мельчук*. Курс общей морфологии. Т. 1. М., 1997.

Мельчук 1999 – *И.А. Мельчук*. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ⇔ Текст». 2-е изд. М., 1999.

Мельчук 2005 – Интервью, данное И.А. Мельчуком изд-ву «Языки славянской культуры» 27 июня 2005 г. (http://www.lrc-press.ru/05.htm).

Ньюкомб 2003 – *Н. Ньюкомб*. Развитие личности ребенка. СПб., 2003.

Падучева 2004 – *Е.В. Падучева*. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

Пинкер 2004 – *С. Пинкер*. Язык как инстинкт. М., 2004.

Потебня 1956 – *А.А. Потебня*. Из записок по русской грамматике // Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX вв. / Сост. В.А. Звегинцев. М., 1956.

Рахилина 1998 – *Е.В. Рахилина*. Когнитивная лингвистика: история, персоналии, идеи, результаты // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998.

Реформатский 1968 – *А.А. Реформатский*. Термин как член лексической системы языка // Проблемы структурной лингвистики. 1967. М., 1968.

Сепир 1993 – *Э. Сепир*. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.

Сергиенко 2006 – *Е.А. Сергиенко*. Раннее когнитивное развитие: Новый взгляд. М., 2006.

Серебренников 1988 – *Б.А. Серебренников*. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М., 1988.

Слюсарева 2004 – *Н.А. Слюсарева*. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. М., 2004.

Соссюр 1977 – *Ф. де Соссюр*. Труды по языкознанию. М., 1977.
Степанов 1998 – *Ю.С. Степанов*. Язык и метод: К современной философии языка. М., 1998.
Уорф 1999 – *Б. Уорф*. Наука и языкознание // Зарубежная лингвистика. Т. 1. Новое в лингвистике: Избранное. М., 1999.
Успенский 1996 – *Б.А. Успенский*. Избранные труды. 2-е изд. Т. 1. М., 1996.
Успенский 2007 – *Б.А. Успенский*. Fgo Loquens: Язык и коммуникативное пространство. М., 2007.
Хомский 1972 – *Н. Хомский*. Язык и мышление. М., 1972.
Цейтлин 2000 – *С.И. Цейтлин*. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. М., 2000.
Шэффер 2003 – *Д. Шэффер*. Дети и подростки: Психология развития. СПб., 2003.
Шмелев 1977 – *Д.Н. Шмелев*. Современный русский язык: Лексика. М., 1977.
Шмелев 2006 – *Д.Н. Шмелев*. Проблемы семантического анализа лексики. М., 2006.
Якобсон 1975 – *Р. Якобсон*. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
Якобсон 1985 – *Р. Якобсон*. Избранные работы. М., 1985.
Якобсон (в печати) – *Р. Якобсон*. Формальная школа и современное русское литературоведение / Ред.-сост. Т. Гланц. М. (в печати).
Chomsky 1980 – *N. Chomsky*. Rules and representations. New York, 1980.
Gelman 1998 – *S.A. Gelman*. Categories in children's thinking // Young Children. 202. 4. 1998.
Needman, Bailargeon 1993 – *A. Needman, R. Bailargeon*. Intuitions about support in 4.5-month-old infants // Cognition. V. 47. 1993.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 2008

© 2008 г. З.А. ЗОРИНА

ОБЕЗЬЯНЫ НЕ ТОЛЬКО «ДУМАЮТ», НО И «ГОВОРЯТ»

В статье рассмотрены основные характеристики поведения человекообразных обезьян, обученных простым незвуковым аналогам человеческого языка (так называемые языки-посредники). Приведены доказательства того, что их «языковое» поведение действительно обладает зачатками многих качеств языка человека и приближается к языку 2-летних детей. Такое же сходство характерно и для ряда общих для тех и других высших когнитивных способностей, отсутствующих у других животных (способность к символизации, самоузнавание, theory of mind и др.). Подчеркивается, что именно высокий уровень когнитивных способностей создает основу для появления зачатков языка в процессе эволюции, что способность «говорить» появляется только вместе со способностью «думать».

Прежде всего, хочется выразить признательность С.А. Бурлак и В.С. Фридману [2008] за их оперативный отклик на нашу книгу [Зорина, Смирнова 2006], за ее глубокий и доброжелательный анализ, интересные замечания, а также за предоставленный нам повод вернуться к проблеме «говорящих» обезьян и прояснить моменты, которые, как можно судить по обзору, остались незамеченными читателями-лингвистами.

Напомню, что речь идет об одном из самых поразительных открытий XX века – обнаруженной американскими психологами способности человекообразных обезьян овладевать искусственными знаковыми системами – простыми (пожалуй, даже простейшими) аналогами человеческого языка – и адекватно пользоваться ими для общения с людьми и друг с другом.

В книге мы ставили скромную и четкую цель, которая процитирована и авторами обзора. «Мы намеренно не касались дискуссий о происхождении и природе языка человека, которые не утихают среди лингвистов» (см. [Зорина, Смирнова 2006: 304]). Поэтому искать в ней прямой ответ на ряд вопросов просто бесполезно, так как наша задача состояла именно в объективном освещении полученного в языковых проектах богатейшего материала, с тем, чтобы читатель сам смог судить, «в какой степени формируемый у шимпанзе способ общения можно считать прообразом или аналогом того языка, которым пользовался древний человек на ранних этапах антропогенеза» [Там же: 32].

Позволю себе напомнить краткое резюме, которое мы поместили в конце книги [Там же: 303–304]. «В этой книге мы попытались собрать, представить и обсудить доказательства того, что языковое поведение антропоидов действительно обладает зачатками многих качеств языка человека. При этом мы старались *не преувеличивать сходство и не забывать о различиях* (Здесь курсив наш. – *З.З.*)». Перечислим важнейшие положения с некоторыми дополнениями и ссылками:

• человекообразные обезьяны обладают способностью воспринимать и продуцировать «слова», которые могут быть реализованы в разной форме (жесты, лексиграммы и др.). В основе таких «слов» лежит обобщенное представление о классе соответствующих объектов и действий, которое позволяет использовать их в разнообразных ситуациях, в том числе совершенно новых, употреблять в переносном смысле [Там же: 162, 303], в качестве шутливых и бранных выражений. Все это отвечает важнейшему свойству языкового значения по Выготскому: «обобщение и значение слова суть синонимы»[1];

[1] См. [Выготский 1996: 100].

Этот вывод сделан на основе данных, приведенных в соответствующих разделах [Зорина, Смирнова 2006: 160–164; 183; 210]. Вместе с тем, мы указываем в книге, что «эти представления физиологов и психологов в известной мере можно сопоставить с принятым в лингвистике положением о «языковой тройке», или «треугольнике Огдена и Ричардса», т.е. о том, что слову соответствует не только тот конкретный предмет, который оно в данный момент обозначает (денотат, или референт), но также и то отвлеченное описание, по которому этот предмет можно опознать» [Там же: 136]. Одним из примеров выполнения этого критерия в языковом поведении шимпанзе Уошо может служить самостоятельное расширение исходного значения глагола «ОТКРЫВАТЬ», которое она спонтанно переносила на большое количество объектов (референтов). Например, первоначально Уошо обучали этому знаку применительно к открыванию трех конкретных дверей. Не сразу, но она спонтанно стала им пользоваться для открывания всех дверей, включая дверцы холодильников и буфета: «ОТКРОЙ КЛЮЧ ПИЩА»; «ОТКРОЙ КЛЮЧ ЧИСТЫЙ»; «ОТКРОЙ КЛЮЧ ОДЕЯЛО». Потом она применяла этот знак для открывания вообще всяческих контейнеров, в том числе ящиков, коробок, портфеля, бутылок, кастрюль. В конце концов, она совершила настоящее открытие – подала этот знак, когда ей потребовалось повернуть водопроводный кран! [Там же: 161].

• человекообразные обезьяны демонстрируют способность к преднамеренной передаче информации. Достаточно напомнить многочисленные высказывания каждой из обезьян в нештатных ситуациях: шимпанзе Лана – «ПОЖАЛУЙСТА, МАШИНА ПОЩЕКОЧИ ЛАНУ», «ПОЖАЛУЙСТА, ТИМ, НАЗОВИ МНЕ ЭТО (безымянный предмет)». Уошо – «СОБАКА, УХОДИ». В одном из тестов экспериментатор (Сьюзен) «случайно» наступала на любимую куклу Уошо, и та выражала свое неудовольствие несколькими способами: «СЬЮЗЕН ВСТАНЬ; ВСТАНЬ СЬЮЗЕН; Я ПРОШУ ВСТАНЬ; ДАЙ МНЕ БЭБИ; УБЕРИ БОТИНОК» и еще 5–6 высказываний того же рода, вполне подходящих по смыслу в этой новой ситуации. Она выбирала в своем словаре знаки, абсолютно уместные в данном случае, и практически не употребляла таких, которые не соответствуют ситуации [Там же: 166, 303];

• человекообразные обезьяны продемонстрировали способность к «высказываниям» об отсутствующих объектах (см., например, описание тестов, проведенных с шимпанзе Шерманом и Остином [Там же: 211–213]); упомянем также их способность к «называнию» предметов без получения их в качестве подкрепления [Там же: 207–210] и, в ограниченной степени, о событиях прошлого и будущего (рассказы Коко и Панбэниши о происходивших накануне драках [Там же: 267–269]), о планах на ближайшее будущее – о действиях после возвращения домой, или перечисление мест, которые нужно посетить во время прогулки [Там же: 267]);

• человекообразные обезьяны могут поддерживать друг с другом и с человеком активные диалоги, включающие обмен ролями адресанта и адресата, в которых высказывание одного участника обусловливает ответ другого [Там же: 215–218]. Наряду с неоднократно наблюдавшимися спонтанными диалогами обезьян во всех проектах, Сэвидж-Рамбо поставила опыт так, чтобы направленно побудить к этому обезьян. Для достижения этой цели был найден удачный прием – заинтересовать обезьян спрятанным лакомством. На предыдущих этапах шимпанзе усвоили, что, когда люди входят в комнату с какой-нибудь пищей или игрушками в руках, у них можно попросить что-то с помощью клавиатуры. Новшество состояло в том, что теперь лакомство находилось в закрытой коробке, а с помощью клавиатуры они могли бы спросить и узнать, что именно там спрятано. Чтобы привлечь их внимание, входящий издавал восторженные крики, такие же, какие обычно издают обезьяны при появлении пищи. Предполагалось, что они заинтересуются и, возможно, спросят, что же именно там находится.

В первом таком случае Шерман бросился обнюхивать контейнер, но не смог определить, что же в нем было. Он жестами убеждал Сэвидж-Рамбо открыть контейнер, но та отказалась. Она пошла к своей клавиатуре, находящейся в соседней комнате, и объявила им, что это «ЕДА». Когда символ «ЕДА» появился на экране над клавиатурой обезьян, Шерман, увидев его, кажется, поверил, потому что сразу набрал на своей клавиатуре «ПОКАЖИ ЕДА». Получив ответ, что в контейнере находится банан, Шерман тут же нажал клавиши «ДАЙ БАНАН». Первый обмен знаками – по два высказывания с каждой стороны – состоялся!

В следующих двадцати опытах применялись разные лексиграммы, но Шерман в этой новой ситуации каждый раз наблюдал за тем, что ему сообщалось, после чего просил именно то лакомство, которое ему называли. *Так был установлен устойчивый диалог между обезьяной и человеком – обмен информацией об отсутствующем в поле зрения предмете с помощью языка-посредника* [Зорина, Смирнова 2006: 215]. Далее Шерман и Остин таким же образом беседовали друг с другом, получая недостающие другому лакомства или ключ, чтобы открыть холодильник или шкаф, где они находятся;

• человекообразные обезьяны понимают синтаксическую структуру речи (точнее, влияние порядка слов на смысл высказывания). Они могут выдерживать правильный порядок слов даже в наиболее длинных спонтанных высказываниях, таких как «РОДЖЕР, ПОЖАЛУЙСТА, ДАЙ МНЕ ЭТОТ ГОРЯЧИЙ ДЫМ (сигарета)»; и четко реагируют, когда подлежащее и дополнение меняются местами: «ПУСТЬ СОБАКА УКУСИТ ЗМЕЮ» или «ПУСТЬ ЗМЕЯ УКУСИТ СОБАКУ»;

• человекообразные обезьяны различают звучащие слова и понимают, что различные комбинации одних и тех же фонем имеют разный смысл;

• часть обезьян, выросших в оптимальных для этого условиях – полноценное социальное окружение и постоянное присутствие при разговорах между людьми, может воспринимать устную речь и понимать ее синтаксис на уровне двухлетнего ребенка (см. ниже).

Этот перечень выглядит весьма внушительно, тем не менее, мы считали нужным подчеркнуть, что все эти способности не следует переоценивать, что часть из них скорее намечена как тенденция. Поэтому мы указали, что разница в степени выраженности вербального поведения антропоидов и языка человека весьма велика;

• словарь человекообразных обезьян (как бы ни преувеличивали его объем) ограничен по сравнению со словарем ребенка даже трех лет, а продуктивность языка (по Ч. Хоккету) проявляется только как тенденция;

• свойство перемещаемости (способность говорить о прошлом, будущем и предметах, находящихся вне поля зрения) развито не настолько, чтобы появились уверенные основания считать, что обезьяны действительно могут подробно «высказываться» о событиях отдаленного прошлого и о сложных планах на будущее;

• собственные «высказывания» шимпанзе в подавляющем большинстве случаев ограничиваются двумя-тремя «словами», что, впрочем, характерно и для двухлетних детей;

• понимание синтаксиса также находится у обезьян на самой ранней ступени развития, хотя и сопоставимо с характерным для двухлетнего ребенка [Там же: 303–304].

Нам казалось, что в соответствующих разделах книги имеются ответы на возникшие у авторов обзора вопросы. По-видимому, эти ответы просто не были замечены, поэтому нам хотелось бы вернуться к ним еще раз. Наши уточнения и расхождения с мнением С.А. Бурлак и В.С. Фридмана можно свести к трем основным пунктам:

1. В обзоре отмечено, что предложенная читателю характеристика высших когнитивных функций животных излишне подробна и как бы уводит от проблемы языка. Высказано даже сожаление, что языковые проекты выполнялись психологами, «так что задачи, которые они перед собой ставили, вопросы, на которые они пытались получить ответы, те аспекты знакового поведения, которые в наибольшей степени замечались исследователями, лежали по преимуществу в сфере когнитивных способностей, а не собственно языка» [Бурлак, Фридман 2008: 99].

С этой точкой зрения нельзя согласиться. Напротив, по-видимому, следовало бы говорить об этом еще более подробно, коль скоро осталось непонятым, что без достижения современными антропоидами определенного и весьма высокого уровня развития мышления попытки научить их языкам-посредникам хотя бы в том объеме, в котором это произошло, были бы обречены на неудачу.

Подробно анализируя структуру мышления антропоидов в сравнении с другими приматами и высокоорганизованными неприматами, мы опирались на представления Л.С. Выготского [1996] о том, что переход к языку связан именно с объединением мышления и речи. Поэтому представленные нами данные о том, что антропоиды превосходят всех остальных приматов количественно и обладают рядом уникальных, недоступных больше никому (или почти никому) когнитивных способностей, позволяют допустить, что этот уровень в соединении с предоставленной им искусственной знаковой системой может приблизить осуществляемую с помощью языка-посредника коммуникацию к простейшей (детской) форме языка человека.

Выше мы уже привели основные характеристики языкового поведения обезьян. Дополним их теперь некоторыми, с нашей точки зрения, выразительными примерами.

Так, авторы обзора пишут: «…человек, привыкший к использованию знаковой коммуникативной системы, склонен многие элементы окружающей действительности интерпретировать как текст, сообщение о чем-то, знак. У человека имеется *желание слышать понимаемую речь* (курсив наш. – *З.З.*), и оно столь велико, что подчас заставляет обнаруживать слова в шумах природы и даже в синусоидной волне, генерируемой компьютером <…> Но насколько «говорящие обезьяны» готовы всякую обращенную к ним систему образов, частично соответствующих символам уже усвоенного «языка-посредника», интерпретировать в первую очередь как возможное сообщение – последовательность знаков, построенную по правилам той семиотической системы, которая используется в «языке-посреднике»? Может быть, именно это могло бы стать одним из главных критериев оценки того, насколько близко подходят обезьяны к овладению языком, но в книге таких данных нет» [Бурлак, Фридман 2008: 101].

Прежде всего, хотелось бы заметить, что стремление человека «обнаруживать слова в шумах природы и даже в синусоидной волне», по-видимому, не имеет прямого отношения к языку и представляет собой частный случай более общего явления: стремления человека везде видеть (распознавать) знакомые ему образы, например, видеть в облаке человеческую голову или трактовать завывания бури: «то как зверь она завоет, то заплачет как дитя». При этом человек никогда не спутает «метафорический» образ с реальностью, не примет завывания бури, похожие на плач ребенка, за реальный плач.

В то же время информация о сходном с указанным, но уже чисто коммуникативном стремлении обезъян вслушиваться в не обращенную непосредственно к ним человеческую речь, в нашей книге представлена. Данные о таких способностях антропоидов, по крайней мере, бонобо, были получены в работах С. Сэвидж-Рамбо [Savage-Rumbaugh, Lewin 2003].

Разумеется, авторы «языковых проектов» не задавались специально вопросом, прислушиваются ли их обезьяны к «шумам природы» – у них были более четкие и актуальные задачи. Поэтому им удалось обнаружить, что некоторые бонобо (жившие с детства в оптимальных для этого условиях) к звучащей речи прислушиваются, причем делают это и в тех случаях, когда она адресована непосредственно им, и когда люди общаются между собой. Об этом говорит проявившееся у Канзи и других бонобо уже в раннем возрасте спонтанное понимание сначала отдельных слов, а затем и целых фраз (наряду со спонтанным усвоением лексиграмм), что заставляло людей иногда прибегать к иносказаниям в их присутствии [Зорина, Смирнова 2006: 225]. Таким образом, вряд ли стоит отказывать антропоидам в «желании слышать понимаемую речь» [Бурлак, Фридман 2008: 101].

О стремлении бонобо анализировать акустический фон как «текст», *«как возможное сообщение – последовательность знаков, построенную по правилам той семиотической системы, которая используется в "языке-посреднике"»* [Там же: 101, курсив наш. – *З.З.*], говорит и успешное выполнение более 600 тестов на понимание звучащей речи, где Канзи правильно реагировал на каждую впервые услышанную фразу-задание [Зорина, Смирнова 2006: 233–237]. Особенно показательно, что это происходило не только в лаборатории, но и в самых разных ситуациях, например, во время прогулок по лесу, когда человеческая речь вплеталась в богатую гамму естественных звуков, тех самых «шумов природы» [Бурлак, Фридман 2008: 101]. Очень убедителен эпизод, когда Сэвидж-Рамбо предлагает Канзи нарвать луку и дать Панбэнише, или же бросить мяч в ручей. Канзи безоговорочно выполняет эти просьбы, хотя очень дорожит своими мячами, а от воды его обычно старались держать подальше и не разрешали бросать туда игрушки [Зорина, Смирнова 2006: 235–236]. Не менее показательна способность Канзи без подготовки понимать условные предложения. «Один раз, например, Канзи привели в гости к Остину. Как раз в этот момент Остину дали кашу, которой очень захотелось Канзи, и он все время ее выпрашивал. Было ясно, что Остин рассердится, если его кашу отдадут Канзи. Все это объяснили Канзи, который в то время играл с маской монстра, бывшей у него в рюкзаке. Остин заинтересовался маской, поэтому и решено было предложить обмен: "КАНЗИ, ЕСЛИ ТЫ ДАШЬ ЭТУ МАСКУ ОСТИНУ, Я ДАМ ТЕБЕ

ЕГО КАШУ". Канзи сразу же отдал маску Остину и снова показал на его кашу. Это была устная сделка, и Канзи ее понял» [Там же: 236].

Специальные тесты на проверку «билингвизма» Канзи, который знал и йеркиш[2], и понимал звучащую речь, также ясно свидетельствуют о способности антропоидов воспринимать речь человека как «текст» [Там же: 229]. Выяснилось, что в ответ на произнесенные человеком слова (как и на показанные ему фотографии) он в подавляющем большинстве случаев (93%) выбирает правильную лексиграмму, причем узнавание слов на слух («рецептивность») намного превышало то количество знаков, которые он сам использовал («продуктивность»). Напомним, что та же закономерность (превышение рецептивности над продуктивностью) была выявлена и у амслен-«говорящих»[3] обезьян, хотя она и не была столь строго протестирована в эксперименте. Таким образом, поскольку в книге есть «такие данные», то, пользуясь предложенным авторами обзора критерием, можно сделать вывод, что антропоиды достаточно «близко подходят к овладению языком».

2. Авторы обзора пишут: «<…> за рамками изложения осталась проблема, есть ли у животных какие-то элементы коммуникации при помощи знаков. <…> Но является ли она подлинно знаковой? Делают ли животные различие между предметом и символом: между палкой, с помощью которой они могут добыть лакомство, и сигналом, который они подают экспериментатору – для достижения того же самого результата? На основании каких критериев "говорение" обезьян на "языке-посреднике" можно считать речевой деятельностью, направленной на порождение знака и его функционирование в определенном сообществе, а не просто орудийной деятельностью животного?» [Бурлак, Фридман 2008: 101].

С такой постановкой вопроса мы также не можем согласиться. Во-первых, нельзя говорить об использовании знаков как об орудийной деятельности хотя бы потому, что последняя – это совершенно четко и узко определенная категория поведения, связанная с применением посторонних предметов для расширения манипуляторных возможностей животного в процессе добывания целевого объекта, находящегося, как правило, в поле его зрения, но недоступного чисто физически («видит око, да зуб неймет»). Вместе с тем, спонтанное использование орудий в новой для животного ситуации (инсайт) по своей психофизиологической природе это отнюдь не «просто орудийная деятельность», как пишут авторы обзора, а проявление высшей стадии эволюции психики животных [Леонтьев 1981], в основе которой лежит выполнение целого ряда сложных ментальных операций (основанных на целостном понимании всей ситуации) и которая недоступна другим приматам, не столь высокоорганизованным как антропоиды[4]. Во-вторых, о спо-

---

[2] Йеркиш – язык лексиграмм, созданный Д. Рамбо в начале 1970-х годов. На клавиши компьютера нанесены различные значки (лексиграммы), представляющие каждый отдельное слово [Зорина, Смирнова 2006: 140].

[3] Амслен – упрощенная версия жестового языка американских глухонемых (AmSLan – American sing language) [Зорина, Смирнова 2006: 137].

[4] Орудийные действия животных разных видов, да к тому же в разных ситуациях могут очень отличаться по своей природе. Во многих случаях это не более, чем продукты срабатывания видоспецифических программ, обогащенных культурной передачей. Именно к такой категории относятся упомянутые авторами обзора орудийные действия каланов и новокаледонских ворон, и они радикальным образом отличаются от тех орудийных действий антропоидов (а в некоторых ситуациях и тех же ворон), которые характеризуются экстренным созданием многоэтапного «плана действий», включающего «подгонку» заготовки для выполнения конкретной задачи, выполнение «подготовительной фазы» и т.п. (см. подробнее [Зорина, Смирнова 2006: 59–70, 284–288 и др.]). Именно такие орудийные действия позволили А.Н. Леонтьеву говорить о «стадии интеллекта» в эволюции психики. Поэтому мы никак не можем согласиться с тенденцией С.А. Бурлак и В.С. Фридмана говорить о «просто орудийной деятельности» как о чем-то незначимом и несущественном для понимания когнитивной основы языкового поведения шимпанзе.

собности обезьян к «порождению знака и его функционировании в определенном сообществе» [Бурлак, Фридман 2008: 101] говорит весь материал о спонтанных высказываниях амслен-«говорящих» обезьян на ранних этапах работы.

Американские психологи Алан и Беатрис Гарднеры [Gardner B., Gardner A. 1985] особенно подчеркивают, что применение жестов закономерно становилось неотъемлемой частью поведения и Уошо, и остальных обученных амслену обезьян. Все они высказывались спонтанно и объяснялись жестами в самых разных ситуациях, и с друзьями, и с незнакомыми людьми. Они делали знаки самим себе и друг другу, а также собакам, кошкам, игрушкам, инструментам, даже деревьям. Людям не приходилось соблазнять их лакомствами или докучать вопросами, чтобы побудить объясняться жестами амслена. Чаще всего обмен жестами инициировали молодые шимпанзе, а не люди. Нередко они «называли» предметы и их изображения на картинках в ситуациях, когда поощрение было маловероятно [Зорина, Смирнова, 2006: 150; Gardner B., Gardner A. 1985].

Можно отметить также, что Уошо не только «называла» самой себе картинки в подобной ситуации, но довольно часто комментировала свои действия. Отправляясь куда-нибудь, она могла скомандовать себе «СКОРЕЕ СКОРЕЕ». В случае ошибок Уошо себя поправляла. Вот типичный пример: она показала на картинку, сделала знак «ЭТО ЕДА», потом внимательно посмотрела на свою руку и изменила «высказывание» на «ЭТО ПИТЬЕ», что и было правильно [Зорина, Смирнова 2006: 151]. Подобные эпизоды можно рассматривать как аналог «внутренней речи» обезьян, которая, возможно, актуализирует их мышление, облегчает его осуществление, но этот вопрос еще ждет специальных исследований.

Подобные примеры мы встретим и в поведении обезьян, обучавшихся йеркишу (например, при решении теста Шерманом, см. ниже). Именно этому посвящена часть главы «Возможен ли диалог двух шимпанзе?» [Там же: 203–219], поскольку этот вопрос волновал и психолога С. Сэвидж-Рамбо, которая попыталась перейти от наблюдений за спонтанными проявлениями к направленной проверке того, можно ли рассматривать знаки обезьян как «sign-referent», к проверке того, «понимают ли обезьяны, что знак может соответствовать объекту, который отсутствует, и может заменять этот объект в широком диапазоне коммуникативных ситуаций» [Там же: 201].

Чтобы яснее показать особенности подхода к этой проблеме, процитируем еще раз его описание в нашей книге [Зорина, Смирнова 2006]. «В качестве теоретической основы планируемых экспериментов Сэвидж-Рамбо использовала классические представления. Согласно этим представлениям, (1) произвольному стимулу – символу, который может употребляться вместо реального объекта, события, человека, действия или взаимоотношений, соответствуют (2) обобщенные и накопленные в памяти знания о действиях, объектах и взаимоотношениях, связанных с этим символом. Она сделала акцент на том, что (3) язык человека обеспечивает *преднамеренное* использование этого символа для передачи информации другому индивидууму, который (4) имеет аналогичный опыт жизни в реальном мире и владеет той же системой символов, причем адресат должен быть способен к адекватной расшифровке символа и к ответу на него. Благодаря соблюдению этих условий адресат может представить себе предмет (событие), отделенное во времени и в пространстве. Только при соблюдении всех этих четырех условий "слово" языка-посредника можно рассматривать как истинное слово, как истинный символ» [Там же: 203].

С нашей точки зрения, выполнение первых двух условий в достаточной степени было показано уже при работе с амслен-«говорящими» обезьянами. Относительно же двух последних имелись лишь эпизодические наблюдения, и они, действительно, нуждались в систематическом изучении. Последовательную и тщательную проверку этих положений Сэвидж-Рамбо проводила почти четверть века во многих сериях экспериментов на разных обезьянах. Это только один пример того, что авторы «языковых проектов», хотя они и были психологами, достаточно четко представляли себе, какие задачи нужно ставить, чтобы выяснить меру сходства знакового поведения обезьян и собственно языка человека. Так что вряд ли стоит им в этом отказывать.

Реализуя этот подход, Сэвидж-Рамбо [Savage-Rumbaugh, Lewin 2003] поставила серию остроумных экспериментов, которые доказали, что молодые шимпанзе Шерман и Остин действительно способны «отделить» жест от обозначаемого им предмета, «использовать знак-лексиграмму не только и не столько для получения какого-то предмета, сколько для его "наименования" и для передачи информации о нем» [Зорина, Смирнова 2006: 205], или, по выражению Сэвидж-Рамбо, перейти от sign-request (знак-просьба) к sign-referent (знак-символ) [Там же: 209]. О том, какие классы референтов могут соответствовать знаку языка-посредника, мы уже упоминали выше. Добавим, что «ни Шерман, ни Остин не отличались склонностью к спонтанным "высказываниям" – тогда как даже у Ланы, поведение которой обычно рассматривается как пример крайне ограниченного освоения языка-посредника, Д. Рамбо наблюдал достаточно много таких случаев. Тем не менее, по крайней мере, Шерман был не совсем чужд этого: Сэвидж-Рамбо приводит эпизод, когда он увидел в окно шимпанзе, которого несли в небольшой клетке-переноске, и тут же нажал лексиграмму "СТРАШНО"» [Там же: 218].

Приводимый С.А. Бурлак и В.С. Фридманом анализ данных о «referential signals» в естественных коммуникативных системах ряда видов животных, несомненно, очень интересен и актуален. В нашей книге мы, действительно, лишь очень кратко упомянули эту группу данных [Зорина, Смирнова 2006: 38–39], потому что, во-первых, писали не энциклопедию, а текст, посвященный узкой проблеме (о чем рассказали «говорящие» обезьяны), а, во-вторых, потому что эти видоспецифические сигналы при всей их пластичности, комбинаторике и вариабельности обслуживают очень небольшой набор ситуаций, передают лишь определенное, очень небольшое число сообщений. Характерно, что авторы обзора не приводят данных о том, что перечисленные виды могут и з о б р е т а т ь новые referential signals, или употреблять их в новом контексте, т.е. проявлять хотя бы ту меру продуктивности (по Хоккету), которая свойственна «говорящим» антропоидам. Если же обратиться к приведенному в начале этой статьи перечню языковых способностей «говорящих» антропоидов, то мы увидим, что referential signals верветок и макаков, не говоря уж о цыплятах, не обладают ни одним из этих свойств. Даже элементы продуктивности столь незначительны, что никак нельзя согласиться с точкой зрения, что «эти интенсивно исследуемые системы сигналов-символов вполне выдерживают сопоставление с человеческим языком (последний оказывается лишь более открытой и более продуктивной системой, если исходить из критериев Хоккета, но чисто количественно)» [Бурлак, Фридман 2008: 105]. Как нам кажется, количественные различия здесь столь существенны, что уже приходится думать о качестве. Не случайно, что такой специалист в области изучения коммуникативных систем животных, как Е.Н. Панов [Панов 2005], по свидетельству самих авторов обзора, скептически относится к такой возможности [Бурлак, Фридман 2008: 101].

Хотелось бы напомнить еще раз, что все указанные виды животных обладают гораздо более скромным спектром когнитивных способностей, нежели антропоиды. Принято считать, что последние по многим качественным и количественным показателям ближе к человеку, чем к остальным приматам [Зорина, Смирнова 2006: 100–101]. Поэтому неудивительно, что сформировавшиеся у некоторых видов в процессе естественного отбора видоспецифические referential signals немногочисленны и обслуживают очень небольшой набор ситуаций. Более интересны в этом плане были бы данные о наличии таких сигналов в естественных коммуникативных контактах антропоидов. В нашей книге такие данные кратко упоминаются [Там же: 39], подробнее см. [Зорина и др. 2002]. В свое время высказывалось даже предположение, что естественная коммуникативная система шимпанзе является промежуточной между языком человека и коммуникативными системами других животных (ее иногда называют «протоязык» [Ujhelyi 1996]). Свое предположение автор указанной работы высказала совершенно независимо от Л.А. Орбели [1949], трудов которого она явно не знала. Однако оно вполне совпало с его (а также [Koehler 1956]) гипотезой о наличии промежуточных этапов в эволюции сигнальных систем, благодаря чему и у современных животных могут обнаруживаться какие-то при-

знаки, приближающие их коммуникативные системы к человеческой. Рассмотрение новейших данных по этому вопросу, несомненно, представило бы интерес и было бы более продуктивно с позиций поиска истоков языка человека, нежели обращение к гораздо более низкоорганизованным животным.

Здесь уместно вспомнить о 2 путях (видах программ) в эволюции поведенческих признаков [Северцов 1922]; см. также [Зорина и др. 2002]. Как нам представляется, появление «referential signals» в естественных коммуникативных системах животных – это результат эволюции по первому пути, когда в процессе отбора формируются узкоспециализированные видоспецифические программы поведения, приуроченные к строго определенным ситуациям.

В отличие от этого, способности шимпанзе, выявленные благодаря «языковым проектам», – яркое проявление наличия «потенциальной психики», сформировавшейся у антропоидов за счет повышения общего уровня психической организации [Северцов 1922]. При эволюции этого способа приспособления у животных не происходит видоизменения тех или иных определенных реакций организма, а увеличиваются потенциальные способности к осуществлению быстрых адаптивных действий. Северцов называет такие способности «потенциальной психикой» (или «запасным умом»), так как в своей «повседневной жизни» в стабильных, стандартных условиях животные не реализуют всех «психических возможностей», на которые они потенциально способны.

Поэтому я никак не могу согласиться с авторами обзора, что «подобные системы сигналов как специализированные знаковые системы, функционирующие в процессе социальной коммуникации, могут быть сопоставлены с человеческой речью на том же основании, на каком элементарное мышление животных сопоставляется с формами и структурами человеческого мышления в книге З.А. Зориной и А.А. Смирновой» [Бурлак, Фридман 2008: 104–105].

Хотелось бы обсудить и еще одно обстоятельство. По представлению С.А. Бурлак и В.С. Фридмана «"языковые проекты" показывают, что человек может навязать животным коммуникативную систему…» [Там же: 101]. Подобный подход встречается и у других авторов.

Здесь мы должны упомянуть еще об одном отклике на нашу книгу и принести благодарность его автору – М.А. Кронгаузу – за содержательный и доброжелательный разбор нашей работы [Кронгауз 2007]. Мы не касались этого отзыва выше, потому что в нем не затронуто ни одно из упоминавшихся возражений авторов обзора. Исключение составляет лишь одно высказывание М.А. Кронгауза. Рассматривая «лингвистические достижения антропоидов», он пишет: «На мой взгляд, это использование по существу "человеческого" языка в общении между обезьянами, это элементы внутренней речи, точнее, разговора с самим собой и, наконец, передача языка (тоже не вполне последовательная) следующему поколению. Например, поразительны свидетельства об обезьянах, рассматривающих иллюстрированные журналы и обсуждавших картинки друг с другом с помощью языка жестов. Не менее выразительны случаи, когда обезьяны в одиночестве рассматривают такие журналы и комментируют их жестами (по-видимому, для самих себя)» [Там же: 361].

При этом М.А. Кронгауз считает, что исследователи «говорящих» обезьян «…не столько исследователи, сколько педагоги, *формирующие подопытных по образу и подобию своему*. <…> По существу изучаются *не реальные способности обезьян* и других животных, используемые ими в жизни, а способность их к обучению, овладению, и это надо особенно подчеркнуть, человеческими способностями – прежде всего, человеческим языком» [Там же: 361; курсив наш. – *З.З.*].

Разумеется, можно употребить и такие выражения как «навязать», «очеловечить», «формировать по образу и подобию своему» и т. п., подразумевая при этом, что контакт с человеком повышает высоту психической организации антропоидов (заметим, что в этом же ключе можно считать, что усваиваемый человеком язык также «навязывается» ему его родителями и окружением). Однако на самом деле факты свидетельствуют о том, что воспитание в контакте с человеком лишь создает условия для выявле-

ния, для реализации тех сторон психики антропоидов, тех граней их когнитивных способностей, которые не востребованы в обычных условиях, но для осуществления которых у них имеется когнитивная и нейрофизиологическая база. В частности, если говорить о возможности освоения простого аналога языка человека, то уместно вспомнить, что еще в 60-е годы XX в. отечественные нейроморфологи обнаружили, что в мозге шимпанзе, как и в мозге человека, существуют все основные речевые центры (см. [Фирсов 1993]). Это подтверждают и данные, полученные с применением современных методов [Deacon 1996].

К числу таких же резервных возможностей мозга относится и обнаруженное у антропоидов (но не у других приматов) стремление и умение рисовать. Их рисунки похожи на рисунки детей до 3 лет, причем эта способность именно проявляется при предоставлении им бумаги и красок, а не формируется экспериментатором направленно [Фирсов, Чиженков 2003; Vancatova 1999].

Проявление указанных способностей как резервных возможностей работы мозга хорошо укладывается в представления А.Н. Северцова [1922] об особенностях эволюции психики высших позвоночных. Не останавливаясь на этом подробно, укажем лишь, что он выделял три основных типа психической деятельности – рефлексы, инстинкты и деятельность «разумного типа», и считал, что на базе усложнения последней у более высокоорганизованных животных возникли действия, которые у человека обозначаются как произвольные и разумные. Северцов подчеркивает, что в отличие от инстинктов и рефлексов в этом случае наследственными признаками здесь являются не сами действия, как таковые, «а только некоторая высота психической организации». «С биологической точки зрения, – пишет Северцов, – этот фактор ("разумное поведение") чрезвычайно важен, поскольку он очень сильно повышает пластичность животных по отношению к быстрым изменениям среды. При эволюции этого способа приспособления у животных не происходит видоизменения тех или иных определенных реакций организма, а увеличиваются потенциальные способности к осуществлению быстрых адаптивных действий» [Северцов 1922: 44]. Северцов называет такие способности «потенциальной психикой» (или «запасным умом»), так как в своей «повседневной жизни» в стабильных, стандартных условиях животные не реализуют всех «психических возможностей», на которые они потенциально способны.

Обзор С.А. Бурлак и В.С. Фридмана глубоко затрагивает многие важные, в том числе и спорные, аспекты проблемы происхождения человеческого языка. Он, несомненно, очень интересен и дает пищу для разнообразных размышлений и рассуждений. Мы же в своей книге придерживались изложения тех сторон проблемы, которые получили освещение и разрешение в кропотливых и тщательных экспериментах американских психологов, показывающих на конкретных фактах, каковы те зачатки человеческого мышления и языка, которыми обладают современные антропоиды и которыми могли располагать на ранних этапах антропогенеза предки человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бурлак, Фридман 2008 – *С.А. Бурлак, В.С. Фридман.* «Говорящие» обезьяны и не только // ВЯ. 2008. № 2.

Выготский 1996 – *Л.С. Выготский.* Мышление и речь. М., 1996.

Зорина и др. 2002 – *З.А. Зорина, И.И. Полетаева, Ж.И. Резникова.* Основы этологии и генетики поведения. М., 2002.

Зорина, Смирнова 2006 – *З.А. Зорина, А.А. Смирнова.* О чем рассказали «говорящие» обезьяны (Способны ли высшие животные оперировать символами?) М., 2006.

Кронгауз 2007 – *М.А. Кронгауз.* Монополия на язык? (Зорина З.А., Смирнова А.А. О чем рассказали «говорящие» обезьяны) // Отечественные записки. 2007. Т. 34. № 1.

Леонтьев 1981 – *А.Н. Леонтьев.* Проблемы развития психики. М., 1981.

Орбели 1949 – *Л.А. Орбели.* Вопросы высшей нервной деятельности. М.; Л., 1949.

Панов 2005 – *Е.Н. Панов*. Знаки, символы, языки. Коммуникация в царстве животных и в мире людей. М., 2005.

Северцов 1922 – *А.Н. Северцов*. Эволюция и психика. М., 1922.

Фирсов 1993 – *Л.А. Фирсов*. По следам Маугли // Язык в океане языков. Новосибирск, 1993.

Фирсов, Чиженков 2003 – *Л.А. Фирсов, А.М. Чиженков*. Очерки физиологической психологии. СПб., 2003.

Deacon 1996 – *T.W. Deacon*. Prefrontal cortex and symbol learning: Why a brain capable of language evolved only once // B.M. Velichkovsky, D.M. Rumbaugh (eds.). Communicating meaning: The evolution and development of language. Mahwah; New York, 1996.

Gardner B., Gardner A. 1985 – *B.T. Gardner, R.A. Gardner*. Signs of intelligence in cross-fostered chimpanzees // Philosophical transactions of the royal society of London. Ser. B. Biological sciences. 1985. V. 308. № 1135.

Koehler 1956 – *O. Koehler*. Thinking without words // Proceedings of the 14th International congress of zoology, 1953. Copenhagen, 1956.

Savage-Rumbaugh, Lewin 2003 – *E.S. Savage-Rumbaugh, R. Lewin*. Kanzi. The ape at the brink of the human mind. NewYork, 2003.

Ujhelyi 1996 – *M. Ujhelyi*. Is there any intermediate stage between animal communication and language? // Journal of theoretical biology. 1996. V. 180.

Vancatova 1999 – *M. Vancatova*. The ape picture making activity // М.Л. Бутовская (ред.). Этология человека на пороге XXI века: новые данные и старые проблемы. М., 1999.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 2008

© 2008 г. А.Е. КИБРИК

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОГНИТИВНОЙ СТРУКТУРЫ*

Предлагается авторское понимание исследования языка под когнитивным углом зрения. Хотя когнитивная структура не дана нам в непосредственном наблюдении, язык, будучи непосредственно связанным с мышлением, предоставляет множество объективных косвенных свидетельств организации когнитивной структуры. Рассматривается возможность лингвистической реконструкции когнитивной структуры, основанной на гипотезе когнитивной мотивированности языковой формы. Технология такой реконструкции демонстрируется на материале конкретных языковых данных из разноструктурных языков. Исследуются два важнейших понятия: (а) когнитивная сопряженность (непосредственная связь между когнитивными единицами, теснейшим образом коррелирующая с самыми различными аспектами языка, характеризующимися повышенной связанностью семантических/концептуальных/когнитивных элементов) и (б) лингвистическое явление маркированности, коррелирующее с когнитивным оператором нормы/отклонения от нормы.

0. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Еще в 1921 году Эдвард Сепир в концентрированной афористической форме сформулировал презумпцию будущей когнитивно ориентированной лингвистики:

С точки зрения языка мышление может быть определено как наивысшее скрытое или потенциальное содержание речи, как такое содержание, которого можно достичь, толкуя каждый элемент речевого потока как в максимальной степени наделенный концептуальной значимостью. ...Язык можно считать лишь внешней гранью мышления на наивысшем, наиболее обобщенном уровне символического выражения... Вопреки распространенному, но наивному взгляду, язык не есть ярлык, заключительно налагаемый на уже готовую мысль... Язык и шаблоны нашей мысли неразрывно между собой переплетены, они в некотором смысле составляют одно и то же[1] [Сепир 1921/1993: 36, 193].

В этом неразрывном единстве, о котором говорит Сепир, язык является не самодовлеющим, а вспомогательным инструментом, обеспечивающим мыслительную деятельность. Языковая и мыслительная деятельность разворачиваются согласованно и параллельно, в результате чего надъязыковая когнитивная стуктура и символизирующие ее элементы линеаризованной озвученной вербальной структуры образуют неразрывное единство. Если это так, то структура языка в значительной степени предопределена когнитивной структурой, хотя не идентична ей. В отличие от конкретных идиоэт-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 05-06-80288.

[1] From the point of view of language, thought may be defined as the highest latent or potential content of speech, the content that is obtained by interpreting each of the elements in the flow of language as possessed of its very fullest conceptual value. ... At best language can but be the outward facet of thought on the highest, most generalized, level of symbolic expression. ...It is not, as is generally but naively assumed, the final label put upon the finished thought. ... Language and our thought-grooves are inextricably interrelated, are, in a sense, one and the same (*E. Sapir*. Language. New York, 1921/1949: 14–15, 217–218).

нических языков когнитивная структура является общечеловеческим достоянием, и естественно предположить, что она практически универсальна.

Хочу подчеркнуть, что я не случайно говорю о когнитивном подходе к языку, не употребляя существующего термина когнитивная лингвистика. С одной стороны, этот термин получил широкое хождение и, став модным, в известной мере был, к сожалению, скомпрометирован из-за вульгарного его применения. Он пока еще очень ассоциирован с конкретными именами лингвистов, называющих свою деятельность этим термином, и зачастую используется совсем не в том понимании, которое я имею в виду. С другой стороны, в западной лингвистике имеется тенденция приватизировать этот термин как брэнд конкретной лингвистической теории. Это, прежде всего, теория Лангакера (см. [Langacker 1987–1991; Ченки 1997]) со своим формализмом для представления когнитивных структур. Такой формализм нагляден своим иконизмом при описании некоторых концептов, связанных с ориентацией и движением в пространстве, однако он совершенно непригоден как общий метод, прежде всего из-за своего априоризма – методологической тенденции, унаследованной от критикуемого Лангакером генеративизма.

В этой связи не следует также упускать из вида концепцию Н. Хомского, которую также иногда связывают с когнитивной лингвистикой. Хомский, не используя данного термина, неустанно говорит о генеративной лингвистике как о единственной теории, ответственной за решение проблемы языка и мышления (начиная с его давней работы [Хомский 1972]; см. также [Хомский 2005; Chomsky 2005]). В действительности же основным когнитивным постулатом для него в течение десятилетий был постулат о врожденной языковой способности, о гене языка, а коль скоро это так, то проблема наследования языком когнитивных механизмов сама собой снималась. Если «дар языка» врожден, то язык по существу с когнитивной способностью не связан, и можно моделировать дар языка безотносительно к когнитивной способности. В настоящее время в теории Хомского произошел существенный перелом, и он добавил к генетическому дару (Genetic endowment), основному фактору, который, наряду с языковым опытом (Experience), ответствен за развитие языковой способности личности, новый (третий) фактор, – принципы, не являющиеся специфическими для языковой способности (Principles not specific to the faculty of language) [Chomsky 2005: 6]. Он не соотносит эксплицитно этот «третий фактор» с когнитивной способностью[2], но ничто не мешает ему в некоторый момент это сделать.

Таким образом, ввиду крайне многообразных трактовок содержания термина «когнитивная лингвистика», я не готов в данной статье говорить от имени этого научного направления в целом и выскажу свое собственное его понимание, которое, как я хотел бы думать, отражает далеко не только мои взгляды, хотя в некоторых аспектах является сугубо авторским.

Теоретически имеется два пути установления отношений между процессами языковой деятельности (и стоящими за ними языковыми структурами) и мыслительными процессами (и стоящими за ними когнитивными структурами):

---

[2] «Returning to the three factors of language design, adoption of a P&P [Principles and Parameters] framework overcomes a difficult conceptual barrier to shifting the burden of explanation from the first factor, the genetic endowment, to the third factor, language-independent principles of data processing, structural architecture, and computational efficiency, thereby providing some answers to the fundamental questions of biology of language, its nature and use, and perhaps even its evolution» (Если вернуться к трем факторам устройства языка, принятие теории принципов и параметров преодолевает трудное концептуальное препятствие, перенося бремя объяснения с первого фактора генетического дара на третий фактор независимых от языка принципов обработки данных, структурной архитектуры и вычислительной эффективности, тем самым предоставляя некоторые ответы на фундаментальные вопросы о биологии языка, о его природе и использовании, и даже, быть может, о его эволюции.) [Chomsky 2005: 9].

• от мышления к языку или
• от языка к мышлению.

К сожалению, на практике первый путь пока еще недостаточно перспективен ввиду недостаточности наших знаний о механизмах и единицах мышления (что не исключает в дальнейшем появления возможностей продуктивного использования этого пути). Наоборот, в настоящий момент второй путь может не только объяснить, почему языки устроены так, как они устроены (а это является главной целью лингвистической теории), но и способствовать реконструкции существенных характеристик собственно когнитивной структуры.

В основе современного когнитивного подхода к языку лежит идея целенаправленной реконструкции когнитивных структур по данным внешней языковой формы. Реконструкция опирается на постулат об исходной когнитивной мотивированности языковой формы:

• в той мере, в какой языковая форма мотивирована, она «отражает» стоящую за ней когнитивную структуру.

Этот постулат является базовым, он противопоставлен постулату де Соссюра о произвольности языкового знака[3]. Идея Соссюра глубоко укоренилась в сознании лингвистов XX века и лишила их важнейшего из познавательных ресурсов, буквально повсюду рассыпанных в языковых данных.

Постулат о мотивированности не утверждает, что «отражение» является элементарным одно-однозначным отношением. Когнитивную природу языка наивно искать в свидетельствах прямолинейных совпадений когнитивного и языкового членений. Если бы это было так, все языки были бы структурно идентичными. В действительности же мы наблюдаем бесконечное разнообразие наблюдаемых языковых структур. Однако это разнообразие не хаотично. Напротив, за ним скрывается достаточно жесткая семиотическая логика, ограничивающая варьирование наблюдаемой языковой формы и устанавливающая истинные связи между языковыми формами и когнитивными структурами. Обнаружение и описание этой логики является целью лингвистической реконструкции.

Исходным материалом для реконструкции могут быть системные отношения между языковыми формами одного языка (метод внутриязыковой реконструкции) или системные отношения между сопоставимыми языковыми формами многих языков (метод межъязыковой реконструкции).

Ниже я попытаюсь проиллюстрировать на конкретных языковых примерах технологию лингвистической реконструкции когнитивной структуры. При этом я ограничусь рассмотрением двух довольно абстрактных понятий – когнитивной сопряженности и маркированности, применимых в самых различных компонентах языковой структуры и обладающих большой объяснительной силой и когнитивной значимостью.

---

[3] Вообще говоря, для Соссюра произвольность знака сводилась к произвольности фонетических оболочек непроизводных слов (то есть корней), хотя производные слова уже имеют очевидную семантическую и, следовательно, когнитивную мотивацию (обнаружением ее занята традиционная этимология), не говоря о широчайшем диапазоне всевозможных конструкций, современных аналогов традиционного знака (грамматика конструкций по Филлмору [Fillmore, Kay 1993; Croft 2001]), среди которых непроизводные слова представляют лишь один вырожденный тип конструкции. Однако постулат Соссюра получил расширенное толкование, позволяющее игнорировать внешнюю форму содержательно близких конструкций (ср. русские *вытянуть руку*, но *шевелить, махать рукой*: различное падежное управление считается произвольным свойством соответствующих глаголов). Однако за этим различием могут быть обнаружены достаточно глубокие мотивации, если следовать постулату о мотивированности.

1. КОГНИТИВНАЯ СОПРЯЖЕННОСТЬ

При всей размытости и нечеткости современных представлений о когнитивной структуре, можно сформулировать несколько очевидных аксиом, таких как:

- когнитивная структура, в отличие от языковых структур, не является линейной и не ограничена одно- или двухмерным пространством;
- единицы когнитивной структуры связаны между собой, и эти связи могут быть более или менее тесными, то есть можно говорить о когнитивном расстоянии между когнитивными единицами.

Если принять последнюю аксиому, то существенно выделять в особый класс ближайшие, непосредственные связи, поскольку опосредованные связи естественно мыслить как цепочки непосредственных когнитивных связей на множестве когнитивных единиц, входящих в когнитивную структуру. Будем называть непосредственную связь между когнитивными единицами когнитивной сопряженностью.

Лингвистическим основанием для введения такого понятия служит то обстоятельство, что при рассмотрении самых различных аспектов языка возникает необходимость введения когнитивного понятия, указывающего на повышенную связанность семантических/концептуальных/когнитивных элементов. А это, в свою очередь, значит, что по организации языковой формы можно реконструировать организацию когнитивной структуры.

Рассмотрим некоторые грамматические области, предоставляющие свидетельства существования и природы когнитивной сопряженности.

1.1. Ограничения на организацию линейной структуры предложения

Согласно первой аксиоме, фундаментальное различие между когнитивной и языковой структурами состоит в многомерности первой и одномерности (линейности) второй. В этой связи встает вопрос о том, автономно ли расположение элементов в линейной цепи языковой структуры от топологических свойств стоящей за ней когнитивной структуры и если нет, то в какой степени линейная структура произвольна.

Известно, что есть языки с жестким порядком слов, но также немало языков с так называемым свободным порядком слов. Репрезентативным примером языков первого типа является английский, а второго – русский. В русском языке, отвлекаясь от контекста, допустимы многочисленные перестановки слов (знаком $^{+}$ помечены грамматически правильные предложения, знаком * – недопустимые предложения):

(1а) $^{+}$*Все смешалось в доме Облонских.*
(1б) $^{+}$*В доме Облонских все смешалось.*
(1в) $^{+}$*Все в доме Облонских смешалось.*
(1г) $^{+}$*Смешалось все в доме Облонских.*

и т. п.

Однако не любые перестановки все-таки возможны:

(2а) **Все в доме смешалось Облонских.*
(2б) **Смешалось в доме все Облонских.*
(2в) **Облонских все смешалось в доме.*

В 60-е годы в лингвистический обиход было введено понятие проективности, накладывающее формальное ограничение на линейную структуру предложения. Оно было сформулировано в терминах поверхностного дерева зависимостей: возможны только такие ориентированные (отображающие линейный порядок слов) деревья зависимо-

стей, в которых дуги-стрелки не пересекают друг друга и перпендикуляры, опущенные из узлов дерева на слова, которые они символизируют. Например, проективно и грамматично предложение на схеме 1.

Схема 1

Проективное и грамматическое предложение

К грамматически неправильному предложению приводит перестановка слов с нарушением закона проективности, см. схему 2.

Схема 2

Непроективное и неграмматическое предложение

Это правило объясняет невозможность многих альтернативных словопорядков для предложения той же синтаксической структуры. Однако это правило отказывает в грамматичности некоторым вполне допустимым словопорядкам, см. схему 3.

Схема 3

Непроективное, но грамматическое предложение

Структура на схеме 3 непроективна ввиду того, что придаточное определительное зависит от соотносительного местоимения *такое*. Ввиду этого доминирующее существительное *предложение* разрывает структуру *такое, которое удовлетворяет условию проективности*. Если считать, что придаточное непосредственно зависит от существительного *предложение*, структура становится проективной. Однако, несмотря на то, что

синтаксическое дерево на схеме 3 непроективно, интерпретируемое им предложение является грамматически правильно. Чтобы устранить этот конфликт, можно изменить дерево зависимостей и переподчинить придаточное предложение имени *предложение*. Однако данный конфликт не всегда можно таким образом устранить, см. схему 4.

Схема 4

Непроективное, но грамматическое предложение

В этом случае переподчинение придаточного предложения вершине главного невозможно. Значит ли это, что понятие проективности не соответствует данным? Скорее, формализм, избранный для формулирования данного понятия, не вполне адекватен. Здесь не место углубляться в интерпретацию и усовершенствование синтаксических формализмов, но можно перевести ограничение на линейный порядок слов на более глубокий когнитивный уровень:

- Рядоположенное в мысли по умолчанию является рядоположенным в линейной структуре предложения.

Из этого следует, что линейный порядок единиц синтаксической структуры не является произвольным, а в значительной степени предопределяется когнитивной сопряженностью элементов когнитивной структуры. Отклонения от этой тенденции только подчеркивают ее существование и заслуживают углубленного анализа и объяснения.

1.2. Составная именная группа (генитивная/посессивная конструкция)

В структуре всякого языка имеется по крайней мере одна конструкция, объединяющая (как минимум) два предметных концепта. Синтаксически эта конструкция реализуется как составная именная группа, содержащая в своей структуре, кроме вершинной именной группы, одну или несколько зависимых именных групп, например: *[[рука] [матери]], [[ручка] [двери]], [[серп] [жницы]]; [[тихий лепет] [[серебристой листвы] [тополей]]]*.

Разные языки могут выражать связь между главной и вставленной именной группой по-разному: маркированием в зависимой составляющей, ср. родительный падеж в русском языке; в главной составляющей, ср. так называемый изафет в иранских языках (*себ-и духтар* 'яблоко девушки' с показателем изафета *-и* при главном имени *себ* 'яблоко'); в обеих составляющих, ср. так называемое сопряженное состояние в арабском языке (главное имя имеет безартиклевую форму, а зависимое оформляется родительным падежом); служебным словом, ср. английский предлог *of* в *the hand of the mother*, или простым соположением именных групп.

Существенно с семантической и когнитивной точки зрения, что между концептами, выражаемыми именными группами, всегда существует некоторое смысловое отношение. Так, между именами в *рука матери* имеется семантическое отношение 'часть тела–обладатель', в сочетании *ручка двери* – 'часть–целое', в сочетании *серп жницы* 'обладаемое – обладатель', в сочетании *сестра Татьяны* – отношение родства и т.п.

Что объединяет все эти отношения? В них иногда усматривают различные реализации посессивного значения: зависимый концепт является обладателем (посессором), а главный – обладаемым. Поэтому часто такие конструкции называют посессивными.

Однако если включить в рассмотрение все случаи реализации такой конструкции, например, в русском языке, то окажется, что частных значений довольно много (более двадцати), и далеко не во всех можно признать наличие значения посессивности, например:

капля крови – отношение экземпляра ('явление/сущность/вещество – экземпляр ~');
литр вина – отношение количества ('вещество – количество вещества');
спутник Земли – отношение смежности ('сущность – смежная сущность');
дым папиросы – отношение продукта ('сущность/деятель – продукт ~');
карта России – символическое отношение ('сущность – символ сущности');
круг зрителей – отношение формы ('сущность – форма сущности');
крушение парохода – субъектное отношение ('субъект события – событие');
ремонт пути – объектное отношение ('объект события – событие');
вуаль печали – метафорическое отношение ('сущность – метафора сущности').

Все попытки сформулировать единый инвариант, входящий в толкования всех этих значений, оказываются безуспешными. Из этого не следует, что посессивная конструкция не имеет мотивации. Объединяет все реализации этой конструкции не некое абстрактное семантическое отношение, генерализующее смысл конкретных отношений, а базовое когнитивное отношение когнитивной сопряженности концептов, характеризующихся минимальным когнитивным расстоянием между ними.

Кстати, если вернуться к предыдущему разделу об ограничениях на линейную структуру, именно посессивные конструкции наиболее непроницаемы для слов, внешних по отношению к данной составной именной группе.

Имеется немало языков, которые в наблюдаемой синтаксической структуре допускают только контактное расположение когнитивно сопряженных именных групп, образующих составную именную группу. Такую конструкцию называют конструкцией с внутренним посессором. Однако также немало языков, имеющих альтернативные конструкции, в которых когнитивно сопряженные именные группы не образуют единой составной именной группы. Такие конструкции называют конструкциями с внешним посессором.

Конструкция с внутренним посессором	Конструкция с внешним посессором
(3а) *Я сунул все деньги* [***в*** **<u>его</u>** ***карман***].	(3б) *Я сунул все деньги* [**<u>ему</u>**] [***в карман***]. (ЭП)
(4а) [**<u>Их</u>** ***мать***] *давно умерла.*	(4б) [***Мать***] [**<u>у них</u>**] *давно умерла.* (ЭП)
(5а) *С нас лились* [***ручьи*** ***<u>горячего пота</u>***].	(5б) [**<u>Горячий пот</u>**] *лился с нас* [***ручьями***]. (ЭО)
(6а) *Вдруг Клара схватила* [**<u>мою</u>** ***руку***].	(6б) *Вдруг Клара схватила* [**<u>меня</u>**] [***за руку***]. (ЭО)

В примерах (3б–4б) обладаемое находится в той же позиции, что и в (3а–4а), а посессор находится не внутри составной именной группы, как в (3а–4а), а в автономной синтаксической позиции и оформлен дательным падежом (см. 3б) или предложной группой с предлогом *у* (см. 4б). В таких случаях будем говорить об экстрапозиции посессора (ЭП) из составной ИГ.

В примерах (5б–6б) вне составной ИГ, в отличие от (5а–6а), находится обладаемое и оформляется творительным падежом (см. 5б) или предложной группой с предлогом *за* (6б). Что касается посессора, то он находится в той позиции, которую в (5а–6а) занимает обладаемое. Такую конструкцию будем называть конструкцией с экстрапозицией обладаемого (ЭО).

Существенно, что семантическая связь между концептами в этих синонимических парах сохраняется. Таким образом, конструкции с внешним посессором являются альтернативным способом кодирования когнитивной сопряженности.

Следует иметь в виду, что далеко не во всех случаях возможно выражение когнитивной сопряженности концептов обоими способами. Во многих случаях допустима только конструкция с внутренним посессором:

(7) [***Чувство*** **слабости**] сказывалось во всем.

А иногда только конструкция с внешним посессором:

(8) Бабка ловко стегнула [**Симу Симакова**] [***по рукам***] крапивой.

Выбор типа конструкции в русском языке предопределяется множеством факторов, которые описываются в работах [Кибрик 2000; 2003; Кибрик и др. 2006].

1.3. Предикатно-аргументная структура

Базовым свойством предикатных слов является их способность предопределять наличие в предикации одной или нескольких именных групп (актантов), обозначающих участников описываемой предикатом ситуации. Например, глагол *бежать* требует указания на того, кто бежит, а глагол *убивать* – на того, кто убивает и кого убивают. В отечественной литературе эту способность объясняют наличием у предикатного слова семантических валентностей [Апресян 1976], в зарубежной лингвистике принят термин семантическая (или тематическая) роль. Состав семантических валентностей с указанием на их ролевые характеристики и морфосинтаксические средства их оформления называют моделью управления, в теории глубинных падежей Филлмора [Fillmore 1968] аналогичный конструкт называется падежной рамкой. Часто также говорят о предикатно-актантной структуре.

По проблеме семантических ролей существует огромная литература, но в контексте интересующей нас проблемы совершенно очевидно, что предикатные валентности есть не что иное, как отношение когнитивной сопряженности. Предикат обозначает некоторую типовую ситуацию, в которой задействованы участники со своими типовыми ролями. Ситуация и ее участники онтологически (по природе вещей) когнитивно сопряжены. Наряду с онтологической возможна также ситуативная когнитивная сопряженность, и в этом случае говорят о сирконстантах предиката. Введение ситуативных участников в структуру высказывания не предопределяется исходным смыслом предиката.

Итак, когнитивная сопряженность является базовым когнитивным отношением между любыми концептами, как предметными, так и событийными. Когнитивная сопряженность между концептом события и концептами его участников реализуется в предикации в форме предикатно-аргументной структуры. Но это не исключает наличия в ряде случаев когнитивной сопряженности не только между предикатом и его аргументами, но и между аргументами предиката. Типичным случаем является, например, наличие при глаголах типа *давать/отнимать* актанта-адресата/источника, онтологически когнитивно сопряженного с актантом-пациенсом по собственно посессивному отношению, например:

(9а) *Я знаю, кто дал* ***моему братишке землянику*** <проспективная посессивность>.
(9б) *Я знаю, кто отнял* ***у моего братишки землянику*** <ретроспективная посессивность>[4].

Следует упомянуть также когнитивную сопряженность актанта с ролью Инструмента/Средства и актанта с ролью Агенса, например:

---

[4] Косвенным подтверждением такого анализа является существование языков типа фула, см. [Коваль, Нялибули 1997: 77, 203, 233], в которых при глаголах *давать* [*что, кому*] и *отнимать* [*что, у кого*] актант-адресат и актант-источник выражаются одинаково: это означает, что соответствующее средство кодирует не адресата и источник, а собственно отношение когнитивной сопряженности этих актантов с пациенсом.

(10а) *Тупо топая болотными* ***сапогами****, из-за забора вырвался* ***капитан-фотограф*** (Коваль Ю. Самая легкая лодка в мире)[5].
(10б) ***Девочка*** *со всей силы ударила козу* ***кулаком*** (Гайдар А. Тимур и его команда).

Концепты *капитан-фотограф* и *сапоги* (в первом предложении) и *девочка* и *кулак* (во втором) когнитивно сопряжены: сапоги однозначно мыслятся как надетые на ноги капитана-фотографа, а кулак как часть тела девочки.

Можно полагать, что наличие в языке независимых средств разрывного выражения когнитивно сопряженных предметных концептов системно поддерживает формирование конструкций с внешним посессором, параллельных конструкциям с внутренним посессором. И наоборот, наличие когнитивной сопряженности между предикатом и его ядерными актантами мотивирует оформление субъекта и объекта родительным падежом при номинализации предиката, например: *пение птиц* (родительный субъекта), *убийство Кеннеди* (родительный объекта).

1.4. Парадигматические лексические ассоциации

Давно известно, что многие лексические единицы находятся в системных парадигматических отношениях друг с другом, например:

- семантическое поле;
- родовидовые отношения;
- отношение 'тип – экземпляр';
- синонимия – антонимия;
- метафора – метонимия – синекдоха;
- ассоциативные словарные связи;
- семантическая структура многозначного слова

и др.

Эти и подобные им словарные связи естественно интерпретировать как проявление когнитивной сопряженности в области лексики. Существенно, что эти словарные связи относятся к лексическим универсалиям, общим для всех естественных языков.

1.5. Кластеры грамматических категорий

Типологические исследования последних десятилетий убедительно показали, что грамматические категории являются не автономными независимыми сущностями в структуре языка, а вступают друг с другом в тесные системные отношения. Следы этих отношений можно в изобилии наблюдать в синхронии и диахронии естественных языков. Никоим образом не претендуя на полноту, укажу лишь на некоторые типичные языковые «подсказки» такого рода.

Часто наблюдается, что в разных языках некоторое грамматическое значение морфологически амальгамируется с другими грамматическими значениями. Например, показатель эргатива может совпадать с показателем инструмента и/или комитатива.

Некоторые грамматические категории имеют тенденцию к морфологическому слиянию, например, вид, время и наклонение.

Значения некоторых грамматических категорий имеют тенденцию к особой сочетаемости со значениями других грамматических категорий. Таков кластер грамматических категорий:

лицо, императив, оптатив;
комитатив и конъюнкция;
вид и акциональность;
семантическая роль, лицо, референтность.

---

[5] В некоторые авторские примеры были внесены несущественные для исследуемого явления (но облегчающие восприятие) изменения, например, замена местоимения на полную номинацию или опущение деепричастного оборота.

Лицо, референтность и одушевленность в некоторых языках образуют иерархии, коррелирующие с семантической ролью соответствующих участников ситуации, см. ниже.

В языках с родовой классификацией имен наблюдается нетривиальное сочетание со значением числа: категории рода и числа функционируют в языке не независимо, а образуют особые кластеры[6].

Проводящиеся в последнее время исследования путей грамматикализации также демонстрируют наличие когнитивной сопряженности мотивирующего лексического и производного грамматического значений, см. [Майсак 2005].

Представляется, что рассмотрение упомянутых в этом разделе языковых явлений в перспективе генерализующего понятия когнитивной сопряженности позволит в будущем выйти на принципиально новый уровень обобщения всех этих как бы независимых языковых явлений.

2. МАРКИРОВАННОСТЬ (КОГНИТИВНЫЙ ОПЕРАТОР НОРМЫ)

Обычно полагают, что это понятие пришло в лингвистику из фонологии. Действительно, оно играет большую роль в теории фонологических оппозиций Н. Трубецкого [Трубецкой 1939/1960], в которых маркированный член противопоставляется немаркированному, например:

Маркир.:	*Немаркир.*:
b, d, g	p, t, k
p', t', k'	p, t, k
ɓ, ɗ	b, d
ā, ī, ū	a, i, u
ã, ĩ, ũ	a, i, u

В терминах значений параметров (различительных признаков) в так называемых привативных оппозициях маркированный член звонкости[7] противопоставляется немаркированному члену незвонкости, абруптивность, имплозивность согласных, долгота, назализованность гласных являются маркированными членами по отношению к соответствующему нейтральному немаркированному члену.

В действительности автором идеи маркированности (признаковости vs. беспризнаковости в русском первоисточнике) является Р. Якобсон, еще в 20-е годы использовавший его в связи с исследованиями стиха и культуры [Jakobson 1990: 135], а в 1930 году обсуждавший его в переписке с Н. Трубецким [Jakobson 1985: 162–163], опять же придавая ему широкое толкование[8]. В 1932 году он пользуется им при описании

---

[6] В известной степени это проявляется и в русском языке, где некоторые исследователи усматривают в числе не столько словоизменительные, сколько словообразовательные свойства.

[7] В действительности ситуация в языках мира сложнее, направление маркированности может различаться в различных языках или по рядам согласных в пределах одного языка (С.В. Кодзасов, личное сообщение), что находит свое объяснение в принципе обратимой маркированности, о котором см. ниже.

[8] Отвечая на замечание Н.С. Трубецкого в письме от 31.8.1930 г. о том, что «по-видимому всякая (а м.б. и не всякая?) фонологическая корреляция приобретает в языковом сознании форму противупоставления наличия какого-нибудь признака его отсутствию (или максимума какого-нибудь признака его минимуму)», Якобсон пишет: «Думаю, что она [высказанная Трубецким мысль] будет иметь значение не только для лингвистики, но для этнологии и истории культуры, и что такие историко-культурные корреляции, как *жизнь – смерть, свобода – несвобода, грех – добродетель, праздники – будни* и т.п., всегда сводятся к отношениям *а* – не-*а*, и что важно установить для каждой эпохи, группы, народа и т.д. – что является рядом признаковым. Например, для Маяковского жизнь была признаковым рядом, реализуемым только при мотивировке, для него не смерть, а жизнь требовала мотивировки». В конце этой цитаты Якобсон явно формулирует будущее понятие обратимой маркированности, о которой см. ниже.

грамматических категорий русского глагола [Jakobson 1932/1971], выделяя, среди прочих, следующие оппозиции:

Маркир.:	*Немаркир.*:
соверш. вид	несоверш. вид[9]
пассив	актив
личные формы (1/2лицо)	неличные формы (3 лицо)
1 лицо	2 лицо
мн.ч.	ед.ч.

2.1. Маркированность в грамматике

В дальнейшем понятие маркированности приобрело особую значимость в типологическом описании асимметрии грамматических параметров в работах Дж. Гринберга, см. [Greenberg 1966; Croft 2003: 87–100, 156–157]. Стало очевидно, что понятие маркированности применимо не только к двоичным параметрам, но и к многочленным (о такой возможности Н. Трубецкой говорит в вышеприведенной цитате), и бинарное противопоставление «маркированность vs. немаркированность» является лишь частным случаем более общего противопоставления «(наи)более маркированный vs. (наи)более немаркированный», и с точки зрения маркированности значения параметра образуют иерархию возрастания (убывания) маркированности.

Важным достижением в теории маркированности было обнаружение объективных критериев установления иерархии маркированности. Гринбергом были предложены формальные тесты различения маркированных и немаркированных значений языковых параметров, такие, как:

- структурный (количество фонетического материала, мера алломорфизма, словоизменительный потенциал, дистрибутивный потенциал);
- статистический (текстовая частота);
- импликативный (см. ниже).

Типологическая значимость теории маркированности состояла в том, что при огромном разнообразии языковых параметров и состава их значений иерархическая организация (степень относительной маркированности) значений большинства, хотя и не любых параметров следует некоторой универсальной логике, не зависящей от конкретного языка. Так, если в некотором языке имеются грамматические средства различения единственного и множественного числа, значение множественного числа в нем является маркированным, а значение единственного – немаркированным. Если грамматическая категория числа имеет значения единственного, двойственного и множественного числа, то с точки зрения маркированности они образуют такую иерархию:

ед. < мн. < дв.

Эта иерархия соответствует следующей импликативной универсалии: если в языке представлено более маркированное значение, то в нем имеются и все менее маркированные значения. Таким образом, возможны языки:

а) не имеющие категории числа,
б) имеющие грамматически выраженное ед. и мн. число,
в) имеющие грамматически выраженное ед., мн. и дв. число,

---

[9] Универсальность данной интерпретации была впоследствии оспорена, см., в частности [Comrie 1976: 21, 111–122], хотя она реализована в русских толковых словарях и в русских входах словарных статей глаголов в двуязычных словарях.

а языки, имеющие грамматически выраженное ед. и дв. число или мн. и дв. число, невозможны[10].

Иерархия маркированности для категории времени имеет вид:

наст. < прош. < буд.

Согласно этой иерархии, возможны языки:

а) не имеющие категории времени,
б) имеющие грамматически выраженное наст. и прош. время,
в) имеющие грамматически выраженное наст., прош. и буд. время,

а языки, имеющие грамматически выраженное наст. и буд. время или прош. и буд. время, невозможны.

Позитивные утверждения (а–в) эмпирически многократно подтверждаются данными многих языков, а эмпирических данных, противоречащих отрицательным утверждениям, не зафиксировано.

Следует подчеркнуть, что такого рода обобщения формулируются не априорно, исходя из логического анализа категориальных значений, а базируются на наблюдаемых грамматических явлениях, представленных в естественных языках.

Какова же природа этой логики? Когнитивный подход к языку постулирует ее надъязыковую, когнитивную природу, не зависящую от структур конкретных языков. С точки зрения этого подхода языковая маркированность есть производное от когнитивной маркированности, а именно:

- немаркированное языковое значение соответствует когнитивно нормальному (естественному, ожидаемому) положению вещей,
- маркированное языковое значение соответствует когнитивно отклоняющемуся от нормального (неестественному, неожидаемому) положению вещей.

Нормальное, естественное, ожидаемое положение вещей входит в когнитивный гештальт человеческого опыта и концептуализируется с минимальной затратой ментальных вычислительных усилий (активируется по умолчанию), а отклонения от гештальта для их активации требуют дополнительных вычислительных ресурсов.

Естественно полагать, что когнитивный оператор нормы не является неким логическим абсолютом, отражающим природу вещей *per se*. Когнитивная норма принципиально антропоцентрична, она ориентирована на человека, на присущий человеку как биологическому виду способ организации и обработки информации. Этот способ является единым для всего человечества, и он во многом ограничивает разнообразие естественных языков. И в этом смысле можно говорить о лингвистических универсалиях. Эти универсалии не есть нечто иррациональное, берущееся неизвестно откуда. Они мотивированы единством человеческой когнитивной способности. Что касается языковой маркированности, то она всевозможными допустимыми лингвоспецифическими способами отображает в языковых структурах когнитивный оператор нормы/отклонения от нормы.

Что касается категории числа, то в когнитивной перспективе наиболее естественно, ожидаемо мыслить о единичных сущностях, и активация таких сущностей осуществляется по умолчанию[11]. Если сущностей более чем одна, имеет место отклонение от нормы, такое значение маркировано по сравнению с единичностью. Если одинаковых сущностей именно две, в когнитивной перспективе это еще большее отклонение от нормы.

---

[10] Более подробное и всестороннее описание типологии числа см. в [Corbett 2000].

[11] Это касается конкретно референтных сущностей. Для нереферентных сущностей дефолтным является родовой денотативный статус, см. ниже.

В отношении времени дефолтное (немаркированное) время – это время речевого акта, являющееся в когнитивной перспективе исходной точкой отсчета. Грамматическое значение настоящего времени идентифицирует время реального события, находящегося в актуальном поле наблюдения, с временем речевого акта. По отношению к нему реальные события, предшествовавшие речевому акту, находятся в ретроспективном поле наблюдения, и их временная локализация является когнитивно маркированной. Что касается будущих событий, то они не являются реально наблюдаемыми. Они локализованы в мире предполагаемых, не существующих в реальном мире событий. Активация таких событий требует больших вычислительных усилий, чем реальных событий в настоящем и прошлом.

Подчеркнем еще раз, что такую интерпретацию когнитивной онтологии числа и времени, порождаемой принципом когнитивной нормы (маркированности), подсказывают языковые данные, а не спекулятивный логический анализ.

2.2. Обратимая маркированность

Рассмотрим сперва понятие обратимой маркированности на знакомом читателю языковом материале.

В русском языке существительные имеют грамматическую категорию числа, различающую единичные сущности (ед. число) и множественные сущности (мн. число): *На столе стоит* ***чашка*** vs. *На столе стоят* ***чашки***. Важным формальным свойством данной грамматической категории является ее обязательность в русском языке[12]: каждое существительное должно быть категоризовано по категории числа. Форма ед. числа используется как для обозначения одной сущности, так и при номинации класса сущностей данного вида вообще (одной чашки и чашек вообще): ***Чашка****, в отличие от стакана, обычно имеет ручку, К сосудам для питья относятся* ***чашка****, кружка, стакан, пиала*, поэтому не случайно форма ед. числа используется (в согласии с языковой интуицией носителя русского языка) в качестве словарной формы данного существительного. В русском языке, в соответствии с типологической универсалией, ед. число является немаркированным значением категории числа. В соответствии с теорией маркированности в случае нейтрализации оппозиции используется немаркированная форма, то есть ед. число.

Согласно такому стандартному дефолтному сценарию ведет себя подавляющее число существительных, лексикализующих предметные счетные концепты. Однако в русском языке имеется также группа непроизводных существительных, означающих массу, совокупность однородных сущностей. Эти существительные ведут себя особым образом по отношению к рассматриваемой грамматической категории: они, как правило, имеют дефектную числовую парадигму и образуют производные существительные с регулярным семантическим сдвигом:

ИСХОДНОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ		ПРОИЗВОДНОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ	
ед. ч.	мн. ч.	ед. ч.	мн. ч.
солома	*?*	*соломинка*	*соломинки*
пух	*?*	*пушинка*	*пушинки*
горох	*?*	*горошина*	*горошины*
картофель	*?*	*картофелина*	*картофелины*
трава	*(травы?)*	*травинка*	*травинки*
песок	*(пески?)*	*песчинка*	*песчинки*
тля, сено	*?*	*?*	*?*

[12] Данное уточнение не случайно. Вполне могут быть языки, в которых наряду с числовыми формами существуют нечисловые формы (general number в [Corbett 2000]). В таком языке некоторые (так называемые неисчисляемые) существительные имеют только нечисловую форму (она будет наименее маркированной), а другие – числовые формы и, как правило, нечисловую форму. Подробнее о такого рода языках см. [Corbett 2000: 9–19].

Большинство исходных существительных в нашем списке имеют только форму ед. числа и относятся к классу singularia tantum[13]. Производные существительные означают отдельные экземпляры совокупности и имеют полную числовую парадигму. Кажущаяся парадоксальность такой ситуации состоит в том, что множественность сущностей лексикализуется как существительное singulare tantum, а для обозначения собственно единичности используются специальные словообразовательные средства (деривационные суффиксы *-ин, -ин-к*), так называемый сингулятив.

С когнитивной точки зрения никакого парадокса нет. Наиболее естественная антропоцентрическая концептуализация объектов–совокупностей такая же, как массообразных, жидких, сыпучих, газообразных, твердых веществ (типа *грязь, молоко, мука, дым, медь*), поскольку обычно такие концепты функционально значимы для человека как целостные совокупности, а не как множества однородных сущностей. Поэтому языковое оформление этих концептов соответствует стандартному дефолтному сценарию выбора формы ед. числа, хотя в значение совокупности инкорпорирована в качестве фона идея множественности элементов[14].

Однако иногда существует потребность активировать отдельный элемент совокупности, а не совокупность в целом, и тогда фон становится фигурой. Вербализовать этот концепт можно с помощью различных стратегий.

(а) Так, можно игнорировать когнитивную сопряженность совокупности и элемента, используя для элемента особую непроизводную лексему, например *полено* vs. *дрова*.

(б) Можно использовать одну и ту же форму для совокупности и элемента совокупности, ср. английское *news* 'новости[15], новость', русское *моль*, например: *У нас завелась моль* (совокупность) vs. *Смотри, вон моль полетела* (экземпляр совокупности).

(в) Наконец, в русском языке представлена и деривационная стратегия: маркировать единичность элемента совокупности посредством сингулятивного показателя, добавляемого к имени совокупности. В таком случае можно говорить об обратимой маркированности: если в норме единичность является немаркированной, то в данном случае она маркированная.

Получив единичную интерпретацию, производный концепт циклично включается в категорию числа и допускает как немаркированную (ед. число), так и маркированную (мн. число) форму.

Для такой деривации необходимо, чтобы исходное существительное было несчетным и обозначало совокупность однотипных сущностей[16]. Сингулятив означает смещение

---

[13] Исключением в нашем списке являются слова, допускающие форму мн. числа – *травы* и *пески*, но форма мн. числа здесь означает нетривиальную множественность означенных совокупностей: в случае *травы* это, видимо, разновидности трав, а в случае *пески* – песок в различных местах. У прочих существительных, видимо, такой переинтерпретации нет. Аналогичные явления наблюдаются во многих языках, см. [Кибрик 1992].

[14] Это не значит, что выбор формы мн. числа невозможен, ср. *хлопья, дрова*. В таком случае идея множественности элементов совокупности маркирована и представлена более эксплицитно. По поводу когнитивно мотивированного выбора ед./мн. числа при концептуализации таких совокупностей см. проникновенный анализ А. Вежбицкой [Wierzbicka 1988].

[15] Как видно из перевода, в русском языке совокупность элементов может иногда выражаться формой мн. числа: форма *новости* имеет значение как множественности новостей, так и целостной совокупности новостей.

[16] Вместе с тем в русском языке имеется, по крайней мере, еще один источник использования сингулятива: счетные существительные pluralia tantum, например, *бусы* (> *бусин(к)а), штаны* (> *штанина*), имеющие как единичную, так и множественную интерпретацию. Однако опять же не всякое слово plurale tantum допускает сингулятив, ср., например, *колготки, сани, ножницы, очки*.

фокуса внимания с совокупности на составляющие ее элементы[17]. Неудивительно при этом, что значения форм *горох* и *горошины* не идентичны.

Русский сингулятив является специфическим языковым явлением. Такая деривация отсутствует во многих языках, хотя явление это не уникальное. В совершенно другом морфологическом обличье оно присутствует, например, в языке фула, западноатлантическая семья (Африка), см. [Коваль 1979: 76–77], в котором такая деривация оформляется сменой именного класса исходного существительного. Примечательна и близость круга концептов, гармонирующих с данной деривацией.

2.3. «Аномальная» языковая форма в свете обратимой маркированности

В различных языках и различных фрагментах грамматики встречаются явления, кажущиеся, с позиций обычной грамматической логики, загадочными и необъяснимыми. Их объединяет «аномальность» языковой формы, не поддающаяся традиционной логической интерпретации, см. схему 5.

Схема 5

Аномальные корреляции формы и значения

Случай (б) давно известен как синонимия языковой формы. Этот случай в своей абсолютной формулировке аномален функциональной избыточностью. Если иметь в виду синонимию в строгом смысле, то она означает полную вариативность формы (абсолютную взаимозаменимость синонимичных форм в любом высказывании). Однако полная вариативность, при ближайшем рассмотрении, никогда не подтверждается. Всегда обнаруживаются контексты, когда смысл *X* выразить при помощи формы *A* можно, а при помощи *B* нельзя.

Особенно парадоксален случай (а), так как противоположные (антонимичные) значения некоторого параметра *X* и не-*X* выражаются одной формой *A*: что же на самом деле означает *A*?

Рассмотрим несколько примеров таких «аномалий» из различных языков.

2.3.1. Редупликация в цахурском языке

В цахурском языке (нахско-дагестанская семья) для выражения видового противопоставления совершенного и несовершенного вида используется непродуктивный способ редупликации корня (табл. 1), см. подробнее в [Кибрик (ред.) 1999: 74–75]. Например:

---

[17] Примечательно, что не от всякого собирательного существительного образуется производный сингулятив. Таким в нашем примере является слово *тля*, хотя необходимые условия для образования сингулятива соблюдены. Отсутствие сингулятива от данного слова, видимо, связано с недостаточной когнитивной релевантностью концепта единичного насекомого данного вида. Вместе с тем отсутствие данного лексикализованного концепта является лигвоспецифическим свойством русского языка.

Таблица 1

Редуплицированные формы глагола в цахурском языке

	Совершенный вид		VS.	*Несовершенный вид*
(11)	*uχ-u*	'родил'	*uχ-oχ-a*	'рожает'
	ɨkk-ɨ	'унес'	*ɨkk-eek-a*	'уносит'
(12)	*ɨkk-iik-ɨn*	'захотел'	*ɨkk-an*	'хочет'
	ɨk'-iik'-ɨr	'заболел (живот)'	*ɨk'-ar*	'болит (живот)'

В примерах (11–12) видовое противопоставление выражено дважды: продуктивными вокалическими суффиксами (*-u*/*-ɨ* в совершенном виде и *-a* в несовершенном виде) и непродуктивным показателем редупликации корня (с морфонологическими чередованиями), непосредственно следующим за корнем. Аномальным является то, что при одних глаголах ('рожать', 'уносить') редупликация находится в форме несовершенного вида, а при других ('хотеть', 'болеть') – в форме совершенного вида. Какое же значение кодирует показатель редупликации? Для чего он нужен, если видовое значение однозначно выражено?

Когнитивный принцип обратимой маркированности объясняет его функцию, см. табл. 2. Обратим внимание на то, что глаголы из примера (11) обозначают предельные процессы, а глаголы из примера (12) – состояния. Для предельных процессов когнитивной нормой является достижение предела (сов. вид), а отклонением от нормы – длящийся процесс (несов. вид), а для состояний, наоборот, когнитивной нормой является сохранение состояния (несов. вид), а отклонением от нее – вхождение в состояние (сов. вид). Итак, редупликация означает не вид глагола, а обратимую маркированность вида относительно акциональной семантики глагола: для предельных процессов маркированным является несов. вид, а для состояний – сов. вид.

Таблица 2

Обратимая маркированность вида в цахурском языке

Акциональный класс глагола	*Вид глагола*	
	Сов. вид	*Несов. вид*
Предельный процесс	НОРМАЛЬНО	+редупликация
Состояние	+редупликация	НОРМАЛЬНО

Такая редупликация зафиксирована у небольшого количества глаголов, но от этого она не является менее значимой. Наоборот, нерегулярные кодирующие средства, сохраняющие, вопреки ожиданиям, живучесть в языке, свидетельствуют о их существенности для языковой структуры и того когнитивного механизма, который за ними стоит.

2.3.2. Топонимы в дагестанских языках

Дагестанские языки отличаются обилием падежей, в частности системой пространственных форм. Исходной, наименее маркированной формой имени является номинатив, совпадающий с чистой основой. Прочие (маркированные) падежи обычно образуются от косвенной основы, содержащей специальный суффикс, или от чистой основы, совпадающей с формой номинатива. К косвенной основе добавляются собственно падежные показатели.

В качестве примера рассмотрим данные багвалинского языка:

Падеж	*Форма*	*Перевод*
номинатив	*misa*	'дом'
генитив	*mis-u-ɬ*	'дома'
ад-эссив	*mis-u-χ*	'у дома'
интер-эссив	*mis-u-ɬi*	'в доме'
конт-эссив	*mis-u-č'*	'в контакте с домом'

На этом фоне, как правило, совершенно иначе устроены исконные имена населенных пунктов (селений и хуторов). Для них словарной формой является пространственная форма, в которой присутствует один из типичных для данного языка простанственных показателей:

Топоним	*Русский перевод*
boha-χ	Ботлих
hiha-ɬi	Гигатли
hindu-č'	Тлондода

В подавляющем большинстве контекстов топонимы встречаются в локативной позиции дополнения места. Если же возникает необходимость поместить их в позицию номинатива, используется та же пространственная форма или словосочетание с вершинным родовым именем, например [Даниэль 2001: 150]:

(13) *di-č'* *k'$_o$an-ɬ* *han* *raq'$_o$a-ɬi* *ek'$_o$a.*
я.OBL-CONTESS Кванада-GEN селение.NOM сердце-INTERESS есть
Я помню Кванаду [букв. 'У меня Кванады селение на сердце есть'].

Когнитивное объяснение этой морфологической аномалии такое. Для существительных нормой является форма номинатива, а отклонением от нормы – формы косвенных падежей. Для топонимов, наоборот, нормой является пространственная форма, а отклонением от нормы – употребление топонима не в местном значении. В этом случае использование чистой основы топонима (без показателя пространственного значения) блокировано, поскольку эта форма закреплена для немаркированных ситуаций. Поэтому предпочтительным является выбор описательной номинации или использование той же исходной пространственной формы.

2.3.3. Субъект и объект в бенгальском языке

В ряде индийских языков, например, в бенгальском, см. [Onishi 2001: 114–116][18], для выражения значений субъекта и объекта при переходном глаголе могут использоваться три падежные формы: номинатив, объективилокатив. Например (для ясности приводятся только схемы конструкций и репрезентативные русские предложения):

(14) *Мальчик* (S) *бросил палку* (O). $S_{NOM} + O_{NOM}$
(15) *Отец* (S) *побил сына* (O). $S_{NOM} + O_{OBJ}$
(16) *Машина* (S) *раздавила палку* (O). $S_{LOC} + O_{NOM}$
(17) *Машина* (S) *задавила мальчика* (O). $S_{LOC} + O_{OBJ}$

[18] Интерпретация данных моя. Применительно к бенгальскому, как и к русскому, языку в данном случае можно использовать синтаксические термины «субъект» и «объект», хотя в общем случае это неправомерно. За синтаксическими понятиями «субъект» и «объект» стоят более универсальные ролевые характеристики актантов – агентивный и пациентивный участник соответственно, см. [Кибрик 2003: 109 и сл.].

В (14) номинатив характеризует как субъект, так и объект, в (15) – только субъект, а в (16) – только объект. В то же время в (16–17) для обозначения субъекта используется локатив, а в (15, 17) для обозначения объекта – объектив. В такой кодировке присутствуют обе семиотические «аномалии»:

(а) использование номинатива для кодирования как S, так и O,
(б) кодирование S то номинативом, то локативом,
кодирование O то номинативом, то объективом.

Какие принципы лежат в основе этой аномальной кодировки?

Естественно предположить, что гипотеза о непосредственной кодировке субъекта и объекта падежами неверна, хотя такая кодировка некоторым образом связана с этими значениями.

В действительности выбором падежного значения управляет уже известный нам принцип обратимой маркированности. Этот принцип противопоставляет немаркированное и маркированное кодирование.

А. Дефолтное (немаркированное) кодирование:

Номинатив обозначает не тип синтаксического отношения, а когнитивно немаркированное сочетание типа синтаксического отношения с онтологическими и референциальными свойствами участника. Это сочетание является обратимым:

- для **субъекта** это определенный личный (человек) или определенный одушевленный (животное) участник, а
- для **объекта** – неодушевленный или неопределенный одушевленный участник.

Б. Специальное (маркированное) кодирование:

- **локатив** кодирует маркированный (неодушевленный) субъект,
- **объектив** кодирует маркированный (личный определенный) объект.

Принцип обратимого маркирования проиллюстрирован на минимальном числе простейших примеров (14–17). Языковая реальность несколько богаче и интереснее. Как видно из формулировок, выбор падежа контролируется не только онтологическими свойствами участников – лицо (человек)/одушевленный (животное)/неодушевленный, но и референциальными характеристиками – определенный/неопределенный[19]. Комбинации онтологических и референциальных характеристик образуют упорядоченную цепочку, называемую ниже референциальной иерархией:

Опр., лицо | Опр., одуш. | Неопр., лицо | Неопр., одуш. | Неодуш.

Эта иерархия по-разному ориентирована с точки зрения маркированности по отношению к субъекту и объекту.

<u>Референциальная иерархия для субъекта</u>

Опр., лицо < Опр., одуш. < Неопр., лицо < Неопр., одуш. < Неодуш.

Наименее маркирован первый член иерархии, наиболее маркирован последний (направление маркированности: <).

По отношению к объекту иерархия является обратимой:

---

[19] То есть известный или неизвестный участникам речевого акта.

Референциальная иерархия для объекта

Опр., лицо > Опр., одуш. > Неопр., лицо > Неопр., одуш. > Неодуш.

В этом случае наименее маркирован последний член иерархии, наиболее маркирован первый (направление маркированности: >).

В целом полный набор возможностей выбора падежных форм именных актантов представлен на схеме 6:

Схема 6

Зависимость падежных форм субъекта и объекта от референциальной иерархии в бенгальском языке

Иерархия	опр., лицо		опр., одуш		неопр., лицо		неопр., одуш.		неодуш.
Падеж S		NOM		<		NOM/LOC		<	LOC
Падеж O	OBJ	>		NOM/OBJ		>		NOM	

Как видно из схемы 6, наиболее/наименее маркированы крайние позиции иерархии. В этих позициях выбор падежа для субъекта и объекта однозначен. В средних позициях наблюдается варьирование форм. Выбор падежа в этих случаях зависит от прагматических (в том числе коммуникативных) факторов, которые недостаточно изучены. Важно, что при немаркированных значениях прагматических факторов выбирается форма номинатива, в противном случае – объектива (если это объект) или локатива (если это субъект).

Из этой схемы также видно, почему референциальная иерархия имеет тот вид, который был ранее декларирован. Количество членов иерархии и их порядок вытекают из языковых данных, представленных на схеме: членение иерархии подтверждается наличием тех границ, которые задаются правилами выбора падежа субъекта и объекта. Так, наличие границы между первым и вторым, а также между третьим и четвертым членами иерархии подтверждается правилами кодирования объекта: первый член предписывает однозначный выбор падежа (OBJ) в отличие от второго и третьего членов, допускающих варьирование падежной формы (NOM/OBJ), которым противопоставлена четвертая (и пятая) позиция, однозначно связанная с номинативным кодированием объекта (NOM). Граница между вторым и третьим членами, а также между четвертым и пятым членами диктуется альтернативным (NOM/LOC) и однозначным (NOM) или (LOC) выбором формы субъекта.

Может показаться, что предложенное мной объяснение надуманное, а проверить его, не обладая знанием бенгальского языка, невозможно. Однако аналогичная когнитивная схема реализуется во всевозможных вариациях в большом числе языков, и каждая из вариаций в отдельности может казаться случайной. Но в совокупности все эти вариации, добавляя некоторые нетривиальные подробности, сходятся в одну и ту же схему.

В качестве иллюстрации можно указать на широкое распространение такой схемы в уральских и тюркских языках. В них зачастую форма объекта варьирует между немаркированной формой номинатива и маркированной формой – аналогом аккузатива. Контролируют выбор обычно референциальная иерархия и прагматические факторы[20].

---

[20] Можно в этой связи вспомнить некоторые факты и из русского языка, а именно явление неразличения формы именительного и винительного падежа существительных мужского рода во 2-м склонении (*вижу студента* vs. *вижу дом*), зависящего от грамматической (не)одушевленности. Этот факт затемняется тем обстоятельством, что неразличение именительного – винительного падежа может быть связано также с формальными факторами (средний род существительного, тип склонения).

Более того, в тюркских языках аналогичные факторы контролируют способ оформления посессивной конструкции, состоящей из вершинного и зависимого имени (типа *книга мальчика, крыша дома, племянник кузнеца*). Так, согласно [Гращенков 2007], в мишарском диалекте татарского языка реализуется несколько схем оформления такой конструкции, различающихся наличием/отсутствием показателя посессивной связи на вершинном имени (так называемый изафет) и падежной формой зависимого имени (генитив/номинатив). Выбор падежа является многофакторным, как в бенгальском языке, и зависит от иерахии одушевленности, референциальной иерархии и прагматических и дискурсивных факторов. Примечательно, что номинативное оформление предпочтительно для нереферентных неодушевленных зависимых имен, а генитивное – для определенных имен, означающих человека, особенно для локуторов.

В редуцированном виде та же стратегия реализуется в испанском языке в отношении маркирования объекта, см. [Givón 1984: 372]:

(18а)	*ví*	*el*	*árbol*	*en*	*la*	*calle.*
	видел.я	арт	дерево	на	арт	улица
	Я видел дерево на улице.					
(18б)	***le ví***	***a***	*Juán*	*en*	*la*	*calle.*
	ему-видел.я	**дат**	Хуан	на	арт	улица
	Я видел Хуана на улице.					

Глагол имеет форму 1-го лица субъекта в обоих предложениях (*ví*), при этом, в отличие от русского языка, субъектная именная группа, заполненная свободным локуторным местоимением, в норме отсутствует. Что касается объекта, то его оформление зависит от свойств имени. Имя, обозначающее неодушевленный предмет (дерево), см. (18а), имеет минимально маркированное оформление, а имя, обозначающее человека (Хуан) в (18б), имеет при себе предлог *a* с дативным значением. Кроме того, к глаголу присоединяется местоименная проклитика *le*-'ему', кореферентная объекту. Такая кодировка вполне согласуется с референциальной иерархией и принципом обратимой маркированности. Субъект, соответствующий высшему рангу иерархии, и объект, имеющий низший ранг иерархии, имеют наименее маркированное кодирование, а объект, соответствующий высшему рангу иерархии, является наиболее маркированным.

Следует отметить, что все приведенные примеры, как и следующий ниже пример из даргинского языка, не связаны с наследованием более древних языковых состояний, что видно при сравнении с другими родственными языками. Это значит, что появление таких техник в языке мотивировано живыми когнитивными схемами, которые могут быть скрытыми или, при благоприятных условиях, получать явную языковую реализацию.

Посмотрим на пару других примеров действия принципа обратимой маркированности, связанных с моно- и полиперсонным глагольным согласованием.

2.3.4. Даргинский язык

В чирагском диалекте даргинского языка (нахско-дагестанская семья), в отличие от большинства родственных языков, глагол согласуется по лицу с одним из ядерных актантов глагола, а именно:

- 1 лицо *-da*
- 2 лицо *-de*
- 3 лицо нет согласования

Контролировать согласование может а г е н т и в н ы й или п а ц и е н т и в н ы й актант (актант, имеющий агенсоподобную или пациенсоподобную роль[21]), сокращенно агентив и пациентив, обозначающий участника речевого акта. Будем называть участни-

[21] Здесь не используются термины субъект и объект, так как существование таких сущностей в даргинском языке проблематично, см. [Кибрик 2003: 137–138, 156–157].

ков речевого акта л о к у т о р а м и, а прочих – н е л о к у т о р а м и. Нас будет интересовать согласование в переходном глаголе, имеющем актанты с обеими ролями[22], см. табл. 3.

Таблица 3

Согласование даргинского переходного глагола по лицу

	Агентив	*Пациентив*	*Контролер согласования*
Дейктический тип актанта (локутор ‖ нелокутор)	**локутор**	нелокутор	**агентив** (*-da/de*)
	нелокутор	**локутор**	**пациентив** (*-da/de*)
	нелокутор	нелокутор	–
	локутор	**локутор**	**агентив** (*-da/de*)

Выбор контролера согласования зависит от роли актанта и его дейктического статуса. В табл. 3 в схематической форме сформулированы согласовательные правила. Если локутором является агентив (напр. *я – его*[23]), глагол согласуется с ним по лицу, если локутором является пациентив (напр. *он – меня*), тогда он контролирует личное согласование глагола. Если ни агентив, ни пациентив не являются локуторами (напр. *он – его*), глагол не имеет личного согласования. Если же оба актанта являются локуторами (напр. *я/ты – тебя/меня*), глагол согласуется с агентивом.

Эти правила являются лингвоспецифичными, они характеризуют даргинский язык и только его. Ничего подобного в русском или латинском языке, в которых глагол также имеет личное согласование, нет[24]. Однако имеются ли какие-то общие принципы, стоящие за этими правилами?

Я полагаю, что такие принципы есть, и они находятся в когнитивной сфере. Когнитивное объяснение следующее. В даргинском языке грамматикализованы две связанные иерархии.

Дейктическая иерархия	Ролевая иерархия
ЛОКУТОРЫ > НЕЛОКУТОРЫ	АГЕНТИВ > ПАЦИЕНТИВ

Согласование глагола определяется в терминах маркированных членов этих иерархий, которые также упорядочены иерархически:

ДЕЙКТИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ > РОЛЕВАЯ ИЕРАРХИЯ

Приоритетом при согласовании в глаголе пользуется маркированный член:

- кодируется лицо маркированного члена дейктической иерархии;
- если дейктическая иерархия создает конфликт, кодируется лицо маркированного члена ролевой иерархии.

2.3.5. Обобщение согласования в бенгальском и даргинском языках

Встает естественный вопрос: могут ли быть обобщены данные даргинского и бенгальского языков? На первый взгляд, налицо одни различия.

- В бенгальском языке участвуют синтаксические отношения и референциальные характеристики именных групп, а в даргинском – дейктическая и ролевая иерархии,
- в бенгальском языке глагол согласуется одновременно с обоими ядерными актантами, а в даргинском – только с одним.

---

[22] При непереходном глаголе согласование по лицу контролируется единственным ядерным актантом.

[23] Здесь и ниже тире заменяет произвольный переходный глагол.

[24] В русском и латинском языке личное глагольное согласование всегда контролирует субъект.

Однако рассмотрим дейктическую и референциальную иерархию несколько внимательнее. Референциальная иерархия совмещает две частные иерархии: иерархию определенности и онтологическую иерархию.

Онтологическая иерархия	Иерархия определенности
ЧЕЛОВЕК (=ЛИЦО) > ОДУШ. > НЕОДУШ.	ОПРЕДЕЛЕННЫЙ > НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ

Легко видеть, что в онтологической иерархии локуторы составляют подмножество класса ЧЕЛОВЕК (= ЛИЦО). Иными словами, в даргинском языке представлена в крайне редуцированном виде так называемая иерархия одушевленности[25], частью которой является также онтологическая иерархия:

Иерархия одушевленности

1 ЛИЦО > 2 ЛИЦО > ЧЕЛОВЕК > ОДУШ. > НЕОДУШ.

Чему соответствует ролевая иерархия даргинского языка в бенгальском языке? Бенгальский язык использует признаки синтаксических отношений, которые в языках мира входят в реляционную иерархию.

Реляционная иерархия

СУБЪЕКТ > ОБЪЕКТ > КОСВЕННЫЙ ОБЪЕКТ > ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

В бенгальском языке первые два члена иерархии (субъект и объект) противопоставлены как ядерные актанты всем остальным. При этом надо иметь в виду, что между субъектом и объектом переходного глагола имеется устойчивое соответствие с ролями агентива и пациентива, которые являются более универсальными сущностями.

Таким образом, при всем своеобразии согласования в бенгальском и даргинском языках, они по существу являются различными вариантами одних и тех же принципов и, более того, когнитивных концептов. Существенно, что хотя состав членов иерархий в различных языках может быть различным, они упорядочиваются в иерархии не произвольно, а одним и тем же образом.

2.3.6. Алюторский язык

Дейктическая иерархия обнаруживается во многих языках самых различных ареалов, что исключает возможность ее единого происхождения. Эта иерархия, также как и рассмотренные выше, может иметь в различных языках разное число членов.

Варианты дейктической иерархии

1/2 > 3	сванский, картвельская семья даргинский, дагестанская семья
1 > 2 > 3	йимас, Папуа Новая Гвинея
2 > 1 > 3	кри, алгонкинская семья
1/2 > 3[26] > не-местоимение	юкагирский язык, изолят, Сибирь
1 > 2 > 3ед > 3неед	чамлинг, синотибетская семья
1ед > 1неед > 2ед > 2неед > 3ед > 3неед	алюторский, чукотско-камчатская семья

Даргинский и сванский языки противопоставляют 1–2 лицо всем прочим актантам. При этом, если даргинский язык является моноперсонным, то сванский имеет полиперсонное согласование[27]. В языке йимас противопоставлены 1-е и 2-е лицо, причем 1-е лицо выше по рангу, чем 2-е, как в стандартной иерархии одушевленности.

---

[25] Она была впервые обнаружена в [Silverstein 1976].

[26] Эта позиция в юкагирском соответствует личному местоимению 3-го лица.

[27] Описание сванского согласования см. в [Кибрик А.А. 1996, Кибрик 2003: 276–279].

Напротив, язык кри реализует очень редкий вариант дейктической иерархии: 2-е лицо в ней занимает высший ранг. Тем не менее такой язык также не одинок. Он засвидетельствован примерно в паре дюжин языков, в основном в Южной и Северной Америке, см. [Филимонова 1997; 1999]. Очевидно, что когнитивной нормой для антропоцентрической концептуализации является эгоцентричность с наибольшей выделенностью говорящего субъекта, а выдвижение на такую позицию адресата, скорее всего, связано с влиянием этнокультурных особенностей миросозерцания.

В юкагирском языке 1-е и 2-е лицо не противопоставлены, но особую позицию занимает местоименная (анафорическая) номинация. Ее сближает с локуторами шифтерный, по терминологии Р. Якобсона, характер номинации: все местоимения не имеют постоянного денотативного содержания и приобретают его в речевом акте, в отличие от прочих имен.

В языке чамлинг в иерархии четыре члена, из которых первые два нам уже знакомы по языку йимас, а нелокуторы, в отличие от локуторов, различают число, причем единственное число предшествует множественному.

Алюторский язык является примером с максимальным числом членов в иерархии[28]. Поэтому рассмотрим его немного более подробно.

Интересно, что в алюторском языке оппозиция локуторов и нелокуторов проходит между единственным и неединственным[29] числом 2-го лица:

<u>Дейктическая иерархия в алюторском языке</u>

Локуторы / Нелокуторы

1ЕД > 1НЕЕД > 2ЕД > 2НЕЕД > 3ЕД > 3НЕЕД

Это имеет семантическую мотивацию: 2ед означает локутора ('ты'), а 2неед – локутора и нелокуторов (*turi* 'ты + он' или *turu* 'ты + они'), что ослабляет, в перспективе алюторского языка, локуторный статус 2неед. Что касается 1неед, оно допускает инклюзивную (*muri* 'я + ты' или *muru* 'я + ты + они') и эксклюзивную (*muri* 'я + он' или *muru* 'я + они') интерпретацию. При инклюзивном значении в ситации задействованы говорящий и адресат, при эксклюзивной – говорящий и нелокутор(ы). В обоих случаях исключение говорящего из локуторов когнитивно более неприемлемо, так как говорящий является прототипическим локутором.

В алюторском языке имеется полиперсонное согласование по лицу: при переходном глаголе согласование контролируют Агентив и Пациентив.

- **Принцип СИЛЬНОЙ НОРМЫ:** Нормально, если агентив – локутор, а пациентив – нелокутор.
- **Принцип СЛАБОЙ НОРМЫ:** Нормально, если дейктическое значение агентива выше дейктического значения пациентива.

Принцип сильной нормы соответствует, за вычетом очевидных различий, принципу, известному нам для бенгальского языка: для агентива нормально сочетаться с верхними значениями сопряженной иерархии (дейктической или референциальной), а для пациентива – с нижними. В соответствии с этим принципом нормальны такие сочетания дейктических характеристик агентива и пациентива:

'я/мы – вас/его/их', 'ты – его/их'.

---

[28] Напомню, что процедура выделения членов иерархии является строго формальной. Она опирается на наличие/отсутствие правил, чувствительных к соответствующим членам иерархии.

[29] В алюторском языке различается единственное, двойственное и множественное число, но в дейктической иерархии релевантно различие только между ед. и неед. числом.

Принцип слабой нормы включает все случаи сильной нормы как частные случаи, а также такие:

'я – тебя', 'вы – его/их', 'он – их'.

Все эти примеры объединяет то свойство, что на дейктической иерархии агентив всегда выше пациентива. Иными словами, сильная и слабая норма означают немаркированную ситуацию, при которой более маркированный член ролевой иерархии (агентив) сочетается с более маркированными членами дейктической иерархии, и наоборот, менее маркированный член ролевой иерархии (пациентив) сочетается с менее маркированными членами дейктической иерархии.

В алюторском языке лично-числовая парадигма имеет 63 формы, из которых только 21 форма оформляется немаркированно[30]. За пределами указанных принципов остаются 42 маркированные формы. Поскольку дейктическая иерархия многочленна, в ней специально выделяются особыми показателями такие случаи.

- Один из крайних членов дейктической иерархии имеет маркированное ролевое значение. Это '1ед + пациентив' ('он/вы/ты – **меня**'[31]) и '3неед + агентив' ('**они** – меня/нас/тебя/вас/его/их'). В первом случае используется особый показатель *ина-* в специальной префиксальной позиции[32]. Во втором случае все комбинации значений кодируются единым префиксальным показателем *на-*.
- Некрайний дейктический ранг агентива ниже некрайнего дейктического ранга пациентива[33] ('ты/вы – нас', 'он – нас/тебя/вас') также оформляется показателем *на-*.
- Оба актанта являются нелокуторами и агенс дейктически выше пациенса (то есть 'вы – его/их' 'он – их'). В этих двух ситуациях используются связанные (неразложимые) суффиксальные показатели.

На наблюдаемом уровне парадигма переходного алюторского глагола выглядит фантастически непредсказуемой[34], если не различать регулярные немаркированные и нерегулярные маркированные показатели. Понять ее истинное устройство можно лишь обратившись к мотивирующим ее принципам, и тогда парадигма не только принимает стройный и закономерный вид, но и обнаруживает когнитивное родство с парадигмами в других генетически и ареально не связанных языках[35].

Сферой действия дейктической иерархии могут быть и более специфические языковые контексты. Например, в языке навахо, атабаскская семья (см. [Kibrik A. forthcoming]), характеризующемся полисинтетизмом, в глаголе имеются фиксированные префиксальные позиции для кодирования ролевых (падежных) свойств актантов. При этом показатель агентива–локутора занимает 2-ю позицию, а агентива–нелокутора – 5-ю позицию (они нумеруются влево от корня). Кроме того, в отличие от локуторов, нелокуторный актант обычно кодируется нулевым показателем, как в агентивной, так и в пациентивной позиции. Исключение составляет ситуация, когда оба ядерных актанта являются нелокуторами. В этом случае один из актантов имеет ненулевое кодирование (обычно в 6-й позиции пациентива, хотя имеются и особо маркированные ситуации, свя-

---

[30] В этом случае стандартный показатель дейктического значения агентива занимает фиксированную префиксальную позицию, а пациентива – суффиксальную согласно схеме: А-корень-Р (прочие префиксальные и суффиксальные позиции для простоты опущены).

[31] В конфликтной ситуации, когда оба актанта занимают крайние маркированные позиции в дейктической иерархии ('они – меня'), приоритет имеет агентив 'они', а не пациентив 'меня', вспомним аналогичную конфликтную ситуацию в даргинском языке.

[32] Вспомним, что немаркированная позиция для показателя пациентива суффиксальная.

[33] То есть агентив 'они' и пациентив 'меня' не входят в этот случай.

[34] Она здесь не приводится для простоты восприятия. См. [Кибрик 2003: 292] и более подробно в [Кибрик, Кодзасов, Муравьева 2000].

[35] См. сравнительный анализ языков, реализующих в языковой структуре дейктическую иерахию, в [Кибрик 2003: 270–304].

занные с нелокуторным агентивом, в этом случае эксплицитный показатель находится в 5-й позиции).

В нахско-дагестанских языках, реализующих эргативную конструкцию, агентив кодируется эргативом, а пациентив – номинативом (как и единственный ядерный актант непереходного глагола). Однако локуторные местоимения имеют тенденцию оформлять агентив формой, совпадающей с номинативной формой пациентива. Такой синкретизм ролей сохраняет, по-видимому, древнее праязыковое состояние, см. [Кибрик 2003: 211–213, 260–261].

Большой типологический материал по языковому разнообразию местоименных систем и дейктических иерархий, а также по их взаимодействию с другими языковыми параметрами содержится в энциклопедической монографии [Siewerska 2004], обобщающей данные семисот языков, из которых 400 образуют репрезентативную выборку.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной статьи было сформулировать презумции когнитивно-ориентированной лингвистики и продемонстрировать объяснительную силу такого подхода.

Когнитивно-ориентированная лингвистика исходит из презумпции, что языковая структура в принципе не произвольна, напротив, она существенно мотивирована устройством когнитивной структуры, которая, так сказать, «отражается» в зеркале естественных языков. В принципе, когнитивно-ориентированная лингвистика продолжает традиции функциональной и, шире, семантически ориентированной лингвистической теории. Ее эмпирический метод – последовательно следовать за всеми нюансами языковой формы и искать их конечное объяснение не столько в классификационных дистрибутивных ограничениях, сколько в устройстве когнитивной структуры. При такой постановке вопроса сохраняется весь пафос семантически ориентированной лингвистики, но смещается фокус интересов и глубина поиска. И тогда многое, что на семантическом уровне кажется в языковой форме случайным и произвольным, становится мотивированным и имеющим глубокий смысл.

С целью большей наглядности и обозримости были рассмотрены только два когнитивных механизма – когнитивная сопряженность и оператор нормы. Действие этих механизмов проявляется на всех уровнях языковой структуры, регулируя стратегии концептуализации и языкового кодирования элементов когнитивной структуры. Наличие такой связи между когнитивными и языковыми механизмами доказывается многократными однотипными ее проявлениями в языках разной генетической и ареальной принадлежности.

На когнитивном уровне сопряженность элементов когнитивной структуры и нормальное, естественное, ожидаемое положение вещей входят в когнитивный гештальт человеческого опыта и концептуализируются с минимальной затратой ментальных вычислительных усилий (активируются по умолчанию), а отклонения от гештальта для их активации требуют дополнительных вычислительных ресурсов.

Если признать существование данной когнитивно-языковой корреляции, то это позволяет снять многие внутренние антиномии, возникающие в традиционном семантическом анализе. Семантический анализ, стремящийся описывать языковые выражения исключительно внутриязыковыми средствами, оказывается несоразмерно богатым и бесконечно самоусложняющимся, приписывая языковым выражениям то, чего в них в действительности нет. Наоборот, когнитивная сопряженность сущностей и оператор нормы создают языковые структуры чрезвычайно экономным и удобным для когнитивной обработки образом, перенося основное бремя интерпретации на уровень надъязыковой когнитивной структуры.

Подводя итог сказанному, можно надеяться, что когнитивно-ориентированный подход к языку ценен по крайней мере в двух аспектах:

- с одной стороны, реконструируется некоторый фрагмент надъязыковой когнитивной структуры по конфигурации языковых способов ее кодирования, альтернативность которых в значительной степени предопределена этой когнитивной структурой,

- с другой стороны, достигается цель объяснительной лингвистической теории, поднимающейся с уровня регистрации фактов на уровень предсказания фактов.

Завершая статью, хочу вернуться к вопросу о неготовности многих лингвистов-теоретиков к восприятию изложенной парадигмы. На самом деле почти все, что делали и делают уважаемые мной коллеги, не приемлющие термина «когнитивная лингвистика», не так далеко от целей будущей когнитивной лингвистики[36], которая их отпугивает. Как и они, когнитивная лингвистика стремится познать, почему язык таков, каков он есть. Я вообще полагаю, что всякая хорошая лингвистика по и м п л и ц и т н ы м целям является когнитивной. Правда, разница между эксплицитными и имплицитными целями существует: вероятность найти то, что специально ищешь, значительно выше. Тогда вооружаешься специальными средствами. Одним из наиболее важных средств является повышенное внимание к внешним характеристикам языковой формы и постоянное отслеживание кажущихся «случайностей» языковой формы. За ними может стоять нечто важное, имеющее весьма серьезные последствия.

Итак, несколько упрощая суть дела, когнитивный подход к языку – это объяснительная теория, опирающаяся на гипотезу о глубинной связи языка и мышления и реконструирующая когнитивную структуру по данным естественного языка.

Мне кажется, что отрицать такого рода связь между языком и когнитивной структурой так же бесперспективно, как и отрицать представление, что Земля вращается вокруг Солнца, настаивая на том, что Солнце вращается вокруг Земли. Можно, конечно, считать эту истину вообще не имеющей к нам отношения, но только до тех пор, пока нас не затрагивают все следствия, вытекающие из нее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян 1976 – *Ю.Д. Апресян*. Лексическая семантика. М., 1976.

Гращенков 2007 – *П.В. Гращенков*. Изафетная конструкция: многофакторный анализ // Е.А. Лютикова, К.И. Казенин, В.Д. Соловьев, С.Г. Татевосов (ред.). Мишарский диалект татарского языка. Казань, 2007.

Даниэль 2001 – *М.А. Даниэль*. Имя существительное // А.Е. Кибрик (ред.). Багвалинский язык. Грамматика. Тексты. Словари. М., 2001.

Кибрик А.А. 1996 – *А.А. Кибрик*. Язык не так нелеп, как кажется (лично-числовое глагольное согласование в сванском языке) // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сб. к 60-летию А.А. Зализняка. М., 1996.

Кибрик, Кобозева, Секерина 1997 – *А.А. Кибрик, И.М. Кобозева, И.А. Секерина* (ред.). Фундаментальные направления современной американской лингвистики. М., 1997.

Кибрик 1992 – *А.Е. Кибрик*. Числовые формы несчетных существительных в дагестанских языках // А.Е. Кибрик. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.

Кибрик 1999 – *А.Е. Кибрик* (ред.) Элементы грамматики цахурского языка в типологическом освещении. М., 1999.

Кибрик 2000 – *А.Е. Кибрик*. Внешний посессор как результат расщепления валентностей // Слово в тексте и словаре. К 70-летию Ю.Д. Апресяна. М., 2000.

Кибрик 2003 – *А.Е. Кибрик*. Константы и переменные языка. СПб., 2003.

Кибрик и др. 2006 – *А.Е. Кибрик, М.М. Брыкина, А.П. Леонтьев, А.Н. Хитров*. Русские посессивные конструкции в свете корпусно-статистического исследования // ВЯ. 2006. № 1.

Кибрик, Кодзасов, Муравьева 2000 – *А.Е. Кибрик, С.В. Кодзасов, И.А. Муравьева*. Язык и фольклор алюторцев. М., 2000.

Коваль 1979 – *А.И. Коваль*. О значении морфологического показателя класса в фула // Н.В. Охотина (ред). Морфонология и морфология классов слов в языках Африки. Имя. Местоимение. М., 1979.

---

[36] Я надеюсь, что наступит время, когда у лингвистов сформируется консенсус в отношении такой науки.

Коваль, Нялибули 1997 – *А.И. Коваль, Б.А. Нялибули.* Глагол фула в типологическом освещении. М., 1997.
Майсак 2005 – *Т.А. Майсак.* Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции. М., 2005.
Сепир 1921/1993 – *Э. Сепир.* Язык. Введение в изучение речи // Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1921/1993.
Трубецкой 1939/1960 – *Н. Трубецкой.* Основы фонологии. М., 1939/1960.
Филимонова 1997 – *Е.Ю. Филимонова.* К вопросу об иерархической упорядоченности лиц. Выделенность второго лица // ВЯ. 1997. № 4.
Филимонова 1999 – *Е.Ю. Филимонова.* Универсальные аномалии личных местоимений: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1999.
Хомский 1972 – *Н. Хомский.* Язык и мышление. М., 1972.
Хомский 2005 – *Н. Хомский.* О природе и языке. М., 2005.
Ченки 1997 – *А. Ченки.* Семантика в когнитивной лингвистике // А.А. Кибрик, И.М. Кобозева, И.А. Секерина (ред.). Фундаментальные направления современной американской лингвистики. М., 1997.
Comrie 1976 – *B. Comrie.* Aspect. London, 1976.
Corbett 2000 – *G. Corbett.* Number. Cambridge, 2000.
Croft 2001 – *W. Croft.* Radical construction grammar. Oxford, 2001.
Croft 2003 – *W. Croft.* Typology and universals. 2-d ed. Cambridge, 2003.
Fillmore 1968 – *Ch. Fillmore.* The case for case. New York, 1968.
Fillmore, Kay 1993 – *Ch. Fillmore, P. Kay.* Construction grammar coursebook. Berkeley, 1993.
Jakobson 1985 – *R. Jakobson.* N.S. Trubetzkoy's letters and notes. Berlin; New York; Amsterdam, 1985.
Jakobson 1932/1971 – *R. Jakobson.* Zur Struktur des Russischen Verbums // Selected writings. II Word and language. The Hague; Paris, 1932/1971.
Jakobson 1990 – *R. Jakobson* (with K. Pomorska). The concept of mark // On language. Cambridge (Mass.); London, 1990.
Langacker 1987–1991 – *R. Langacker.* Foundation of cognitive grammar. V. I–II. Stanford, 1987–1991.
Chomsky 2005 – *N. Chomsky.* Three factors in language design // Linguistic inquiry. V. 36. 2005. № 1.
Greenberg 1966 – *J. Greenberg.* Language universals, with special reference to feature hierarchies. The Hague, 1966.
Givón 1984 – *T. Givón.* Syntax. A functional-typological introduction. V. I. Amsterdam, 1984.
Kibrik A. forthcoming – *A.A. Kibrik.* What's in the head of head-marking languages? or Is there case in the head-marking languages? Forthcoming.
Onishi 2001 – *M. Onishi.* Non-canonically marked A/S in Bengali // A. Aikhenvald, R.M.W. Dixon, M. Onishi (eds.). Non-canonical marking of subjects and objects. Amsterdam, 2001.
Sieverska 2004 – *A. Sieverska.* Person. Amsterdam, 2004.
Silverstein 1976 – *M. Silverstein.* Herarchy of features and ergativity // R. Dixon (ed.). Grammatical categories in Australian languages. Canberra, 1976.
Shibatani 2005 – *Shibatani Masayoshi.* Japanese *-te* converbs: clause chaining and grammaticalization. Paper presented on Fourth International school in linguistic typology, Tsaghkadzor, Armenia. Yerevan, 2005.
Wierzbicka 1988 – *A. Wierzbicka.* Oats and weat: mass nouns, iconicity, and human categorization // The semantics of grammar. Amsterdam, 1988.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 2008

© 2008 г. У. ЧЕЙФ

РОЛЬ ИНТРОСПЕКЦИИ, НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТА В ПОНИМАНИИ МЫШЛЕНИЯ

Автор предлагает когнитивный анализ различных способов преобразования мыслей до того, как они выражаются звуками, и выдвигает в связи с этим собственные теории, призванные объяснить эти явления.

Что значит понимать что-либо? А точнее, как можно лучше понять человеческое мышление и язык и существующую между ними связь? Понимание начинается с наблюдения, с восприятия информации из окружающего нас мира при помощи чувств. Однако при этом мы сталкиваемся с серьезными ограничениями: из-за ограниченных сенсорных способностей мы сосредотачиваемся только на отдельных небольших фрагментах того, что находится вокруг. Многое мы можем воспринимать лишь на периферии чувств, если вообще можем. Любая получаемая нами сенсорная информация фильтруется через наши ощущения, результатом чего становится интерпретация, которую мозг приписывает внешнему миру, интерпретация, на которую частично влияют наши наследственные способности, а частично – культура и индивидуальный жизненный опыт, и все это предопределяет то, как мы по-своему, ограниченным образом интерпретируем мир. Все, что мы переживаем, является интерпретацией, базирующейся на небольшом количестве информации, которую мы получаем посредством чувств. Интерпретация не является ни достоверной, ни полной картиной того, что существует вне нас.

В то же время мы осознаем, что существуют более широкие, обобщающие системы, которые превышают пределы того, что мы способны наблюдать. Мы используем силу воображения, чтобы представить, на что эти более широкие системы могут быть похожи. Наши наблюдения часто называют «данными», а более широкие воображаемые представления – «теориями». Данные и теории проверяются или должны постоянно проверяться на соответствие друг другу в двустороннем процессе подтверждения достоверности.

Жизнь человека во многом определяется «наивными» представлениями: фольклором, легендами, религиями и т.д., в которых большое значение придается некоторой воображаемой более масштабной картине – по сути теории, часто очень сложной и запутанной. В разных культурах наивные представления тоже могут сильно различаться – этого и следует ожидать, если наибольшее значение придается тому, что является плодом воображения. Наивные теории часто считаются неоспоримо верными, но при этом люди меньше заботятся о подтверждении их достоверности, сборе наблюдений и проверке теории относительно этих наблюдений с целью выяснить, соответствуют ли они тому, что представлялось, или же нет. Основной интерес вызывает теория, а не наблюдения, которые могут согласовываться или не согласовываться с ней.

«Наивные» представления противопоставлены тому, что мы считаем научными представлениями, в которых особенно большое значение придается данным и проверке достоверности. Наука на самом деле обращает меньше внимания на связность, элегантность или полноту теории. Если посмотреть на различные отдельные науки, в особенности науки о человеке, мы обнаружим, что между ними мало общего, не считая того, о чем я только что сказал. Все они опираются на тот или иной тип данных, все стараются

объяснить данные, придумывая теории, и все в определенной степени заботятся о том, чтобы подтвердить достоверность этих теорий. А за исключением этого в разных дисциплинах подходы к пониманию мышления и языка и прочих присущих лишь человеку свойств значительно различаются. Но прежде чем мы более детально рассмотрим эти подходы, полезно сравнить их с особенно наглядным примером научного осмысления из совершенно другой области, где постепенное накопление данных привело к возникновению теории, в настоящее время ставшей общепринятой.

Пример накопления объяснений

Люди давно заметили близкое сходство между очертаниями Европы и Африки с одной стороны, и Северной и Южной Америки, с другой. В 1858 году географ Антонио Снидер-Пеллегрини начертил две карты. Первая отражала замеченное географами сходство очертаний континентов по обе стороны Атлантического океана. Другая изображала, как когда-то эти континенты предположительно могли составлять единый непрерывный материк. В 1912 году немец А. Вегенер обратил внимание, что на соответственных побережьях с каждой стороны Атлантического океана встречаются одни и те же редкие геологические структуры и окаменелости. Вегенер считал, что данные ископаемые организмы просто не могли пересечь океан, следовательно, они когда-то должны были жить на одном сплошном участке суши. Чтобы объяснить наблюдаемое сейчас расположение материков, Вегенер предположил, что материки разошлись. В течение его жизни эта теория не получила широкого признания, потому что объяснения, почему они могли разойтись, не существовало.

Но потом, начиная с 1950-х гг., стало возможным датировать различные участки океанского дна по следам, оставленным в породе инверсиями геомагнитного поля Земли. Также начали проводиться наблюдения за землетрясениями и вулканами вдоль впадин и горных цепей в центральной части океанов. Новые наблюдения позволили выявить процесс конвекции, при котором дно океана разрастается из срединно-океанических хребтов, все дальше раздвигая континенты. Сегодня эта теория «тектоники плит» является общепринятой, она произвела революцию в геологии. Вот великолепный пример того, как можно объединить растущее число наблюдений с воображением, чтобы значительно улучшить наше понимание окружающего мира. Объемлющая картина – теория расходящихся континентов – является тем, что невозможно увидеть напрямую, но она позволяет нам удовлетворительным образом осмыслить множество наблюдаемых фактов.

Постигая мышление

Постижение человеческого мышления и языка представляется далеко не столь однозначным, как понимание континентов, гор и камней. Кто-то мог бы сказать, что нашей целью является понять человеческий мозг, а в таком случае мы имеем дело с чем-то физическим и в этом отношении похожим на континенты. Однако я бы полагал, что нас интересует прежде всего человеческий опыт, который обусловлен событиями, происходящими в мозгу, но сам по себе не является физическим объектом. Человеческий опыт включает главным образом мышление, а если нашей целью является постижение мышления, то сюда должно входить и понимание того, как мышление связано с речью. В этой области накоплено немало наблюдений, а также немало теорий. Часто говорят, что человеческий мозг – это самая сложная структура во вселенной, и ее сложность отражается в том, как мы воспринимаем мышление и язык.

Здесь не место для обзора всего, что было предпринято в данной области, но я опишу несколько подходов к данной задаче, фокусируя внимание на том, как в каждом из подходов соблюдается баланс между данными и теориями. Я надеюсь показать, что необходимо оценивать не только степень соответствия между данными и теориями, но и само

качество данных и теорий. Теории можно оценивать в терминах полноты – сколько данных они объясняют, но также и по более субъективным критериям эстетического изящества и последовательности. В равной степени важно оценивать качество данных. Мне хотелось бы особо подчеркнуть, что самыми важными следует считать данные, полученные естественным путем, свободные, насколько это возможно, от вмешательства исследователя, а наименее ценными – данные, которые значительно отличаются от того, что встречается в реальной жизни. Я приведу несколько примеров данных, расположенных между двумя этими полюсами.

Документация языков как научная деятельность

В лингвистике существует большая традиция исследования структуры отдельных языков и сравнения структуры разных языков. Лингвисты занимаются этой деятельностью в течение тысяч лет. Сейчас это делается особенно интенсивно, потому что большинство языков мира вымирает, и данные таким образом быстро исчезают. Подобные исследования представляют собой особенно хороший пример научной практической деятельности. Я покажу это на коротком примере из языка под названием сенека, североамериканского индейского языка, на котором говорят в западной части штата Нью-Йорк неподалеку от города Буффало.

Одной из стандартных процедур в такой работе является запись того, как люди говорят на исследуемом языке. По таким наблюдениям можно строить теории о знании в мозгу говорящих. Предположим, что в ходе наблюдений кому-то попались слова из (1), которые можно перевести на английский следующим образом. (Использованная здесь орфография в настоящее время используется народом сенека. Символом *ë* изображается назализованный гласный, двоеточием – долгота гласного, а апострофом – гортанная смычка.)

(1) Местоименные префиксы в сенека

ëge:gë' «I will see it» [Я увижу это]	-ge-	«I» [я]
ëye:gë' «she will see it» [Она увидит это]	-ye-	«she» [она]
ëke:gë' «I will see her» [Я увижу её]	-ke-	«I…her» [я…её]

Все эти слова начинаются с префикса *ë-*, который является показателем будущего времени. За ним вторым слогом следует один из элементов, перечисленных в правом столбце (*-ge-*, *-ye-* и *-ke-*) и обозначающих того, кто видит, и то, что видят. Эти элементы называются местоименными префиксами, потому что по своей функции они напоминают местоимения в языках типа английского. В конечном счете мы узнаем, что в языке сенека есть не только три местоименных префикса, перечисленных в (1), а 67 различных префиксов с той же функцией.

Однако здесь кроется проблема. Потребуется очень много времени, чтобы путем естественных наблюдений выявить в языке все 67 префиксов. Чтобы справиться с этой проблемой, обычный прием – искусственно воздействовать на то, что наблюдаешь. Например, можно предъявить носителям языка некоторые выдуманные ситуации, воспроизводящие все мыслимые комбинации того, как кто-либо видит что-либо. Тем не менее, обычно поступают по-другому: просят людей просто переводить с английского или любого другого языка-посредника. Полученные таким образом данные искусственны в том смысле, что носители языка обычно не переводят с английского, не говоря уже о том, что переведенные предложения лишены контекста, но, можно надеяться, они не будут противоречить тому, что люди сказали бы в более естественной ситуации. Возможно, по меньшей мере часть этих данных подтвердится в процессе сбора более естественного материала.

Фокусы сознания

Воздействовать на объект наблюдения можно и в более широком масштабе, с помощью приемов, которые обеспечат более богатую коллекцию данных. В 1975 году в Беркли мы с коллегами сняли короткий фильм, который стал известен как «Фильм о грушах» [Chafe 1980]. Мы надеялись, что фильм создаст у людей более или менее естественные впечатления, о которых они смогут рассказать. Мы хотели получить наблюдения, которые были как можно более естественными, но в то же время обусловленными содержанием нашего фильма. Полученный в итоге материал позволил сделать различные научные открытия, но здесь я упомяну только об одном из них.

Человеческая речь не является сплошным, непрерывным потоком, а состоит из отдельных фраз, которые часто разделяются паузами. Каждая фраза определяется своим интонационным контуром и другими просодическими характеристиками, поэтому ее можно назвать «просодической фразой». Сейчас речь пойдет об интроспекции, исследовательском методе наблюдения, который я считаю ключевым для понимания мышления и языка. Последние сто лет им явно пренебрегали в психологии, хотя лингвисты применяли его чаще. Исходя из интроспекции, каждая из просодических фраз представляет собой лингвистическое выражение того, что в данный момент находится в фокусе человеческого сознания, «фокусе сознания» говорящего. Из наблюдений над просодическими фразами можно сделать теоретический вывод о том, что речь и мысли, вызывающие речь, представляют собой последовательность сменяющихся фокусов сознания. В (2) я включил несколько просодических фраз из одного пересказа «Фильма о грушах».

(2) Выражение фокусов сознания в просодических фразах

(a) *And the the three kids head back down,*
И те те трое ребят направляются снова туда,

(b) *the way they were going.*
куда они шли.

(c) *And they run across his hat,*
И они натыкаются на его шляпу,

(d) *that was blown off.*
которую сдуло.

Сначала в фокусе были три мальчика, покидающие то место, где они помогли другому мальчику подобрать упавшие на землю груши. Две просодические фразы послужили для выражения одного связного кластера идей. Фраза (a) была сфокусирована на трех уходящих мальчиках, а фраза (b) – на направлении, которое они выбрали. Затем в (c) в фокусе оказывается то, как они находят шляпу другого мальчика. Наконец, в (d) в фокусе оказывается причина, почему шляпа мальчика лежала на дороге: ранее в фильме было показано, что шляпу сдуло у мальчика с головы. Вкратце, теоретическое знание о том, что речь представляет собой последовательную смену просодических фраз, каждая из которых выражает фокус сознания говорящего в данный момент, выводится из наблюдений над звуками, производимыми говорящим, в комбинации с интроспективными наблюдениями над тем, что все мы делаем, когда говорим. Дальнейшие наблюдения могут помочь нам проработать эту теорию более детально, например, выяснить, что объем фокусов сознания невелик и ограничивается одной новой идеей [Chafe 1994].

Эхоическая память

Сейчас попробуем подойти к пониманию с другого конца. Вероятно, вы можете вспомнить случай, когда вы были сосредоточены на чем-либо, например, на чтении книги или газеты, затем вам неожиданно что-то сказали, и вы поначалу это проигнорирова-

ли. Тем не менее, в течение короткого времени можно было переключить внимание на сказанное, как если бы звуки все еще висели в воздухе.

Несколько десятилетий назад психологи Сэм Глюксберг и Джордж Коуэн [Glucksberg, Cowan 1970] применили экспериментальный метод дихотического слушания, когда человеку в левое ухо проигрывают одно, а в правое – нечто другое. Человека просили «дублировать» (повторять вслух), что он или она слышали каким-либо одним ухом. «Дублирование» проводилось с целью убедиться, что внимание человека сфокусировано на том, что он слышит этим, а не другим ухом. В речь, поступающую в игнорируемое ухо, случайным образом вставлялось однозначное число типа «три» или «пять». По прошествии некоторого времени, от нуля до двадцати секунд, загоралась зеленая лампочка, и человека спрашивали, какое число он слышал игнорируемым ухом. Наблюдения показали, что игнорируемая информация оставалась доступной в течение короткого времени, но вскоре утрачивалась, а по истечении пяти секунд и вовсе не могла быть восстановлена. Эту способность назвали «эхоической памятью» [Neisser 1967]. Очевидно, звук, поступая в мозг, не исчезает сразу же, а хранится в эхоической памяти до пяти секунд в противоположность визуальной информации, которая сохраняется не более одной секунды.

И хотя Глюксберг и Коуэн не отметили этого, тот факт, что звук в течение небольшого периода времени сохраняется в сознании, имеет явное значение для языка. Это позволяет нам обработать просодическую фразу, которая обычно длится не дольше одной-двух секунд, как единый объект, а не последовательность отдельных звуков. Так компенсируется то, что сам по себе звук исчезает моментально. Мы способны держать звук в голове достаточно долго, чтобы за раз полностью обработать фокус сознания. Это означает, что различия в порядке слов несущественны. Не имеет значения, стоит ли глагол в середине или в конце фразы, поскольку вся фраза целиком не превышает длины, позволяющей воспринять ее как целое.

Очевидно, что данные в этом исследовании были получены искусственно. Обычно мы не слушаем разными ушами совершенно разные вещи. Но эти данные не противоречат нашему естественному опыту в том смысле, что, если бы мы когда-нибудь услышали что-либо таким необычным способом, именно так мы бы это и восприняли. С помощью эксперимента производилось искусственное воздействие на получаемые данные с целью дополнить теорию памяти. Глюксберг и Коуэн не ввели в свою теорию понятия просодических фраз и фокусов внимания, но то, что они обнаружили, согласуется с этими понятиями.

Другие эксперименты

Вместе с тем, относительно многих экспериментов, ориентированных непосредственно на язык, встает вопрос, не являются ли полученные в них данные не просто искусственными, а несоответствующими тому, что происходит в естественных ситуациях. В качестве произвольного примера приведу предложение, которое использовалось в одном эксперименте в качестве контрольного: *Emily wondered whether the performer in the concert has imitated a pop star for the audience's amusement* «Эмили интересовало, изображал ли исполнитель во время концерта поп-звезду для зрительского развлечения». Предполагалось, что данное предложение, как контрольное, является бесспорным образцом английского языка. Но если вам знакомо, как по-настоящему говорят в обычной ситуации люди, вы не сможете не удивиться ограниченности подобных наблюдений. Данные такого рода повсеместно используются в психологических экспериментах, и по иронии судьбы эти работы часто называют эмпирическими.

Для изучения кратковременной памяти, которая, как представляется, связана с фокусами сознания, проводилось много исследований. Я упомяну только одну работу, которая была выполнена в Англии Чарльзом Хульмом и его сотрудниками и опубликована в 2003 году в «Journal of memory and language» [Hulme et al. 2003]. Это одна из типичных работ по кратковременной памяти, которые проводятся давно и в большом количестве. Как и многие исследования, выполненные в рамках этой традиции, она была направлена на изучение того, как люди запоминают списки слов.

Исследователи составили два списка по восемь слов: в первый включили самые распространенные слова, во второй – довольно малоупотребительные слова, т.е. слова с высокой и низкой частотой встречаемости. Затем людям давали прослушать шесть слов подряд и просили их повторить. Иногда все шесть слов были словами с высокой частотностью, иногда – с низкой, а иногда слова чередовались, и первым шло то слово с высокой, то с низкой частотностью. Ответ считался правильным, если человек повторял верное слово в нужной позиции. Правильность ответов снижалась, начиная с первой позиции до пятой, но шестое, последнее слово, чаще повторяли правильно. Эти результаты демонстрируют хорошо известные эффекты первичности и новизны, которые обычно проявляются при запоминании цепочки слов. Первое и последнее слово люди запоминают лучше, чем слова в середине.

Лучше всего люди отвечали, когда все слова были словами с высокой частотой встречаемости, и хуже всего, когда с низкой. Что касается списков, где слова с высокой и низкой частотностью шли вперемежку, для них оказалось несущественным, стояло ли первым слово с высокой частотой встречаемости или с низкой. В смешанных списках люди воспроизводили слова с высокой и низкой частотностью одинаково; и те, и другие оказались где-то посередине между словами с высокой и низкой частотностью из «однородных» списков. Полученные результаты не соответствовали так называемой гипотезе об избирательности (item-based theory), согласно которой в смешанных списках слова с высокой и низкой частотой встречаемости должны были запоминаться по-разному. Вместо этого они подтверждали гипотезу о том, что люди строят ассоциации между значениями перечисляемых слов. Людям проще объединять значения, когда все слова обладают высокой частотой встречаемости, чем когда все слова имеют низкую частотность, а со смешанными списками способность строить ассоциации оказалась средней.

Не вполне очевидно, как изучение способов, которыми люди запоминают списки слов, может привести к всеобъемлющей теории языка и мышления. В этой, как и во множестве других работ, значительные усилия тратятся на то, чтобы с помощью искусственных данных проверить частную гипотезу. Тем не менее, открытие того, что люди пытаются найти смысл даже в бессмысленной последовательности слов, может рассматриваться как подтверждение приоритета мыслей над звуками – тема, к которой мы сейчас обратимся. Я опишу две возможные теории языка и их соотнесенность с наблюдениями и природой понимания, при этом сначала мы обсудим теорию, ориентированную на мышление, а затем синтаксически-ориентированную теорию.

К построению теории, ориентированной на мышление

Большинство согласится, что помимо прочих функций язык соотносит мысли со звуками. Интроспективно мы можем заметить, что ощущаем мысли, и что соотнесение мыслей со звуками позволяет нам разделить мысли с другими людьми. Мы можем также разными способами убедиться в том, что мысли имеют приоритет над звуками; я упомяну лишь один из этих способов. Полезно сравнить, что испытываешь, слушая речь на знакомом и незнакомом языке. Если язык незнакомый, все, что нам остается – это звуки, которые никак невозможно соотнести с мыслями. А если язык знакомый, то воспринимается совершенно по-другому. Мы следим за мыслями и, обычно, почти не обращаем внимания на звуки. Когда учишь новый язык, важнее всего научиться слышать звуки и осознавать мысли. Далее, согласно интроспекции, мысли содержат три компонента, перечисленных в (3).

(3) Компоненты мыслей:
- (a) Восприятие и воображение
- (b) Эмоции и установки
- (c) Язык

Прежде всего, мы воспринимаем то, что непосредственно окружает нас, а воображение воспроизводит этот непосредственный перцептивный опыт в более ослабленной форме. Кроме того, у нас есть эмоциональные ощущения и установки. И мы владеем внутренней речью. Если бы мы не ощущали ничего, кроме внутренней речи, мышление было бы эквивалентно языку. Тот факт, что люди часто испытывают трудности, пытаясь облечь мысли в слова, замечательно доказывает, что мышление представляет собой нечто большее, чем просто язык.

Внутри конкретного фокуса сознания мысли организуются в то, что я буду называть «идеями», используя это слово как технический термин. Это понятие включает в себя, например, идеи событий и идеи людей и предметов, участвующих в этих событиях. Формирование идей событий и их участников представляется базовым организующим принципом мышления. В языке идеи выражаются при помощи так называемых полнозначных слов, таких как глаголы и существительные. Фраза в (4) выражает идею события, состоящего в том, что кто-то нашел что-то, и выраженного словами *run across* 'найти, наткнуться'. Слово *they* 'они' выражает идею тех, кто совершил находку, в то время как слова *his hat* 'его шляпа' выражают идею того, что было найдено.

(4) *And they run across his hat,*
И они натыкаются на его шляпу.

Мысли организуются как идеи событий и их участников, а идеи, в свою очередь, поразному ориентированы (oriented): во времени, в пространстве, в эпистемологии (откуда мы знаем о них), в эмоциях, во взаимодействии между говорящим и слушающим и в соответствии с их местом в текущем потоке других идей. Если идеи выражаются в языке полнозначными словами, то их ориентировка (orientations) выражается служебными словами, а также именным и глагольным словоизменением. В (5) суммируются упоминавшиеся выше свойства мыслей:

(5) Свойства мыслей:
- (a) Мысли обладают приоритетом над звуками.
- (b) Мысли имеют перцептивное, эмоциональное и языковое измерение.
- (c) Мысли организуются в виде идей и ориентировки идей.
- (d) Идеи выражаются полнозначными словами, их ориентировка – служебными словами и словоизменением.

Как мысли превращаются в звуки? Мысли и звуки сильно различаются, так что здесь не может быть однозначного соответствия. Как представляется, существует по меньшей мере четыре способа преобразования мыслей, прежде чем можно будет выразить их звуками. Эти четыре способа перечислены в (6), а я проиллюстрирую их на примере того, как мысли были выражены с помощью языка в предложении (4), *and they run across the hat.*

(6) Преобразование мыслей в звуки
- (a) Выбор
- (b) Категоризация
- (c) Ориентирование (Orientation)
- (d) Комбинирование

Сперва происходит процесс выбора: отбираются идеи, которые будут выражены при помощи языка. Мы не можем говорить обо всем, что думаем. У нас слишком много мыслей, и не все их можно легко выразить словами. Нам приходится выбирать, что мы будем говорить. В (4) выбор рассказчицы пал на идею нахождения чего-то, вместе с тремя мальчиками, сделавшими находку, и шляпой, которая была найдена. Она могла захотеть рассказать только об одном из трех мальчиков, о дороге, по которой они шли, или

о других вещах, пришедших ей в голову, но произнесла лишь то, что решила выразить словами.

Вторым идет процесс категоризации. Нельзя, чтобы каждой конкретной идее соответствовал свой особый звук. Говорящим приходится воспринимать конкретные идеи как частные случаи более общих категорий. Эти категории едины для говорящих на одном языке и ассоциируются с определенными звуками. Событие в (4) рассказчица определила как частный случай категории, выражаемой при помощи *run across* 'наткнуться'. Одного из участников этого события она отнесла к категории *hat* 'шляпа'. Другого выразила местоимением *they* 'они'.

Третьим идет процесс ориентирования. Разные языки по-разному ориентируют идеи. В одних языках больше внимания обращается на время, в других на пространство, в третьих на эпистемологию и т.д. В (4) рассказчица ориентировала событие во времени, используя так называемое «историческое настоящее», чтобы придать пересказу живость, которой тот лишился бы, используй она прошедшее время. Идею трех мальчиков она ориентировала как данную идею, предположив, что эта идея уже наличествует в сознании слушающего, потому что была активирована ранее. В результате она выразила эту идею местоимением *they* 'они', а не полной именной группой типа *the boys* 'мальчики'. Слово *and* 'и' в начале фразы (4) ориентировало всю мысль по отношению к мыслям, которые ей предшествовали.

В заключение, эти процессы выбора, категоризации и ориентирования происходят не изолированно друг от друга, а должны комбинироваться по установленным образцам. Каждый язык по-своему комбинирует семантические элементы. Помимо прочего, разнообразные элементы формируют структуру составляющих, как это в общих чертах показано на схеме (7). Там демонстрируется, как в целостном событии был выделен исходный пункт (идея трех мальчиков, выраженная словом *they* 'они') и событие как таковое (выраженное как *run across* 'наткнуться' и пациенс *his hat* 'его шляпа').

(7) Составляющие выражения «they run across his hat»

В результате процессов, перечисленных в (6), появилось то, что можно назвать семантической структурой, элементы которой напрямую связаны с различными аспектами мысли. На схеме (8) показано мое представление о том, как посредством четырех преобразований мысли превращаются в семантические структуры.

(8) Предварительная модель перехода мыслей в звуки

Но схема (8) это еще не все. Одной из самых популярных областей современной лингвистики является изучение синтаксиса, а в (8) синтаксис отсутствует. Хорошо известно,

что звуки языка не всегда напрямую выражают смысл. Семантическим структурам, чтобы перейти в звуки, требуются дальнейшие преобразования. Почему так происходит? Простым ответом будет, что языки изменяются, и сильнее всего посредством лексикализации. В результате лексикализации семантические элементы сначала обозначаются другими элементами, которые похожи на семантические, но уже не связаны с мыслями напрямую, а только потом выражаются звуками. Эти другие элементы можно назвать «квазисемантическими».

Есть два основных типа лексикализации: идиоматизация (формирование идиом) и грамматикализация (формирование грамматических элементов). Идиоматизацию можно назвать лексикализацией в применении к идеям. Например, идея, ассоциирующаяся с обнаружением какого-либо предмета, в английском может быть выражена как *run across* [букв. 'бежать через']. Человек, использующий эту идиому, не говорит ни о беге, ни о движении через что-либо. Речь идет об обнаружении чего-либо. Грамматикализацию можно понимать как лексикализацию, примененную к ориентировке идей. Например, ориентирование события в будущем часто выражается в английском с помощью конструкции *be going to* [букв. 'быть идущим к']. Опять же, речь не о перемещении, а о происшествии в будущем.

Процессы лексикализации ведут к постсемантическому уровню, уровню синтаксической структуры. Синтаксис представляет собой смешение элементов семантических, то есть напрямую связанных с мыслями, и элементов, напрямую с мыслями не связанных. В (9) показана схема (8) с добавленным в нее синтаксисом.

(9) Добавление синтаксических структур

Синтаксически ориентированная теория

Предложенный взгляд на связь мышления и языка радикально противоречит тому представлению, которое с 1960-х гг. господствует в американской лингвистике и необычайно влиятельно во многих других местах. Это представление не объясняет, как язык связан с мыслью, или каким образом язык преобразует мысли в семантические структуры, или почему семантические структуры трансформируются, чтобы стать синтаксическими структурами. Вместо этого, согласно нему, синтаксические структуры составляют основу языка, как показано на схеме (10). И хотя это представление главным образом фокусируется на изучении синтаксических структур, они описываются посредством двух других форм организации. Одна, называемая «LF» [Logical Form, логическая форма], слегка напоминает семантические структуры. Вторая, под названием «PF» [Phonetic Form, фонетическая форма], обеспечивает соотнесенность со звуками. Сторонники этого подхода любят аббревиатуры типа LF и PF, потому что они создают дистанцию между теорией и естественными наблюдениями.

(10) Язык с помещенным в центр синтаксисом

На каких же наблюдениях основывается синтаксически-ориентированная теория? На что смотрят люди, чтобы оценить, насколько теория и данные соответствуют друг другу? Ответ таков: данный подход предполагает, что у человека владение родным языком включает способность, что называется, оценивать грамматическую правильность. Когда человеку предъявляют последовательность синтаксических элементов, считается, что он интроспективно знает, «грамматичная» это последовательность, или нет. Подобные данные по своей сути являются искусственными, а зачастую значительно отличаются от данных естественного языка, примером чего могут служить предложения типа *John wondered which picture of himself Bill saw* «Джон поинтересовался, которое изображение себя видел Билл». По ряду причин предложения подобного рода не встречаются в естественной речи. Более того, людей просят оценить, является ли подобное предложение грамматичным, когда они ничего не знают о контексте, в котором оно могло бы быть произнесено. Так или иначе, цель этой теории – объяснить подобные суждения о грамматической правильности.

Теория, которая строится на основе подобных суждений, с годами все более и более усложняется. Тем не менее, в одном аспекте эта теория очень проста: она представлена диаграммами структур составляющих. Сложность же в самом процессе порождения этих диаграмм. Я не смогу обсудить здесь все трудности, но мы можем взглянуть на диаграмму (11), с помощью которой я изобразил один из способов представить синтаксическую структуру предложения *they find his hat* 'они находят его шляпу' в рамках этой теории.

(11) Синтаксически-ориентированная глубинная структура предложения *they find his hat*

С самого начала, когда эта теория только была предложена, в ней уже допускалось перемещать элементы внутри деревьев. В (11) я показал, что местоимение *they* сначала находилось там, где оно смогло получить роль агенса, а затем передвинулось туда, где, вероятно, находится надлежащая позиция для субъекта предложения. Онтологический статус такого передвижения, то есть, что значит «передвинуться куда-то», всегда оставался загадкой. Это не исторический процесс; также часто отмечается, что это не процесс, происходящий во время говорения. Это способ порождения синтаксической структуры. Возможно, из-за онтологического статуса этой проблемы в последнее время предпочитают говорить о «совмещении» (merging) элементов, а не о передвижении, но очевидно, что элементы должны передвинуться, прежде чем могут быть совмещены.

Местоимение *they* находилось в своей начальной позиции потому, что там ему могла быть приписана роль агенса, так же, как выражению *his hat* по его позиции в дереве была приписана роль темы. «Агенс» и «тема» – семантические понятия, так что в некоторой степени семантика затронула эти деревья еще в 1960-х. Дерево должно быть доступно для интерпретации в LF, поэтому агенс и тема являются аспектами семантиче-

ской интерпретации, которые мотивированы синтаксической структурой. Однако LF представляет собой интерпретационный компонент, а не первичное структурирование мысли.

Я показал два очень разных подхода к пониманию языка. Один опирается на широкую базу наблюдений и старается соотносить их с всеобъемлющей теорией, которая отталкивается от мысли и серьезно относится к семантике. Данный подход рассматривает синтаксис как комбинацию семантически значимых элементов и исторических реликтов, которые когда-то обладали семантикой, но не сохранили ее. Второй подход к пониманию языка опирается в качестве данных на суждения о грамматической правильности, которые не учитывают реальное использование языка. Эта теория представлена синтаксическими структурами, которые строятся в некоем эмпирическом вакууме.

(12) Оценивая данные и теории

То, о чем я говорил, суммировано на схеме (12). Часто можно услышать, что следует оценивать теорию по ее фальсифицируемости, но это лишь фрагмент более широкой картины. Занимаясь наукой, нужно постоянно заботиться о соответствии между данными и теорией, как это показывает двунаправленная стрелка в центре схемы (12). Но я пытался заострить внимание на том, что следует также заботиться и о качестве самих данных, которые образуют континуум от естественных к искусственным, при этом искусственные данные иногда могут быть полезны, если только не противоречат естественным данным. В то же время стоит обращать внимание и на то, насколько общей или частной является теория, ведь частные теории полезны только как неполный, предварительный вклад в более широкую картину.

В конце концов, конечно, все мы должны быть открыты восприятию всего хорошего, что есть в каждом подходе, ведь мы стремимся лучше понять нечто такое, секреты чего раскрыть крайне трудно – я говорю о природе человеческого мышления и языка. Совмещение любых конструктивных идей из всевозможных подходов может оказаться полезным, так как мы работаем над общей целью. А здесь я хотел подчеркнуть, что особенно ценно совмещать наиболее естественные данные с наиболее полной теорией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Chafe 1980 – *W. Chafe* (ed.). The pear stories: Cognitive, cultural, and linguistic aspects of narrative production. Norwood (New Jersey), 1980.

Chafe 1994 – *W. Chafe* (ed.). Discourse, consciousness, and time: The flow and displacement of conscious experience in speaking and writing. Chicago, 1994.

Glucksberg, Cowan 1970 – *S. Glucksberg, G.N. Cowan.* Memory for non-attended auditory material // Cognitive psychology. 1. 1970.

Hulme et al. 2003 – *Ch. Hulme, G. Stuart, G.D.A. Brown, C. Morin.* High- and low-frequency words are recalled equally well in alternating lists: Evidence for associative effects in serial recall // Journal of memory and language. 49. 2003.

Neisser 1967 – *U. Neisser.* Cognitive psychology. New York, 1967.

Перевела с английского
Е.В. Прозорова

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 2008

© 2008 г. К.Ю. ДРУЖКИН

«ГРУППА АРТИКЛЯ» В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ*

Древнегреческий артикль в сочетании с определениями образует «атрибутивную группу», которая проявляет свойства как адъективной, так и именной группы. В статье описывается строение атрибутивных групп, их место в именной группе и в предложении, их сходство с результатами эллипсиса и субстантивации. Также кратко обсуждается роль артикля в разрешении синтаксической неоднозначности.

В древнегреческом языке артикль в сочетании с определениями образует поверхностное синтаксическое единство, которое проявляет свойства как адъективной, так и именной группы. Цель настоящей статьи – дать описание и некоторое теоретическое осмысление этого явления.

Первые два раздела носят вводный характер. В них описываются технические соглашения, использованные при транслитерации и глоссировании, а также приводятся основные сведения о древнегреческом артикле. В 3-м разделе обсуждается традиционное понятие «атрибутивной позиции». Основное содержание статьи сосредоточено в 4-м и 5-м разделах, где рассматриваются «атрибутивные группы». Наконец в 6-м разделе «атрибутивные группы» сравниваются с другими родственными конструкциями древнегреческого языка.

1. ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ И ГЛОССИРОВАНИЕ

1.1. Транслитерация

В примерах сохранены некоторые особенности греческой графики. Так, ударение ставится на второй букве дифтонга; йота подписная передается с помощью подстрочного *i*; диграф ου транслитерируется как *ou*, аффриката ζ[dz] как *z*, сочетания χθ [kt^h] и φθ [pt^h] – как *khth* и *phth*.

1.2. Глоссирование

Морфологические признаки имени отмечаются полностью. Род: F – женский, M – мужской, N – средний. Число: SG – единственное, PL – множественное. Падеж: NOM – номинатив, GEN – генитив, DAT – датив, ACC – аккузатив. Степени сравнения: COMP – сравнительная, SUPERL – превосходная.

Глагольная морфология не является предметом нашего обсуждения, поэтому она представлена в упрощенном виде. Время/вид: IMPF – имперфект, AOR – аорист, PF – перфект; настоящее время специально не отмечается. Залог: PASS – пассив; актив и медий специально не отмечаются (помета PASS указывает на настоящий, семантический пассив; пассивная морфология отложительных глаголов игнорируется). Наклонение: IMP –

* Выражаю искреннюю признательность Петру Михайловичу Аркадьеву, Марии Михайловне Брыкиной, Александру Евгеньевичу Кибрику и Владимиру Александровичу Плунгяну. Разумеется, ошибки и неточности остаются на моей совести.

императив, индикатив специально не отмечается; остальные наклонения в примерах не представлены. Отглагольные имена: INF – инфинитив, PART – причастие. Артикль глоссируется как «art». Дискурсивные частицы глоссируются «ptc» и не переводятся.

Проведение морфологических границ между основой и флексией при глоссировании в определенной мере условно; в спорных случаях граница сдвигается в пользу флексии (напр., gén-ous < géne-os, poi-eî < poié-ei).

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ АРТИКЛЕ

2.1. Морфология

	Ед.			Мн.		
	Жен.	Муж.	Ср.	Жен.	Муж.	Ср.
Им.	hē	ho	tó	hai	hoi	tá
Вин.	tén	tón	tó	tás	toús	tá
Род.	tês	toû	toû	tôn	tôn	tôn
Дат.	tê$_i$	tô$_i$	tô$_i$	taîs	toîs	toîs

2.2. Сочетаемость с существительными

Артикль появляется при существительных, референты которых однозначно идентифицируются в дискурсе, в том числе и при названиях уникальных объектов (солнце). Кроме того, артикль обязателен при родовом употреблении форм единственного числа (слон – самое большое из животных). Вообще, пока речь идет о сочетании артикля с одиночным именем нарицательным, древнегреческий язык почти не отличается от более привычных английского, немецкого или итальянского.

Артикль может (хотя и не обязательно должен) появляться при именах собственных. Так, например, Ксенофонт в «Воспоминаниях о Сократе» попеременно называет главного героя то «ho Sōkrátēs», то просто «Sōkrátēs». Факторы, влияющие на выбор между двумя вариантами, пока не прояснены до конца.

2.3. Сочетаемость с местоимениями

В древнегреческом языке нет слов, попадающих в один естественный класс с артиклем[1]. Указательные местоимения не вытесняют артикль, но, напротив, требуют его присутствия[2]:

(1) [tout-o [t-ò próblēma]]
[этот-N.SG.NOM [art-N.SG.NOM проблема.N.SG.NOM]]
«эта проблема»

Притяжательные местоимения ведут себя как обычные прилагательные:

(2) h-o em-ós adelph-ós
art-M.SG.NOM мой-M.SG.NOM брат.M-SG.NOM
«мой брат»

---

[1] Античные грамматики считали артикль особой частью речи; тем самым выделялась часть речи, включающая только одну лексему.

[2] Так же ведут себя местоимения-кванторы hékastos *каждый*, hólos *весь*, pân (в значении *всякий*), местоимение autós (в значении *сам*) и некоторые другие.

Неопределенного артикля в древнегреческом языке нет. В роли показателя неопределенности часто выступает местоимение tis *некий/некто*. Возможно, тот факт, что артикль – проклитика, а tis – энклитика, помешал им вступить в явную оппозицию.

(3) h-o ánthrōp-os *vs.* ánthrōp-ós tis
art-M.SG.NOM человек.M-SG.NOM *vs.* человек.M-SG.NOM некий.M.SG.NOM

В ходе развития греческого языка tis исчезнет, а неопределенный артикль разовьется из числительного heîs, mía, hén *один*.

3. АТРИБУТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

3.1. Традиционная терминология

При обсуждении синтаксической роли причастий и прилагательных в традиционной грамматике использовались два выражения: «X употребляется атрибутивно» (т. е. является определением) и «X употребляется предикативно» (т. е. является именной частью сказуемого или второстепенным предикатом). Эта пара терминов приложима не только к древнегреческому, но и ко многим другим языкам с похожей структурой (например, к латинскому или русскому).

Однако те особенности древнегреческой грамматики, которые будут предметом нашего обсуждения, привели к особенному пониманию этих терминов на греческой почве. Это новое понимание можно назвать *позиционным*. Согласно ему, справа от артикля находится «позиция», которую могут занимать определения. Эта позиция называется «атрибутивной», потому что для находящихся в ней причастий и прилагательных возможно только атрибутивное прочтение. Все остальные позиции называются «предикативными»[3].

3.2. Причастия и прилагательные

Традиционная терминология была выработана для того, чтобы описывать поведение причастий и прилагательных. Поэтому сначала мы рассмотрим взаимодействие артикля с ними, и только потом перейдем к другим типам зависимых.

Можно выделить две «атрибутивные позиции»: препозитивная (между артиклем и существительным) и после постпозитивная (после специально введенного второго артикля):

(4) a. [h-oi [t-èn Así-an katoik-oûnt-es]
art-M.PL.NOM [art-F.SG.ACC Азия.F-SG.ACC населять-PART-M.PL.NOM]
Héllēn-es]
эллин.M-PL.NOM]
«населяющие Азию эллины» (Lycurg. In Leocratem, 42)[4]

b. epitérēs-e t-èn therápain-an
подстерегать.AOR–3.SG art-F.SG.ACC служанка.F-SG.ACC
[**t-èn** [eis t-èn agor-àn badíz-ous-an]]
art-F.SG.ACC [на art-F.SG.ACC рынок.F-SG.ACC ходить-PART-F.SG.ACC]]
«Он подстерег служанку, ходившую на рынок» (т.е. ту служанку, в обязанности которой входило совершение покупок). (Lys. De caede, 8)

---

[3] Подробное изложение см., например, в классическом учебнике [Соболевский 1948: 246].

[4] Древнегреческие тексты цитируются по изданиям, вошедшим в состав электронного корпуса Thesaurus Linguae Graecae (http://www.tlg.uci.edu/).

Аналогичным образом можно выделить и две «предикативные» позиции: препозитивную (перед артиклем и существительным) и постпозитивную (после существительного без повторения артикля). Впрочем, в некоторых случаях существительное может и вовсе отсутствовать (как в примере (5)).

Оказываясь вне именной группы, причастие или прилагательное должно найти свое место в синтаксической структуре и в семантической интерпретации фразы. Способы «встраивания» могут быть самыми разными. Чаще всего «предикативно употребленное» определение становится второстепенной предикацией, которая логически связана с главной отношением одновременности, причины или уступки (например: *помнящий = когда/хотя/потому что он помнит*). Возможно участие в конструкции accusativus duplex (*помню его молодым*). Причастия могут сочетаться с фазовыми глаголами:

(5) paûs-ai lal-ôn
перестать.AOR-IMP болтать-PART.M.SG.NOM
«перестань болтать» (Arph. Eccl. 129)

Составив таблицу, столбцы которой соответствуют семантическим классам глаголов-сказуемых, а ряды – семантическим классам прилагательных и причастий, можно было бы описать их взаимодействие более подробно. Здесь же я хочу подчеркнуть только то, что «предикативные употребления» не образуют естественного класса.

3.3. Генитив

В примере (6) показано появление генитива в обоих атрибутивных позициях:

(6) a. [h-oi [t-oû Polemárkh-ou] adelph-oi]
art-M.PL.NOM art-M.SG.GEN Полемарх.M-SG.GEN брат.M-PL.NOM
«братья Полемарха» (Pl. Resp. 328b)

b. h-o patér [h-o [t-oû Polemárkh-ou]]
art-M.SG.NOM отец.M-SG.NOM art-M.SG.NOM art-M.SG.GEN Полемарх.M-SG.GEN
«отец Полемарха» (Pl. Resp. 328b)

Многоярусное вложение генитивных зависимых встречается гораздо реже, но и оно возможно:

(7) [t-ò [t-ês [t-oû xaín-ont-os]
art-N.SG.NOM art-F.SG.GEN art-M.SG.GEN чесать-PART-M.SG.GEN
tékhn-ēs] érg-on]
искусство.F-SG.GEN дело.N-SG.NOM
«дело искусства чесальщика <шерсти>» (Pl. Politicus 281a)

В отличие от согласованных определений, зависящий от имени генитив не привязан к атрибутивной позиции. Во многих примерах генитив находится вне синтаксической группы артикля, причем смысл фразы от этого не меняется (или меняется только актуальное членение):

(8) entaûtha dè Kýr-ou apotémn-etai h-ē kephal-é
тогда ptc Кир.M-SG.GEN отрубать-PASS.3.SG art-F.SG.NOM голова.F-SG.NOM
«Тогда Киру отрубают голову» (Xen. Anab. 1, 10, 1)

3.4. Наречия места и времени

Находясь в атрибутивной позиции, наречия места и времени становятся определениями:

(9) a. antì [t-ôn khthès lóg-ōn]
вместо art-M.PL.GEN вчера речь.M-PL.GEN
«вместо вчерашних речей» (Pl. Tim. 26e)

b. dâ$_i$d-as lab-ónt-es
факел.F-PL.ACC взять.AOR-PART-M.PL.NOM
ek [t-oû engýtata kapēleí-ou]
из art-N.SG.GEN близко.SUPERL трактир.N-SG.GEN
«взяв факелы из ближайшего трактира» (Lys. De caede, 24)

Мне неизвестны примеры, где наречия зависят от имени в неопределенной ИГ, хотя такая возможность в принципе не исключается[5]. С некоторой осторожностью можно сказать, что наречия служат определениями *почти исключительно* в атрибутивной позиции определенных ИГ.

Заметим, что артикль имеет две функции: он несет значение определенности и способствует разрешению синтаксической неоднозначности. Объединение двух этих функций в одном слове вызывает синтаксическую асимметрию между определенными и неопределенными именными группами. Определенные ИГ четче отделены от своего синтаксического фона и поэтому могут включать в себя нестандартные компоненты.

3.5. Предложные группы

Типичные примеры выглядят так:

(10) a. [h-ē [en Italí-a$_i$] Lokrí-s]
art-F.SG.NOM в Италия.F-SG.DAT Локрида.F-SG.NOM
«город Локрида, который в Италии» (Pl. Tim. 20a)

b. metà taut-a **kósm-on** gynaik-ós
после этот-N.PL.ACC украшение.M-SG.ACC женщина.F-SG.GEN
[**t-òn** [eis heort-às]] diē$_i$r-oûmen
[art-M.SG.ACC на(=для) праздник.F-ACC.PL] обсуждать.IMPF–1.PL
«После этого мы обсуждали праздничное украшение женщины»[6] (Xen. Oecon. 9, 6)

3.6. Характер обсуждаемой оппозиции

Оппозиция, которую мы рассматриваем, является привативной. «Атрибутивность» является маркированным членом оппозиции, а «предикативность» – немаркированным. Это хорошо видно при постпозиции (возможных) зависимых: повторяющийся артикль – это маркер «атрибутивности»; специального маркера «предикативности» нет. Далее, при описании древнегреческого синтаксиса мы даем определение или список атрибутивных позиций, а все остальные позиции попадают в число предикативных. Наконец, описывая значение позиций, мы можем сказать что «атрибутивность» – это гарантированная зависимость от существительного, а «предикативность» – это отсутствие такой гарантии.

---

[5] Вероятно, могут быть найдены примеры типа *дорога туда* или *пребывание там*, – где наречие является актантным зависимым существительного.

[6] Внимательный читатель заметит, что артикль появляется здесь только при постпозитивном определении, а при главном существительном (kósmon) отсутствует. Это может быть связано с некоторыми особенностями информационной структуры. Мы еще вернемся к этому явлению.

Артикль выполняет одновременно две функции: семантическую и синтаксическую. С одной стороны, он маркирует определенность; с другой стороны, он удерживает определения в составе именной группы. Признаки, маркером которых является артикль, относятся к разным уровням синтаксической структуры. Определенность – это свойство именной группы; но вхождение в именную группу – свойство составляющих более низкого уровня. Следовательно, артикль является маркером двух разных оппозиций у двух разных составляющих. Эта сложность во многом определяет характер древнегреческого синтаксиса.

В обеих своих функциях артикль противопоставлен нулю. В древнегреческом языке нет неопределенного артикля, а также нет специального маркера не-вхождения в именную группу. Поэтому границы неопределенных именных групп также оказываются «неопределенными». Иными словами, у неопределенных ИГ происходит нейтрализация нашей оппозиции, причем в позиции нейтрализации появляется немаркированный признак.

3.7. Асимметрия препозиции и постпозиции

Приведенное выше традиционное описание игнорирует один многозначительный факт: первая атрибутивная позиция (между артиклем и существительным) уже существует в любой определенной именной группе, между тем как вторую атрибутивную позицию (после существительного) нужно специально создавать, вводя в структуру второй артикль.

С одной стороны, введение второго артикля делает синтаксическую структуру более прозрачной. С другой стороны, эта операция не бесплатна, и цена вопроса – не только появление одного лишнего слога. Создается вторая, неполноценная именная группа, анафорически связанная с первой. Тем самым синтаксическая структура усложняется. Также, насколько можно судить, возглавляемые артиклем зависимые получают и бóльшую просодическую самостоятельность. Поэтому здесь возникает классический конфликт между стремлением к ясности и стремлением к экономии речевых усилий.

Этот конфликт решается по-разному для разных типов зависимых. Согласованные зависимые в постпозиции снабжаются артиклем совершенно механически, даже если другой интерпретации быть не может. Наречия места и времени естественным образом тяготеют к глаголу, и только специальные средства вынуждают слушателя/читателя отнести их к существительному; поэтому при них второй артикль необходим.

Наличие или отсутствие повторяющегося артикля при генитивных и предложных зависимых регулируется весьма сложными соображениями. По-видимому, во многих случаях это вопрос стиля, а не правило грамматики.

4. АТРИБУТИВНАЯ ГРУППА В ПОСТПОЗИЦИИ

Сочетание второго артикля с постпозитивным определением, по-видимому, следует считать составляющей. Если это так, то возникает ряд вопросов. Прежде всего, к какому типу относится эта составляющая? Считать ли нам ее (неполноценной) именной группой или чем-то другим? Далее, какова семантика второго артикля? И должны ли мы считать первый и второй артикль одной лексемой или омонимичными лексемами? Наконец, какова синтаксическая связь между главной именной группой и этой составляющей?

Предмету нашего обсуждения требуется имя. Продолжая давнюю терминологическую традицию, мы назовем эту сущность «атрибутивной группой», сокращенно АГ.

4.1. Пространство гипотез

К какому типу составляющих относится АГ?

(a) АГ – это именная группа (точнее, группа детерминанта, DP), находящаяся в приложении к главной именной группе.

(b) АГ – это нечто вроде группы прилагательного (или нечто вроде придаточного определительного).

(c) Присоединение артикля не меняет тип составляющей. Например, если артикль сочетается с предложной группой, результатом также будет предложная группа. Поэтому АГ не имеет своего постоянного типа.

Какова семантика артикля?

(a) В древнегреческом языке есть только один артикль. У него есть стандартная семантика определенного артикля.

(b) В древнегреческом языке есть два разных артикля. Назовем их АРТИКЛЬ_1 (*этот*) и АРТИКЛЬ_2 (*который*). АРТИКЛЬ_1 создает именные группы, АРТИКЛЬ_2 создает странные составляющие, похожие на адъективные группы.

Как в эту схему укладывается определенность? Очевидно, мы должны добавить, что именные группы, созданные с помощью АРТИКЛЯ_1, означают объект, единственный в мире или в ситуации. Атрибутивные же группы, созданные с помощью АРТИКЛЯ_2, являются определениями, достаточными для того, чтобы выделить единственный объект из множества.

(c) В древнегреческом языке есть два разных артикля. Первый артикль имеет свою семантику, второй артикль – не более чем пустышка, на которую можно «повесить» показатели согласования по роду, числу, падежу и определенности.

Какова синтаксическая связь между АГ и главной именной группой?

(a) АГ входит в состав ИГ.

(b) АГ существует самостоятельно, и связана с ИГ отношением кореферентности.

4.2. Является ли АГ именной группой?

К сожалению, описанные выше гипотезы эмпирически неразличимы (или почти неразличимы), поэтому выбор между ними не может опираться на факты. Как всегда в таких случаях, теоретические или даже эстетические предпочтения исследователя становятся решающими. Но все же некоторые соображения могут быть высказаны.

Вариант (c) предполагает, что у «нормального» артикля есть семантически пустой и синтаксически бездеятельный омоним. Тем самым предлагается рассматривать синтаксис и семантику предложений «так, как если бы этой неудобной вещи здесь не было».

Вариант (b) исходит из того, что АГ должна естественным образом сочетаться с ИГ на уровне семантики. А что может быть более естественным, чем сочетание атрибута и сущности? Аргументация здесь может строиться следующим образом: мы не знаем, как устроена АГ внутри себя, но если посмотреть на ее внешние связи в предложении, то видно, что АГ ведет себя как придаточное определительное.

К этому добавляются и некоторые переводческие соображения. В статьях по лингвистике примеры сопровождаются двумя видами пояснений: буквальным глоссированием и переводом смысла. Между этими двумя крайностями находится и третья возможность – составить подстрочник, приемлемо звучащий по-русски, но передающий основные черты оригинала. Подстрочный перевод не всегда возможен и не всегда полезен, но в некоторых случаях он действительно помогает приблизиться к пониманию. Даже авторы научных работ прибегают к нему время от времени, а в ситуации преподавания он совершенно незаменим.

Постпозитивные АГ можно переводить как определительные придаточные предложения с нулевой связкой, где артикль соответствует слову *который*. Например: *я увидел человека, который с палкой*. Иногда это единственный способ сохранить порядок слов оригинала, но при этом избежать двусмысленности. Например:

(11) éphask-e		[t-òn	lýkhn-on]	aposbes-thê-nai
говорить.IMPF–3.SG		art-M.SG.ACC	светильник.M-SG.ACC	гаснуть-AOR-INF
[t-òn	parà	t-ô$_i$	paidí-o$_i$]	
art-M.SG.ACC	около	art-N.SG.DAT	ребенок.N-SG.DAT	

«Она сказала, что светильник погас, который около ребенка» (Lys. De caede, 14)

Наконец, сторонник варианта (a) будет строить свою аргументацию так: В древнегреческом языке разрешены именные группы с эллипсисом вершинного имени[7]. Такие эллиптические ИГ по своему внутреннему устройству неотличимы от АГ. Бритва Оккама запрещает вводить лишние сущности без нужды, поэтому предположим, что АГ – это не более чем ИГ с эллипсисом. Выяснив ее внутреннее устройство, займемся ее внешними связями.

Известно, что одна именная группа может уточнять значение другой; синтаксическое отношение между ними называется *приложением* (apposition). Часто бывает, что способность к самостоятельной референции и другие прототипические свойства именной группы распределены в этой конструкции неравномерно: одна ИГ оказывается в каком-то смысле «слабее» другой. Эта «слабость» имеет отношение к семантике, а не к синтаксису. Так, *самоучка* в сочетании *химик-самоучка* не перестает быть существительным. Поэтому сторонники варианта (b) поступают неправильно, обосновывая синтаксическое решение доводами из области семантики.

Заметим, что при таком подходе легко объяснить, почему второй артикль появляется только в постпозиции. Это вытекает из требования, чтобы ИГ-приложение следовала за главной ИГ.

4.3. Входит ли АГ в состав ИГ?[8]

Независимо от того, является ли АГ определением или приложением, она должна быть частью объемлющей именной группы. Таковы нормальные ожидания; и любой другой анализ нуждается в серьезной защите.

Ниже мы кратко рассмотрим два случая, которые укладываются в стандартный анализ не совсем очевидным образом. Заметим, что обсуждение этих случаев выводит нас с синтаксического уровня на уровень дискурса и информационной организации фразы.

Если в дискурсе впервые упоминается некая в общем-то известная сущность, то за существительным без артикля может следовать АГ-пояснение:

(12) Kroîs-os ên Lyd-òs mèn génos,
Крез.M-SG.NOM быть.IMPF.3.SG лидиец.M-SG.NOM ptc род.N.SG.ACC
paîs dè Alyátte-ō,
сын.M-SG.NOM ptc Алиаттей.M-SG.GEN
týrann-os dè ethné-ōn,
властитель.M-SG.NOM ptc народ.N-PL.GEN
[**t-ôn** [entòs Hály-os potam-oû]].
art-N.PL.GEN внутри Галис.M-SG.GEN река.M-SG.GEN
«Крез был лидиец родом, сын Алиаттея, властитель народов <– тех народов, которые> внутри реки Галис» (Herod. Hist. 1, 6)

Это явление допускает разные трактовки, но, возможно, определенная АГ анафорически связана с неопределенной ИГ[9].

---

[7] Об этом см. ниже в разделе, посвященном эллипсису.

[8] В качестве типологической параллели можно привести вопрос о синтаксическом статусе «атрибутива» в цахурском языке, обсуждавшийся в [Кибрик (ред.) 1999: 318]. Авторы этой работы пришли к выводу, что когда цахурский атрибутив имеет собственные показатели числа и падежа, он не входит в именную группу, но соположен ей.

[9] Примеры, похожие на (12), встречаются, например, в английском:
i. A niche for just one book, the most treasured of them all.
Ниша для одной лишь книги – самой драгоценной из всех.
(Из интернета. Описывается ниша в стене у изголовья кровати.)

Далее, многие фразы с постпозитивными АГ отмечены некоторой особенностью информационной структуры. Создается впечатление, что АГ присоединяется к уже готовому сообщению, как будто о чем-то сначала забыли (или не посчитали нужным) сказать, а потом вспомнили и добавили. Если это наблюдение верно, то АГ иногда не входит в состав основной предикации и, следовательно, не является частью ИГ.

Вернемся к фразе (11) про светильник и ребенка. Подсудимый пересказывает свой разговор с женой: жена сказала, что погас светильник. Но присяжные не знают расположение светильников в его доме, поэтому нужно пояснение: имелся в виду светильник рядом с колыбелью.

Впрочем, такие примеры доказывают только способность АГ к парцелляции. Исходя из них, мы не можем делать никаких выводов о синтаксической структуре более «нормальных» фраз.

5. АТРИБУТИВНАЯ ГРУППА В ПРЕПОЗИЦИИ

Хотя при описании постпозитивных АГ возникает ряд проблем, мы, по крайней мере, можем быть уверены, что имеем дело с составляющей. Препозитивные АГ не внушают нам даже этой уверенности. С одной стороны, поверхностный порядок слов указывает на то, что определения, расположенные между артиклем и существительным, теснее связаны с артиклем, чем с существительным. С другой стороны, семантические соображения заставляют противопоставить артикль всему остальному.

Итак, границы, проводимые на разных уровнях, не совпадают:

1. Поверхностное членение: {артикль + определение} + {существительное}.
2. Семантическое членение: {артикль} + {определение + существительное}.

Хотя статус «препозитивных АГ» вызывает большие сомнения, ниже мы будем пользоваться этим термином – исключительно для удобства обсуждения. Вместо квадратных скобок, которыми принято отмечать границы составляющих, мы будем пользоваться фигурными скобками. Это всего лишь способ выделить отрывок текста, наряду с подчеркиванием или курсивом.

5.1. Проблема порядка слов: расположение препозитивных АГ

В древнегреческих текстах часто наблюдается такой порядок слов, при котором группа {артикль + определение} оказывается оторванной от существительного:

(13) a. {**t-às** allotrí-as} kataiskhýn-ousi **gynaîk-as.**
{art-F.PL.ACC чужой-F.PL.ACC} бесчестить–3.PL жена.F-PL.ACC
«Они бесчестят чужих жен» (Lys. De caede 49)

b. rein dià t-oû sómat-os
течь.INF по art-N.SG.GEN тело.N-SG.GEN
{**t-à** t-ôn fleb-ôn} poi-eî **reúmat-a.**
{art-N.PL.ACC art-F.PL.GEN жила.F-PL.GEN} делать–3.SG поток.N-PL.ACC
«(Дыхание) заставляет потоки кровеносных сосудов течь по телу» (Pl. Tim. 79a)

Для тех, кто верит в универсальную иерархию составляющих, где определения вложены в именную группу, а та вложена в группу детерминанта, разрывы такого рода представляют собой огромную теоретическую проблему[10]. Два объяснения, которые

[10] В современной литературе по синтаксису эта проблема описывается в терминах «remnant movement» или «incomplete category fronting». Подробнее см. в [Devine, Stephens 2000]. Вкратце суть дела можно описать так: принято считать, что операция передвижения применяется к составляющим. Но здесь вынесенный вперед фрагмент не является составляющей. Поэтому приходится постулировать целую серию передвижений.

мы предложим ниже (одно – просодическое, другое – функциональное), нисколько не способствуют решению этой проблемы, но просто игнорируют ее, переводя обсуждение в другую плоскость[11].

5.2. Объяснение первое: прилипание артикля к краю ИГ

Порядок слов в древнегреческом языке свободен до такой степени, что, пожалуй, легче перечислить основные запреты, чем напрямую говорить о разрешенных перестановках. Основные запреты связаны с двумя пересекающимися классами: классом служебных слов и классом клитик.

Иначе говоря, есть небольшая группа слов, которую можно задать списком. Это предлоги, союзы, частицы, артикль и полнозначные клитики. Слова из этого списка делают древнегреческий порядок слов до некоторой степени предсказуемым.

Несомненно, артикль «прилипает» к левому краю (одного из фрагментов) именной группы, будь она разрывная или неразрывная. Далее, безударный предлог может так же «прилипать» слева к артиклю.

(14) all' {en {t-oîs phonic-oîs}}
но {в {art-M.PL.DAT убийственный-M.PL.DAT}}
gégrap-tai nóm-ois...
писать.PF.PASS–3.SG закон.M-PL.DAT
«Но написано в законах об убийстве...» (Demosth. Phil. 3, 44)

Для клитик несовпадение синтаксической зависимости и просодического примыкания – скорее правило, чем исключение. Типичный тому пример – поведение русской частицы *бы* в предложениях с *если*. Последовательность *если* + *бы* неразрывна, хотя составляющую они не образуют.

5.3. Объяснение второе: артикль как показатель согласования

Хотя древнегреческая грамматика дает говорящему много свободы, есть другой фактор, который резко сужает границы допустимого. Этот фактор – слушатель. Встав на точку зрения слушателя, мы можем рассматривать артикль как своего рода показатель согласования, который помогает восстановить синтаксическую связь между зависимым и существительным.

Артикль говорит: «составляющая, которая идет за мной, зависит от существительного в таком-то роде, числе и падеже». Эта информация особенно полезна для интерпретации несогласованных зависимых: генитивов, предложных групп и наречий. Поэтому в составе атрибутивной группы они пользуются гораздо большей синтаксической свободой, чем простые зависимые без артикля. А для согласованных определений, например, причастных оборотов, важно установление самого факта зависимости. Без артикля (при возможности его поставить) они автоматически интерпретируются как обстоятельства.

Итак, если исходить только из потребностей артикля как проклитики, следующие два варианта будут одинаково пригодны:

1. атрибут ... Art N
2. {Art атрибут} ... N

---

[11] Функциональное объяснение порядка составляющих на уровне фразы можно найти в [Dik 1995]. Там же в послесловии высказывается резкая критика, направленная против любых попыток установить «базовый порядок слов» в древнегреческом.

Заметим также, что отношение к современным синтаксическим теориям среди специалистов по классической древнегреческой прозе колеблется между равнодушным и отрицательным. Так, например, Деннистон пишет: «Except in its cruder forms, Greek word order cannot be analyzed» [Denniston 1985: 8].

Но для построения целой фразы более полезным оказывается вариант (2), при котором артикль не только удовлетворяет свои проклитические потребности, но и способствует разрешению синтаксической неоднозначности.

6. АТРИБУТИВНЫЕ ГРУППЫ НА ФОНЕ ДРУГИХ ЯВЛЕНИЙ

Между атрибутивной группой и именной группой есть два различия. Во-первых, АГ не содержит внутри себя вершинного имени. Во-вторых, АГ не может быть ничем, кроме определения. Ниже мы увидим, как субстантивация и эллипсис уничтожают оба эти различия, превращая АГ в ИГ.

6.1. Эллипсис имени в именной группе

Рассмотрим сначала простейший случай эллипсиса:

(15) prôton mèn [t-ò [t-ôn hieré-ōn] génos] ...
во-первых ptc [art-N.SG.NOM [art-M.PL.GEN жрец.M-PL.GEN] род.N.SG.NOM]
metà dè tout-o **[t-ò** **[t-ôn** **dēmiourg-ôn]** _] ...
после ptc этот-N.SG.ACC [art-N.SG.NOM [art-M.PL.GEN ремесленник.M-PL.GEN] _]
kaì **[t-ò** **[t-ôn** **thēreut-ôn]** _]
и [art-N.SG.NOM [art-M.PL.GEN охотник.M-PL.GEN] _]
«Во-первых, род жрецов, после него (род) ремесленников, и (род) охотников» (Pl. Tim. 24a-b)

Настоящий ли это эллипсис или нечто другое, мы обсудим чуть ниже. А сейчас скажем несколько слов о роли артикля в этом процессе.

Эллипсис можно рассматривать с двух точек зрения, т.е. говорить о его причинах или его последствиях. В первом случае артикль не заслуживает упоминания. (В самом деле, эллипсис происходит тогда, когда содержимое двух именных групп частично совпадает; в результате эллипсиса избыточное содержимое (частично) устраняется; при чем здесь артикль?) Во втором случае артикль играет одну из центральных ролей: он помогает остатку именной группы встроиться в синтаксическую структуру.

Поскольку причины эллипсиса имеют бóльшую значимость для говорящего, а последствия для слушающего, мы снова возвращаемся к роли артикля в разрешении синтаксической неоднозначности. Желательно, чтобы остаток именной группы имел показатели падежа (для выяснения его синтаксической функции), а также показатели числа и рода (для восстановления опущенного существительного). Несогласованные зависимые без артикля таких показателей не имеют, поэтому эллипсис в неопределенных ИГ бывает затруднен.

6.2. Квази-эллипсис

Об эллипсисе имеет смысл говорить в тех случаях, когда опущенное существительное легко восстанавливается из контекста. Но часто встречаются и такие примеры, где восстанавливать нечего: в предшествующем тексте нет таких существительных, которые можно было бы подставить на место пропуска; более того, подстановка любого конкретного существительного неправомерно сужает значение фразы[12].

---

[12] Это верно до тех пор, пока существительное несет существенно больше информации, чем местоимение. Такие слова как *человек*, *предмет*, *дело* или *факт* (т.е. обозначения верхних классов в онтологической классификации), конечно, могут быть добавлены, но именно за счет своей бессодержательности.

Рассмотрим следующие примеры:

(16) eîkh-e dè t-ò mèn dexi-òn
иметь.IMPF–3.SG ptc art-N.SG.ACC ptc правый-N.SG.ACC [13]
Ménōn kaì **[h-oi [sỳn aut-ôi]]**,
Менон.M.SG.NOM и art-M.PL.NOM с он-M.SG.DAT,
t-ò dè euónym-on
art-N.SG.ACC ptc левый-N.SG.ACC
Kléarkh-os kaì **[hoi [ekeín-ou]]**,
Клеарх.M-SG.NOM и art-M.PL.NOM тот-M.SG.GEN,
t-ò dè més-on hoi álloi strategoí.
art-N.SG.ACC ptc средний-N.SG.ACC art-M.PL.NOM остальные полководцы.
«Левый фланг держал Менон и (те, кто) с ним, правый фланг – Клеарх и его (люди), середину же – остальные стратеги» (Xen. Anab. 1, 2, 16.) (Описывается построение войска перед битвой.)

(17) prôt-oi dè Korínthi-oi <metekheíris-an>[14]
первый-M.PL.NOM ptc коринфянин.M-PL.NOM заниматься.AOR–3.PL
[t-à [perì t-às naû-s]]
art-N.PL.ACC касательно art-F.PL.ACC корабль.F-PL.ACC
«Коринфяне первые занялись корабельными делами» (Thuc, 1, 13, 2)

Конструкции такого рода формально неотличимы от обычных эллиптических конструкций. С другой стороны, они чем-то напоминают субстантивацию прилагательных.

Дополнительно рассмотрим несколько примеров без контекста [Соболевский 1948: 250]:

(18) a. [h-oi [perì Sōkrát-ē]]
[art-M.PL.NOM [вокруг Сократ.M-SG.ACC]]
«люди окружающие Сократа, его ученики»
b. [t-à [t-ôn polemí-ōn]]
[art-N.PL.NOM [art-M.PL.GEN неприятель.M-PL.GEN]]
«положение неприятелей»

6.3. Способы описания эллиптических конструкций

В тех случаях, когда существительное в именной группе по какой-либо причине оказывается не нужным, языки мира могут использовать разные стратегии. Нас будут занимать три из них:

(a) замена вершинного имени местоимением,
(b) замена вершинного имени и артикля местоимением,
(c) эллипсис имени с сохранением артикля.

Примеры (*книга на столе* → ~~*книга*~~ *на столе*):

(a) the book on the table → the *one* on the table (англ.)
(b) il libro sul tavolo → *quello* sul tavolo (итал.)
(c) das Buch auf dem Tisch → das _ auf dem Tisch (нем.)

---

[13] Слова dexión, euónymon и meson (букв. *левое, правое* и *среднее*) можно было бы глоссировать и как существительные (*левая.сторона, правая.сторона, середина*).

[14] Фраза упрощена. В оригинале – оборот nominativus cum infinitivo.

Третья стратегия, которая и наблюдается в древнегреческом, допускает несколько теоретических осмыслений. Во-первых, можно постулировать синтаксический нуль на месте вершинного имени; тем самым третья стратегия сводится к первой. Во-вторых, можно предположить, что перед нами не артикль, а омонимичное ему местоимение; тем самым третья стратегия сводится ко второй. В-третьих, можно говорить о настоящем эллипсисе, при котором синтаксическая структура не завершена, содержит пробелы.

Рассмотрим эти варианты по очереди, начиная с последнего.

Близкое родство конструкций с настоящим эллипсисом и квази-эллипсисом не вызывает сомнений. Поэтому, при прочих равных, следует предпочесть такое описание, которое было бы одинаково приложимо к обоим видам конструкций. Но третий способ описания подходит только для случаев настоящего эллипсиса. Следовательно, от него лучше отказаться.

Таким образом, мы остаемся перед выбором между вариантами (a) и (b). Для наглядности возьмем конкретный пример (16) с отрядом Менона:

(19) a. Менон и [ART [с ним] $\varnothing_{\text{люди}}$]
b. Менон и [PRON [с ним]]

Заметим, что аргументы «от перевода», сами по себе слабые, могут служить обеим сторонам. Так, с одной стороны, английский позволяет сделать точную кальку с (19)a: *Menon and those with him*. Но, с другой стороны, тот же английский иногда требует подставить существительное; например, словарь [Liddell-Scott 1996: 1367] переводит (17) словами «naval affairs».

Как бы то ни было, ясно, что при обсуждении эллипсиса нельзя терять из виду атрибутивные группы, и любое теоретическое решение будет иметь последствия для обеих конструкций.

6.4. Субстантивация прилагательных

Процесс субстантивации заслуживает нашего внимания по двум причинам. Во-первых, субстантивацию прилагательного легко спутать с эллипсисом существительного. Во-вторых (что более важно), существует аналогия между прилагательным, которое становится существительным, и атрибутивной группой, которая становится именной группой.

В греческом языке субстантивация проходит особенно легко, потому что существительные и прилагательные склоняются одинаково[15]. Это явление касается не только отдельных слов, но пронизывает всю систему языка. По частоте и регулярности ее можно сравнить с (де-)транзитивизацией глаголов в английском.

Прилагательные систематически различаются по легкости субстантивации, по грамматическому роду, в котором они застывают, а также по характеру семантического сдвига, которому они подвергаются. За вычетом некоторых второстепенных факторов, этот процесс ограничен только лексической семантикой самого прилагательного: никаких внешних препятствий для перехода в существительные обычно нет. Так как именно семантика ограничивает этот процесс, оказывается возможным сформулировать обобщения типа (20):

(20) Все прилагательные семантического класса A могут субстантивироваться в существительные семантического класса B (за исключением...).

---

[15] Некоторые разновидности третьего склонения заняты только одной частью речи. К примеру, тип génos – génous занят существительными, а тип charíeis, charíentos – прилагательными. Но это скорее исключение, чем правило.

Иными словами, можно говорить о систематической омонимии, характеризующей целые лексикографические классы. Так, например, относительные прилагательные, образованные от названий городов и островов, в мужском роде омонимичны существительным – названиям жителей этих мест (Athenaîos *афинский/афинянин*, Sikelós *сицилийский/сицилиец*). Так же обстоит дело с названиями людей по их качествам (pénēs *бедный/бедняк*, typhlós *слепой/слепец*)[16].

Субстантивация в среднем роде наиболее разнообразна по сфере своего применения и по своим результатам. Поскольку обсуждение семантики прилагательных и производных от них существительных может увести нас слишком далеко в сторону, ограничимся несколькими примерами субстантивации во множественном числе среднего рода: agathá «хорошие _» (ценные вещи, имущество), hierá «священные _» (жертвенные дары, священные обряды), polemiká «военные _» (военные вопросы, военное искусство), parónta «присутствующие _» (текущие обстоятельства, положение дел сейчас).

Как видно из примеров, смена части речи сопровождается семантическими сдвигами разной степени тяжести. С одной стороны, происходят переходы типа *хорошее > имущество*, где два значения настолько различны, что их нельзя объединить в одной лексеме. С другой стороны, встречаются и совсем легкие сдвиги. Замыкают ряд местоимения-прилагательные, о словарной субстантивации которых вряд ли можно говорить:

(21) a. tà emá
art-N.PL.NOM мой-N.PL.NOM
«мое имущество, мои обстоятельства»
b. tà toiaûta
art-N.PL.NOM такой-N.PL.NOM
«такого рода вещи, дела или обстоятельства»

Это приводит нас к неутешительному выводу. Субстантивация – *словарный* процесс, а эллипсис (или «квази-эллипсис») – *синтаксическая* конструкция. Казалось бы, они должны различаться. Но оказывается, что при тривиальных семантических сдвигах они неразличимы, и только произвол исследователя может провести между ними четкую границу.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

7.1. Устойчивость АГ

Древнегреческий язык часто описывается как язык со свободным порядком слов. Действительно, в древнегреческих текстах можно найти примеры самого необычного линейного расположения словоформ. Но разумно предположить, что свобода (т.е. хаотичность) в одной части языковой системы должна быть скомпенсирована ужесточением правил в другой части этой системы – иначе язык не смог бы выполнять свои функции.

Поэтому возникает вопрос: где находятся островки стабильности? какие типы составляющих являются неразрывными? Парадоксальный ответ заключается в том, что именная группа (классический пример составляющей) может быть разорвана на куски и разнесена по разным частям предложения; в то время как атрибутивная группа (странное явление, чей синтаксический статус находится под вопросом) гораздо более стабильна.

---

[16] Бывают ситуации, когда одно и то же слово может быть понято и как прилагательное, и как существительное. Так, русские фразы типа '*Алкивиад – красивый*' и '*Алкивиад – красавец*' переводятся на древнегреческий язык одинаково; а в неопределенных ИГ типа *мудрый афинянин/афинский мудрец/мудрец-афинянин/афинянин-мудрец* не всегда ясно, что является вершиной.

7.2. Омонимия АГ

В тех языках, где граница между существительными и прилагательными проведена не слишком отчетливо, может возникать проблема омонимии. Если такой язык допускает свободный порядок слов, проблема встает еще более остро. Локального контекста оказывается недостаточно, и для разрешения омонимии слушатель или читатель должен осмыслить предложение целиком. Например, встретив в латинском тексте форму stultus, читатель должен искать существительное, с которым stultus согласуется по роду, числу и падежу. Если существительное найдено, то, вероятно, перед нами прилагательное *глупый*; если нет – то, вероятно, перед нами существительное *глупец*.

Омонимия такого рода считается лексической и, следовательно, относящейся к сфере интересов лексикографа, а не синтаксиста. Но в древнегреческом языке знакомая проблема омонимии существительных и прилагательных переходит на синтаксический уровень. Мы имеем дело с составляющими, которые ведут себя как «группы прилагательного» или как «группы существительного» в зависимости от контекста.

До сих пор мы говорили о трех разных сущностях (трех конструкциях) и называли их тремя разными способами: (а) атрибутивные группы, (б) определенные именные группы с эллипсисом вершинного имени, (в) продукты субстантивации с артиклем. Эти якобы различные сущности имеют одинаковое внутреннее устройство, хотя по-разному вписаны в окружающий контекст. Вне контекста они неразличимы[17].

7.3. Проблема семантики служебного слова

Морфологические показатели артикля помогают найти существительное-хозяина для несогласованных зависимых; благодаря этому древнегреческий артикль можно сравнить с показателями согласования. Кроме того, он отмечает левую *границу* синтаксической группы – указание далеко не лишнее в любом языке, тем более в языке со свободным порядком слов.

И если бы артикль был лишен всякого семантического содержания, было бы легко анализировать его функции. Можно было бы рассматривать его как подсказку для слушающего со стороны говорящего, как указание на правильный способ сегментации фразы. С другой стороны, если бы артикль не был нагружен посторонними функциями, можно было бы спокойно рассматривать его как слово, относящееся к известному семантическому типу и вносящее свой вклад в построение семантической структуры фразы.

Проблема возникает оттого, что артикль имеет вполне определенную семантику, но при этом является служебным словом и зачастую *используется* в таких целях, которые не имеют к его семантике никакого отношения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Кибрик 1999 – *А.Е. Кибрик* (ред.). Элементы цахурского языка в типологическом освещении. М., 1999.

Кибрик 2003 – *А.Е. Кибрик*. Внешний посессор в русском языке // А.Е. Кибрик. Константы и переменные языка. СПб., 2003.

Соболевский 1948 – *С.И. Соболевский*. Древнегреческий язык. Учебник для высших учебных заведений. М., 1948 (репринт: СПб., 2000).

Denniston 1952 – *J.D. Denniston*. Greek prose style. Oxford, 1952.

Devine, Stephens 2000 – *A.M. Devine, L.D. Stephens*. Discontinuous syntax: Hyperbaton in Greek. Oxford, 2000.

Dik 1995 – *H. Dik*. Word order in Ancient Greek: A pragmatic account of word order variation in Herodotus. Amsterdam, 1995.

Dover 1960 – *K.J. Dover*. Greek word order. Cambridge, 1960.

Liddell, Scott 1996 – *H.G. Liddell, R. Scott*. A Greek-English lexicon. 9th ed., with revised supplement. Oxford, 1996.

Payne, Barshi 1999 – *D.L. Payne, I. Barshi* (eds.). External possessor. Amsterdam; Philadelphia, 1999.

---

[17] Требуемый контекст может быть нелокальным; например, на уровне предикации, или даже дискурса.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 2008 г. П.В. ИОСАД

ТЕОРИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ: ОБЗОР ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В настоящей работе предлагается обзор основных направлений в рамках теории оптимальности (далее ТО) – фонологической модели, получившей большую популярность в последние 15 лет и нашедшей свое применение не только в фонологии. Показана связь проблематики ТО с вопросами, обсуждавшимися в рамках фонологических теорий 1970–1980-х годов, а также новые направления развития ТО. В частности, в работе указаны проблемы, которые в рамках ТО были впервые поставлены или стали решаться новыми способами, такие как проблема усвоения грамматики из доступных данных или роль обобщений над поверхностными формами. Кратко обсуждаются задачи, к решению которых ТО до сих пор успешно не применена, в особенности проблемы «непрозрачности».

Теория оптимальности (англ. Optimality Theory) – направление, в последнее десятилетие приобретшее большую популярность в западной лингвистике, но в России, к сожалению, практически неизвестное (ср., однако, [Князев 1999]). Между тем именно в рамках теории оптимальности сейчас ставятся и решаются многие проблемы, для которых принятые ранее теории не могли найти удовлетворительного решения – а иногда и вовсе их не ставили всерьез.

Цель предлагаемого обзора – дать читателю представление об основных положениях этой теории, ее сильных (и некоторых слабых) сторонах и направлении ее развития. Он ни в коем случае не претендует на какую-либо полноту (тем более что в некоторых областях полный обзор проблематики ТО совпал бы с обзором всей литературы вопроса за последние десять-пятнадцать лет), но можно надеяться, что он поможет читателю лучше ориентироваться в некоторых активно обсуждаемых в настоящее время проблемах лингвистической теории.

Первая оговорка, которую необходимо сделать, – ТО, вообще говоря, не является собственно фонологической или даже собственно лингвистической «теорией» в том смысле, в какой теориями являются, к примеру, пражская фонология или теория управления и связывания. Теория оптимальности – это скорее некий достаточно общий алгоритм принятия решений, имеющий широкое лингвистическое применение. При этом, будучи алгоритмом, то есть объектом математической теории, он имеет и нетривиальные математические свойства, что позволяет искать новые подходы ко многим давним проблемам (ср. [Broekhuis, Vogel 2006], где обсуждается связь ТО и теории минимализма, а также многочисленные работы по компьютерным приложениям алгоритмов ТО). Тем не менее в дальнейшем изложении мы сосредоточимся именно на лингвистической стороне проблемы, памятуя, однако, о необходимости в некоторых случаях различать ТО как алгоритм и «специальную ТО», то есть его лингвистическое приложение.

Вторая важная оговорка относится не только к теории оптимальности, но и вообще к путям развития фонологии на Западе (да и, вероятно, не только) в последние десятилетия. Развитие фонологии, как, пожалуй, никакой другой лингвистической дисциплины, направлялось в первую очередь работой над весьма конкретными классами задач. По меткому выражению Р. Лэсса, сделанному в его добротном, хотя и несколько устаревшем учебнике [Lass 1984], «phonology is essentially a problem-driven discipline». Так, можно сказать, что в некоторых направлениях структуралистской фонологии такими «направляющими» темами были устройство фонемного инвентаря (ср. хотя бы работы А. Мартине [Martinet 1956]) и природа процесса нейтрализации, в связи с которой можно вспомнить не только дискуссию Московской и Ленинградской фонологических школ, но и работы поздних американских дескриптивистов. Такие «горячие темы» появлялись и позже: после появления основополагающей работы [Chomsky, Halle 1968] на первый план вышел вопрос о допустимой степени абстрактности фонологических представлений, в дискуссии по которому «классической» порождающей фонологии, допускавшей весьма абстрактные «промежуточные» репрезентации, противостояло, скажем, такое течение, как «естественная порождающая фонология» [Hooper 1976]. С другой стороны, развитие абстрактных репрезентационных теорий привело к такому важнейшему достижению, как появление автосегментной фонологии. В начале 1980-х годов с развитием лексической фонологии внимание исследователей обратилось к проблемам уровневых представлений и упорядочения правил, а также взаимодействия (мор)фонологии с морфологическими процессами, в первую очередь различными типами аффиксации. Хороший обзор этой проблематики дается в работе [Anderson 1985], ср. также [Кодзасов, Кривнова 1982].

Теория оптимальности также обязана своим появлением обсуждению такой «горячей темы», а именно дискуссии о так называемой просодической морфологии. К середине 1980-х годов важное место в фонологической литературе начали занимать формальные описания таких явлений, как редупликации, усечения и им подобные; с другой стороны, с развитием метрической теории слогоделения и ударения привели к развитию теории «просодических»[1] единиц, которая оказалась весьма полезной для формулирования обобщений относительно упомянутых (мор)фонологических процессов. Весьма влиятельным оказалось понятие шаблона, то есть образца, к которому «должно было» прийти промежуточное представление. Так, для санскритской редупликации *du-druv-* в работе [Steriade 1988] предлагался следующий механизм порождения:

Исходные данные: *druv*, редупликация, шаблон CV
Правило 1 (полная редупликация): *druv* → *druv-druv*
Правило 2 (приспособление к шаблону):
Правило 2.1 (устранение кластера в приступе слога): *druv-druv* → *duv-druv*
Правило 2.2 (устранение коды): *duv-druv* → *du-druv*

Очевидно было, что объяснительная сила такой теории весьма невелика: в первую очередь неясно, почему шаблоны имеют ту форму, которая действительно встречается (а набор таких форм оказался совсем невелик). Однако ценность этого подхода заключалась в том, что в его рамках внимание исследователей было обращено не только (и, может быть, даже не столько) на абстрактные промежуточные стадии деривации, сколько на реальные ограничения, действие которых можно непосредственно наблюдать в засвидетельствованных формах.

Изначально теория оптимальности развивалась как раз для рассмотрения этих проблем (в чем можно убедиться, рассмотрев примеры в основополагающей работе [Prince,

[1] Точнее, вероятно, было бы называть их «супрасегментными»: речь идет о просодии в некотором широком смысле, как о комплексе явлений, затрагивающих единицы, отличные от сегмента (мора, слог, стопа и т.д.).

Smolensky 1993/2004]. Об этой «родовой травме» стоит помнить при чтении настоящего обзора. С ней связано не только то, что большая часть работ в рамках ТО, особенно ранних, посвящена таким, казалось бы, маргинальным вопросам, как форма редупликанта или механизм усечения в уменьшительных именах. Вероятно, именно своей истории ТО обязана тем, что в ее рамках только сейчас ставятся или не ставятся вовсе[2] проблемы, центральные для других теорий.

Итак, перейдем к изложению основных положений самой теории оптимальности. Цели, которые преследовали ее создатели, можно сформулировать следующим образом: создать такую теорию, которая при минимальном числе произвольных исходных допущений позволяла бы делать максимально точные предсказания относительно форм, возможных в человеческом языке; при этом к теории предъявляются дополнительные требования. Помимо стандартного набора (экономичность, формализованность, «простота» и др.) важную роль играла возможность моделировать усвоение языка. Речь здесь идет в первую очередь о том, чтобы уметь по набору исходных данных построить «правильную» (порождающую формы, в идеале полностью соответствующие наблюдаемым) грамматику, т.е. набор правил в соответствующем формализме. Напомним, согласно постулатам генеративного направления именно «умение» данной теории порождать все правильные формы, не порождая неправильных, является критерием так называемой эмпирической адекватности модели. При этом объяснительная адекватность, то есть соответствие модели реальным процессам в сознании говорящего, требует также моделирования других когнитивных процессов, к которым несомненно относится и усвоение языка.

Общий алгоритм, описывающий порождение форм в теории оптимальности, таков. На вход подается некая форма, которая берется из словаря. Эта форма является «глубинным» представлением (underlying representation), или просто «входом» (input). Для каждой такой формы порождается множество потенциальных кандидатов (т.е. тех форм, которые могут оказаться соответствующими данному входу на уровне поверхностных представлений). Это множество является потенциально бесконечным, то есть в него входят все мыслимые фонологические представления, причем это верно для всех языков. Иными словами, и для русского глубинного представления [knʲiga], и для нидерландского [buk] в качестве кандидата рассматривается, скажем, последовательность [in|wadi] – другое дело, что по целому ряду причин этот кандидат не является «победителем». Модуль порождения кандидатов называется Gen.

Следующий модуль после Gen – Eval, или модуль оценки. Его можно представить как функцию от двух аргументов, один из которых – пара <вход, кандидат$_n$>, а второй – кортеж из так называемых ограничений (constraints). На ограничениях определено транзитивное отношение доминирования (domination), задающее их порядок (в идеале – совершенный, то есть такой, в котором каждое ограничение доминирует над последующим, но подавлено предыдущим, а ситуация типа W > X, Y > Z[3] запрещена).

Для каждой пары <вход, кандидат$_n$> и каждого ограничения можно сказать, сколько раз данная пара это ограничение нарушает. После оценки каждого кандидата проводится их сравнение. Чтобы данный кандидат оказался «победителем» (т.е. предсказываемой поверхностной формой) необходимо и достаточно, чтобы он наименьшее число раз нарушал наиболее высоко ранжированное ограничение (если два кандидата равное число нарушают некое ограничение, решение принимается на основании тех, что ранжиро-

---

[2] Можно было бы сказать: «замалчиваются». Но это, вероятно, будет не вполне справедливо: дело как раз в том, что фонология развивается вокруг своеобразных «точек роста», и, если какая-то проблема (быть может, весьма существенная) не попадает в зону внимания исследователей, вовсе не обязательно подозревать здесь умысел.

[3] W доминирует над X и над Y, X и Y оба доминируют над Z (тогда в силу транзитивности W доминирует над Z), но неизвестно, X > Y или Y > X (легко убедиться, что обе гипотезы непротиворечивы).

ваны ниже). Здесь наиболее существенно, что общее количество нарушений не столь важно, как ранг самого высокого из тех ограничений, которые данная форма нарушает: даже если кандидат F1 нарушает низко ранжированное ограничение C1, скажем, семь раз, но не нарушает высоко ранжированное ограничение C2, он является оптимальным по сравнению с кандидатом F2, нарушившим C2 и вовсе не нарушившим C1. Эта логика называется строгой доминацией (strict domination).

Обычно процедура выбора представляется в виде специальной таблицы (tableau), в наглядном виде представляющей этот процесс. В левом верхнем углу традиционно пишется вход. Каждая колонка соответствует одному ограничению: расположены они слева направо в порядке убывания ранга. Строки соответствуют кандидатам. Каждое нарушение одного ограничения кандидатом маркируется знаком * в соответствующей клетке: здесь существенно, что нарушений может быть и больше одного, к примеру, форма с двумя закрытыми слогами дважды нарушает ограничение NoCoda («коды запрещены» = «закрытые слоги запрещены»).

Согласно логике строгого доминирования, если некий кандидат нарушает какое-либо высоко ранжированное ограничение (и есть кандидаты, это ограничение не нарушающие), он выбывает из рассмотрения, так как количество нарушений не столь важных ограничений несущественно. В таблице это обозначается затенением всех клеток «низких» ограничений.

Приведем пример такой таблицы (из работы [Akinlabi 1996]), иллюстрирующей «мобильную» лабиализацию в одном из диалектов эфиосемитского языка гураге. Согласно А. Акинлаби, форма типа *näk^{w}äs* 'укусил его' порождается из соположения глубинных представлений *näk^{w}äs* 'укусил' и [round] (фонологический признак) '3sg объекта'. Также в языке гураге действуют следующие ограничения:

- *COR / LAB «если сегмент имеет спецификацию [coronal], он не может иметь спецификацию [labial]», что в терминах сегментного набора гураге означает запрет на лабиализованные переднеязычные;
- PARSEMORPH «все морфемы, присутствующие в глубинном представлении, должны иметь ненулевое соответствие в поверхностном представлении»;
- ALIGN-R[ROUND] «признак [round] должен реализоваться на правом краю морфологической основы».

Таблица 1

näkäs, [round]	*COR/LAB	PARSEMORPH	ALIGN-R[ROUND]
näkäs		!*	
☞ *näk^{w}äs*			*
näkäs^{w}	!*		

Ранжирование ограничений в этом примере таково: *COR/LAB ≫ PARSEMORPH ≫ ALIGN-R[ROUND]. Как можно видеть, хотя оптимальный кандидат *näk^{w}äs* нарушает ограничение Align-R (так как [round] не реализуется на правом краю основы), этот факт уже не является существенным для процедуры выбора: два других кандидата уже не могут быть рассмотрены в силу того, что нарушают более высоко ранжированные ограничения, – один не имеет никакого лабиализованного сегмента, то есть в нем нет соответствия морфеме, состоящей из признака [round], а другой содержит запрещенный ограничением *COR/LAB лабиализованный переднеязычный сегмент.

Здесь возникает законный вопрос: если потенциальное множество кандидатов бесконечно, как исследователь выбирает те, которые он рассматривает? Очевидно, что здесь открывается обширное пространство для произвола, на что неоднократно указывалось в литературе: ведь в конечном счете множество реально рассматриваемых кандидатов в

таком случае определяется лишь доброй волей лингвиста. Как показывает опыт, зачастую в множество рассматриваемых кандидатов действительно могут не попадать те, которые могут опровергнуть предложенную теорию: разбору одного такого случая посвящена работа [Karttunen 2006], где, впрочем, предлагается основанный на теории конечных автоматов механизм порождения множества кандидатов.

Нулевая гипотеза теории оптимальности звучит так: различия между языками сводятся к разнице в ранжировании ограничений, набор которых универсален. Одно из важных дополнительных предположений заключается в том, что эти различия не могут объясняться путем введения дополнительных произвольных ограничений на структуру входов (глубинных форм). Этот постулат, имеющий в литературе название «богатство базы» (Richness of the Base), весьма важен для понимания разницы между ТО и многими деривационными подходами, в первую очередь классической порождающей фонологии. В статье [McCarthy 2004a], где подробно разбирается важность «богатства базы», эта разница формулируется примерно так: если в порождающей фонологии бремя доказательства несла не только деривация (то есть собственно правила и порядок их применения), но и исходная репрезентация (формализуемая, например, в виде ограничений на морфемную структуру (Morpheme Structure Constraints – MFCs)), то в ТО – по предположению – для объяснения различий между языками достаточно указать на разницу в деривации (порядке ограничений). Предполагается, что c e t e r i s p a r i b u s (т.е. при равной объяснительной адекватности и т.д.) ТО лучше удовлетворяет условию бритвы Оккама: она не требует накладывать специальные условия на глубинные представления. Это значит, что вопрос о природе глубинных представлений вовсе не относится к компетенции лингвистической теории, а тогда в связи с ним нельзя сделать «лишних» допущений.

Практическое следствие «богатства базы», согласно цитированной статье Дж. Маккарти, должно заключаться в следующем. Коль скоро мы не имеем права a priori предполагать, что поверхностная форма выглядит именно так, как нужно, чтобы наша гипотеза оказалась верной, необходимо, проверяя свое предположение, провести дополнительную работу. Работа эта заключается в том, чтобы убедиться: если предположить другую глубинную форму, предложенное ранжирование ограничений не предскажет неверную форму. Если возвратиться к примеру из гураге выше, это значит, что предлагаемое ранжирование не должно, исходя из глубинной формы, скажем, **näkäsw* (а не *näkäs*, [round]), предсказать существование невозможной формы **näkäsʷ*. Стоит, однако, отметить, что, к сожалению, такая проверка проводится далеко не всегда (но эту претензию стоит предъявлять, конечно, не самой теории, а автору исследования). С другой стороны, сам постулат «богатства базы» в последнее время подвергается обоснованной критике: в первую очередь потому, что, по всей видимости, достаточно ограничить мощность множества предсказываемых языков путем одного переранжирования ограничений невозможно.

Здесь нужно подчеркнуть одно свойство ТО, которое ее сторонники считают весьма существенным: по своей природе теория оптимальности – теория т и п о л о г и ч е с к а я. Во-первых, это следует понимать в достаточно прямолинейном смысле: ТО может (в идеале) предсказать все разнообразие возможных языков (если предположить, что число ограничений конечно, очевидно, что и число их перестановок конечно, а каждая перестановка задаст возможную грамматику). Мощность множества этих грамматик, конечно, очень велика (на что упирают критики), но она все же меньше мощности множества тех грамматик, что теоретически способна предсказать деривационная теория, вооруженная такими мощными инструментами, как сам механизм правила[4], явное задание их порядка (extrinsic ordering) и потенциально неограниченное число уровней деривации (и это, по заверениям сторонников ТО, уже достижение).

---

[4] Ничто не запрещает предположить такое правило, как, скажем, b → x/V_t', хотя типологически оно выглядит в высшей степени неестественно.

Прежде чем обратиться ко второму аспекту «типологичности» ТО, необходимо рассмотреть виды ограничений и способы их обнаружения: очевидно, что именно число ограничений определяет мощность множества предсказываемых языков, и в то же время именно здесь открыт наибольший простор для произвола исследователя. Действительно, если гипотеза хороша всем, кроме того, что реально наблюдаемая форма в ее рамках является не оптимальной, но «второй по оптимальности», велик соблазн ad hoc ввести некое ограничение, единственный смысл которого: запретить неудобный кандидат. При этом набор ограничений, напомним, универсален, то есть ограничение, постулируемое для английского языка, будет присутствовать (может быть, с очень низким рангом) и в варлпири, и в арабском, и в русском.

В «классической» ТО все ограничения делятся на две большие группы: ограничения на соотношение между глубинной и поверхностной формой (faithfulness constraints, ограничения «преданности»[5]) и ограничения на структуру поверхностной формы (markedness constraints, ограничения маркированности).

Ограничения преданности в первую очередь отвечают за то, чтобы глубинная и поверхностная форма были «достаточно похожи» (необходимость такой похожести в рамках ТО является аксиомой, хотя, строго говоря, этот вопрос может требовать дополнительного обсуждения). Сюда входит как «похожесть» (а лучше – идентичность) сегментов и их признаковой структуры, так и, к примеру, постулат «постоянного выражения [морфологических категорий]» (consistency of exponence), который гласит, что сегменты[6] не могут при переходе от глубинной к поверхностной форме менять свою морфологическую принадлежность [van Oostendorp 2007].

Что касается формализации ограничений преданности, то в разных версиях ТО существуют разные мнения на этот счет. Изначально А. Принс и Дж. Маккарти предполагали, что глубинная и поверхностная форма связаны отношением вхождения (глубинная форма «содержалась»[7] в поверхностной). Позже в работе [McCarthy, Prince 1995] была предложена так называемая теория соответствия (correspondence theory), предполагавшая между элементами входа и выхода отношение соответствия (подробнее об этом см. ниже). В последнее время в некоторых работах (например, у М. ван Остендорпа) можно встретить предложения вернуться к теории вхождения, в частности для описания нетривиальных чередований, ограниченных теми или иными морфологическими соображениями (которые никогда не были для ТО сильным местом).

Однако гораздо более яркую особенность ТО представляет предлагаемое в ее рамках понимание маркированности. Мы не будем здесь обсуждать развитие понятия маркированности в разных теориях, отметим лишь, что в рамках ТО она понимается не только чисто формально (как у Трубецкого – наличие положительного значения признака в рамках привативной оппозиции) – в понятие «маркированности» вкладывается достаточно серьезное содержание. В частности, ТО предсказывает, что «маркированные» феномены будут встречаться в языках мира реже немаркированных. Однако «диагностический признак» маркированности – отнюдь не в этом.

Маркированность играет в ТО роль «противовеса» преданности. В частности, в статье [Moreton 1994] показано, что практически все фонологические процессы (за исключением сравнительно редких вроде метатез) связаны исключительно либо с выигрышем в преданности (то есть созданию «нехороших» с точки зрения условий на поверхностное представление структур, лучше удовлетворяющих требованиям близости глубинной и поверхностной форм), либо с созданием менее маркированных структур, отклоняющихся от глубинных.

Таким образом, ТО является инструментом непосредственной формализации давно известного в лингвистике конфликта необходимости различать формы (потребность

---

[5] Этот русский вариант термина, кажущийся нам удачным, принадлежит С.Г. Татевосову.

[6] И шире – автосегменты, неассоциированные признаки и пр.

[7] Contained. Отсюда название этой теории – Containment theory.

слушающего) и создавать «несложные» структуры (потребность говорящего). Как справедливо замечает М. Хаспельмат [Haspelmath (в печати)], в этом смысле ТО занимает промежуточную позицию между формальным («генеративистским») и функционалистским подходом.

Тот факт, что маркированность является противовесом преданности, подводит нас к способу формулирования связанных с ней ограничений. Напомним, что грамматика каждого языка соответствует некоторому ранжированию универсальных ограничений, а разные грамматики получаются путем смены рангов. Тогда очевидно следующее: если мы предположим, что в универсальном наборе существует некое ограничение C1, дающее в языке L (при ранжировании R) определенный эффект, то, изменив R, мы получим новый язык L', предсказуемо отличный от L. Если окажется, что таких языков L' не существует, вероятнее всего, ограничение C1 не должно использоваться при анализе, и vice versa.

Так, например, в работе [Beckman 1998] обосновывается необходимость специального ограничения MAX($\bar{V}$) «Каждый долгий гласный в глубинной форме имеет соответствие в поверхностной», отличного от более общих Max(V) («сохраняются все гласные независимо от долготы») или MaxSeg («сохраняются все сегменты»). Обосновывается это следующим образом.

Предположим, что ограничение MAX($\bar{V}$) существует. Оно может быть активно в фонологических процессах, управляющих удалением гласных (синкопа/апокопа). Сами эти процессы связаны с соображениями маркированности, в первую очередь маркированности метрической структуры: синкопа и/или апокопа создают «лучшие» (более короткие) стопы и/или слова. Ограничения, отвечающие за эти процессы, кратко обозначим FtStruc (здесь неважно, какой в точности механизм действует, если он действительно приводит к ожидаемым эффектам). Очевидно, в языках без апокопы FtStruc ранжировано достаточно низко – по крайней мере ниже Max(V), что уже достаточно для отсутствия соответствующих процессов в фонологии данного языка.

Теперь проведем мысленный эксперимент и посмотрим, какие языки предсказываются различными переранжированиями этих трех ограничений. Пусть FtStruc требует синкопы второго гласного в последовательности трех открытых слогов. Сравним поведение гипотетических слов с долгим и кратким гласным во втором слоге при разных ранжированиях (табл. 2):

Таблица 2

FTSTRUC ≫ MAX(V) ≫ MAX($\bar{V}$)

tatāta	*FTSTRUC	MAX(V)	MAX($\bar{V}$)
☞ *tatta*		*	*
tatata	!*		*
tatāta	!*		

tatata	*FTSTRUC	MAX(V)	MAX($\bar{V}$)
☞ *tatta*		*	*
tatata	!*		
tatāta	!*		

Как легко видеть, если маркированность ранжирована выше преданности для всех типов гласных, процесс, за который «отвечает» высоко ранжированное ограничение, проходит во всех формах – и с кратким, и с долгим гласным. Такой естественный язык вполне представим. Легко убедиться, что перестановка низко ранжированных ограничений (FTSTRUC ≫ MAX($\bar{V}$) ≫ MAX(V)) в этом случае никакого видимого эффекта иметь не будет (однако см. ниже о «возникновении немаркированности»).

Теперь рассмотрим тот случай, когда ограничение преданности MAX(V) ранжировано выше маркированности FTSTRUC, а та, в свою очередь – выше MAX($\bar{V}$) – см. табл. 3.

Таблица 3

MAX(V) ≫ FTSTRUC ≫ MAX($\bar{V}$)

tatāta	MAX(V)	*FTSTRUC	MAX($\bar{V}$)
tatta	!*		*
☞ *tatata*		*	
☞ *tatāta*		*	

tatata	MAX(V)	*FTSTRUC	MAX($\bar{V}$)
tatta	!*		
☞ *tatata*		*	
tatāta		*	

Здесь сразу выпадает из рассмотрения кандидат, удовлетворяющий требованиям маркированности и потому отклоняющийся от глубинной формы; что касается долготы гласного, то ограничение MAX($\bar{V}$) попросту не может играть никакой роли, так как оно не говорит ничего о кратких гласных и не сообщает, каким именно должно быть соответствие долгому гласному (напомним, это ограничение требует лишь, чтобы такое соответствие существовало). Таким образом, этих трех ограничений недостаточно, чтобы решить, какой из кандидатов окажется оптимальным. Здесь нужно привлечь данные о ранжировании других ограничений (в данном случае – DEP-μ, «каждая мора в поверхностном представлении имеет соответствие в глубинном», проще говоря – «вставка мор запрещена») в интересующем нас языке[8]. Таким образом, приведенное ранжирование задает язык, в котором синкопа вовсе не происходит (что, конечно, типологически вполне обычно). Опять-таки легко убедиться, что ранжирования MAX(V) ≫ MAX($\bar{V}$) ≫ FTSTRUC и MAX($\bar{V}$) ≫ MAX(V) ≫ FTSTRUC (иначе говоря, все, где маркированность ранжирована ниже «общей» преданности) приводят к тому же результату.

Наконец, самый интересный случай: такое ранжирование, при котором «позиционная преданность» (т.е. ограничение преданности, касающееся ограниченного класса объектов, в нашем случае долгих гласных) ранжирована выше маркированности (см. табл. 4).

---

[8] Логически представимо, чтобы ограничение DEP-μ по той или иной причине было неактивно: в таком случае принято считать, что две формы находятся в отношении свободного варьирования.

Таблица 4

MAX($\bar{V}$) ≫ FTSTRUC ≫ MAX(V)

tatāta	MAX($\bar{V}$)	*FTSTRUC	MAX(V)
tatta	!*		*
☞ *tatata*		*	
☞ *tatāta*		*	

tatata	MAX($\bar{V}$)	*FTSTRUC	MAX(V)
☞ *tatta*			*
tatata		!*	
tatāta		!*	

Это ранжирование приводит к ожидаемому результату: «позиционная преданность» «спасает» долгие гласные от синкопы, притом что «в общем случае» (при кратких гласных) синкопа действительно происходит, и в таких языках, как показала Дж. Бекман, недостатка также нет.

Таким образом, переранжирование небольшого числа ограничений предсказывает как раз то типологическое разнообразие, которое наблюдается в языках мира, и это серьезный аргумент в пользу того, что именно эти ограничения являются частью универсального набора.

Как можно убедиться, рассмотренный нами механизм имеет весьма широкую применимость. В рамках ТО возможно несколько вариантов взаимодействия маркированности и преданности[9].

1. Маркированность ранжирована выше преданности: эффект, требуемый данным ограничением маркированности, наблюдается во всех поверхностных формах данного языка (в литературе такие явления иногда называются surface-true generalizations): см. табл. 2.
2. Преданность ранжирована выше маркированности: эффект, требуемый ограничением маркированности, при отсутствии сторонних факторов не наблюдается; см. табл. 3.

Кроме того, существует два смешанных случая, один из которых мы проиллюстрировали в табл. 4. Пусть F – ограничение преданности, M – ограничение маркированности, и эти ограничения каким-то образом взаимодействуют.

3. $F_1 \gg M \gg F_2$, причем F_1 действует в подмножестве контекстов[10] действия F_2 (см. табл. 4). В этом случае эффект, требуемый ограничением M, будет наблюдаться только в тех контекстах, где действует F_2, но не F_1 – это и называется «позицион-

[9] Напомним, речь не идет о «глобальном ранжировании» типа «все ограничения маркированности ранжированы выше всех ограничений преданности»: каждый раз рассматривается несколько ограничений, каждое из которых относится к одному из двух классов.

[10] В противном случае мы попросту имеем дело с частным случаем того, что описано в пункте 2.

ной преданностью», то есть сохранением глубинной формы в определенных позициях.

4. $F_1 \gg M \gg F_2$, причем есть контексты, где применимо F_2, но не F_1. Этот случай имеет специальное название – «возникновение немаркированности» (the emergence of the unmarked, TETU; см. [McCarthy, Prince 1994]). В этом случае эффект, требуемый ограничением M, наблюдаться почти никогда не будет, так как ограничение F_1 запрещает отклоняться от глубинной формы. Если же мы предположим, что в каком-то контексте ограничение F_1 не действует, то нам останется рассмотреть ранжирование более низких ограничений, а там мы наблюдаем ситуацию, описанную в пункте 1: требования маркированности доминируют над преданностью. Таким образом, низко ранжированные ограничения вовсе не обязательно являются полностью неактивными: напротив, они могут оказывать существенное влияние на поверхностные формы.

Наиболее яркие примеры «возникновения немаркированного» известны из различных типов редупликаций, в которых достаточно «неудобные» структуры допустимы в базе, но не в редупликанте. Предполагается, что в базе действуют ограничения преданности (так как основа имеет лексическое наполнение), а в редупликанте – нет (так как в нем нет лексически заданных сегментов, все они являются копией соответствующего материала из базы). Известен пример из языка нутка, где редупликант имеет форму CV. В нутка действует следующее ранжирование: MAX-IO ≫ NOCODA ≫ MAX-BR, где MAX-IO требует, чтобы все сегменты входа имели соответствие в выходе, NOCODA запрещает закрытые слоги, а MAX-BR требует, чтобы все элементы базы копировались в редупликант (RED – пустая с точки зрения сегментного состава редупликативная морфема), см. табл. 5.

Таблица 5

RED-*čims'i:ħ*	MAX-IO	NOCODA	MAX-BR
☞ *či-čims'i:ħ*		**	****
čim-čims'i:ħ		**!*	***
čims'i:-čims'i:ħ		**!*	*
čims'i:ħ-čims'i:ħ		**!**	

Легко убедиться, что в нередуплицированной форме ограничение NOCODA неактивно, так как любое усечение нарушало бы ранжированное выше MAX-IO[11].

Вернемся к вопросу об оправданности введения тех или иных ограничений. Поскольку известно, к каким эффектам приводят те или иные виды переранжирования, мы можем, выдвигая гипотезу о существовании в универсальном наборе того или иного ограничения, проверить ее типологически. В самом деле, если бы, скажем, вместо MAX($\overline{V}$) мы попытались ввести ограничение Max($\overline{V}$)[12], «защищающее» краткие гласные, мы ожидали бы существования таких языков, где процессы вроде синкопы затрагивали бы долгие, но не краткие гласные, а такие языки не засвидетельствованы.

Итак, в ТО существует два типа ограничений: ограничения преданности, обеспечивающие близость глубинных и поверхностных форм, и ограничения маркированности, формализующие требования к структуре форм в фонологическом представлении.

[11] Очевидно, DEP-IO (запрет на вставку сегментов) также ранжировано достаточно высоко, иначе имелись бы формы без закрытых слогов типа **čimis'i:ħi*.

[12] Это рассуждение приводится в [McCarthy 1998].

Ограничения маркированности обыкновенно имеют вид запретов на «неудобные» структуры. Строго говоря, вопрос о том, почему та или иная структура является «маркированной» (в смысле ТО), чисто формален – структура является таковой, если ее запрещает некоторое универсальное ограничение, а набор ограничений выводится, как мы видели, исключительно на основе эмпирических данных. Тем не менее ясно, что на деле ограничения маркированности позволяют формализовать как раз те свойства, которые в других фонологических теориях часто приходится постулировать как присущие маркированным (в традиционном смысле) единицам. Иначе говоря, эти свойства вытекают из более общих свойств всей грамматики (системы ранжированных ограничений), а не из частных аксиом.

Известный пример такого рода явления – факториальная типология слога. Еще Якобсон показал, что типов позволенных слогов в языках мира всего четыре:

1. (C)V(C) (английский, русский);
2. CV(C) (йокуц);
3. CV (сенуфо);
4. (C)V (гавайский).

При этом логически таких типов возможно девять, то есть пять типов разрешенной слоговой структуры не засвидетельствовано ни в одном языке (например, не существует языков, в которых слоги обязательно закрыты, но необязательно прикрыты ((C)VC).

В [Prince, Smolensky 1993/2002] типология слога разобрана весьма подробно. Там показано, что если принять три основных ограничения: преданность (F)[13], NoCoda (закрытые слоги запрещены) и Onset (неприкрытые слоги запрещены), то их факториальная типология предсказывает в точности засвидетельствованное варьирование (см. табл. 6).

Таблица 6

Ранжирование	Тип языка
F ≫ Onset, NoCoda	(C)V(C)
Onset ≫ F ≫ NoCoda	CV(C)
Onset, NoCoda ≫ F	CV
NoCoda ≫ F ≫ Onset	(C)V

При этом, как отмечают Принс и Смоленский, есть существенная разница между традиционным анализом (согласно которому принципы наподобие NoCoda и Onset в соответствующих языках не подавлены, а попросту отсутствуют). Так, для языков, в которых ограничение Onset не является недоминированным (то есть существуют и слоги без приступов), его действие все же можно наблюдать: например, именно оно отвечает за тот факт, что последовательность CVCV делится на слоги как .CV.CV. (а не, скажем, логически вполне возможное .CVC.V.).

Таким образом, теперь типологию слогов в языках мира можно задавать не списком, а как следствие определенного ранжирования универсальных элементов. Остается, однако, вопрос: почему нельзя сделать того же с помощью деривационных теорий, основанных на правилах?

В работе [Hammond 1997] на этом примере указано на очень важное свойство ТО, которое является едва ли не главной отличительной особенностью этой теории: деривационные теории ориентированы на структуру г л у б и н н о г о представления, а для ТО гораздо важнее п о в е р х н о с т н а я форма. Вообще говоря, структура глубинного

[13] У Принса и Смоленского типология более дробна, но для наших целей достаточно и этого.

представления в ТО вовсе не важна, при условии, что грамматика адекватна данным. Разобранный выше постулат «богатства базы» можно сформулировать так: «О глубинных формах нельзя сказать ничего существенного». Для деривационных теорий, напротив, (не)применимость правила и его действие определяются свойствами входа («более глубинного» представления) и контекста (существующего на том же уровне деривации, что и вход).

При этом очень многие феномены поддаются гораздо более простому и экономному описанию при ориентации именно на поверхностную форму. В деривационной фонологии эта проблема получила название проблемы заговоров (conspiracies): деривационной анализ требует введения нескольких разнотипных правил, приводящих к появлению некоторой весьма просто описываемой структуры. Проблема здесь состоит в том, что «простое», интуитивное объяснение («существует определенное ограничение на поверхностную структуру») в рамках деривационного подхода оказывается несущественным следствием применения системы никак не связанных правил, зачастую весьма сложной. В [Kager 1999] это формулируется так: «...ТО предсказывает, что некое ограничение маркированности может приводить к различным типам структурных изменений, в зависимости от взаимодействия с ограничениями преданности. Таким образом, в разных языках могут применяться разные "стратегии исправления" для достижения одной и той же цели в поверхностной форме... Напротив, деривационная теория не может предсказать подобного функционального единства процессов, поскольку в ней не существует формального способа представить понятие "цели" фонологического правила»[14]. Так, например, в языке кваньяма (группа банту, R20 по Гасри) запрещены сочетания «носовой + глухой смычный» и существуют два способа их избежать: озвончение глухого (как в *sitamba* «печать», из англ. *stamp*) и прогрессивная ассимиляция (как в *onana* «теленок», морфологически *on-tana*). Очевидно, что в рамках деривационной теории потребовалось бы два никак не связанных правила, что только затемнило бы достаточно ясную картину (подробнее об этом случае см. [Kager 1999: 83–86]). Еще один пример подобного «заговора» приведен в [Hammond 1997: 46–50] и связан с синкопой в разговорном английском: согласно Хэммонду, деривационный анализ требует постулирования трех правил, в то время как простейшее описание (достаточно легко формализуемое в ТО) связано с тем, какая структура представлена в поверхностной форме (проще говоря, важнее не то, что было до синкопы, а то, к чему она привела).

Еще один аспект, связанный с ориентацией на поверхностную форму, – решение так называемой «проблемы дублирования» (duplication problem), связанной с существованием в порождающей фонологии не только собственно деривационных правил, но и «ограничений на структуру морфемы» (morpheme structure constraints). Эти ограничения были введены как способ формализации статических обобщений, верных для лексических представлений слов[15]. Например, в русском языке все гласные фонемы заднего ряда являются огубленными, а те, что не относятся к заднему ряду – неогубленными; это формализуется с помощью неполной спецификации признака огубленности в словаре и применением соответствующего «ограничения на структуру морфемы», т.е. правила, применяемого до начала собственно деривации: [-back 0 round] → [-back -round] и [+back 0 round] → [+back + round]. Существенно, что в рамках самой деривации (то есть применения тех правил, существование которых в порождающей фонологии устанавливается на основе чередований) такие правила не участвуют. Похожее ограничение существует и в австронезийском языке чаморро: в нем имеется шесть гласных (*i, u, e, o, ä, a*), причем

---

[14] «...OT predicts that a markedness constraint may trigger various types of structural changes, depending on its interaction with faithfulness constraints. Different languages should therefore pursue different "repair strategies" in attaining identical output goals... In contrast, a rule-based theory fails to make this prediction of the functional unity of processes because it has no formal means of expressing the notion of "output goal" of a phonological rule» [Kager 1999: 55–56].

[15] Изложение этой проблемы основано на [Kenstowicz, Kisseberth 1979]; подробнее см. также [Kenstowicz, Kisseberth 1977].

в подсистеме ненизких гласных признак огубленности также не является дистинктивным; следовательно, для чаморро имеет смысл постулировать похожие ограничения на морфемную структуру. Однако в чаморро существует и собственно фонологический процесс перегласовки (в первом слоге корня непередние гласные упередняются после переднего гласного): *u, o, a* → *i, e, ä*. Простейшая формулировка этого процесса в терминах правил ([+syll] → [-back] / [+syll -back]C_) приводит к неверным результатам, так как предсказывает существование в чаморро гласных *ö* и *ü*; следовательно, необходимо дополнительное правило (в деривации!), переводящее ненизкие передние огубленные гласные в неогубленные. Нетрудно заметить, что это правило будет в точности повторять уже примененное ограничение на структуру морфемы. Нетрудно заметить и функциональное единство этих двух раздельных (хотя и идентичных процессов). Таким образом, одна и та же информация о поверхностной форме кодируется в порождающей фонологии двумя раздельными правилами. Очевидно, что в ТО эта проблема не встает, так как (в идеале) нужные формы обеспечиваются соответствующим ранжированием ограничений маркированности (по сути являющихся формализацией эксплицитно заявленного принципа: в нашем случае «в чаморро нет передних огубленных гласных») и преданности.

В заключение следует заметить, что сам аппарат ТО приложим не только к поверхностным представлениям: с помощью подобных алгоритмов можно оценивать не только пары <вход, кандидат>, но и другие объекты: ср., например [Blumenfeld 2006], где алгоритм ТО применяется к оценке не самих форм, но тех процессов, которые необходимы, чтобы перейти от данного входа к данному выходу.

Наконец, еще один важный аспект классической теории оптимальности: ее принципиальная двухуровневость: в отличие от многоступенчатой деривации в порождающей или лексической фонологии в ТО предлагается считать, что для перехода от глубинной формы к поверхностной достаточно одного шага. Эта гипотеза является одной из наиболее обсуждаемых в литературе по ТО, и дать о ней сколько-нибудь полное представление в кратком обзоре невозможно. Тем не менее одну проблему в связи с этим обсудить все же необходимо: это проблема так называемой «непрозрачности» (opacity).

В деривационных теориях наподобие лексической фонологии большую роль играли вопросы, связанные с взаимодействием правил и контекстов их применения. Различалось несколько типов такого взаимодействия: недоприменение (underapplication) – некоторое правило не применяется, хотя в поверхностной форме существует контекст для его применения – и переприменение (overapplication) – некоторое правило применяется, хотя контекста для его применения все же нет[16]. Известный пример непрозрачности с переприменением – взаимодействие эпентезы и удаления велярного в турецком языке. В турецком сочетания согласных в конце слова разбиваются гласным, участвующим в гармонии: [baʃ-m] 'голова-его' → [baʃɪm], [jel-m] 'ветер-мой' → [jelim]. Сегмент [k] в интервокальной позиции недопустим и потому чередуется с нулем: [ajak-I] 'нога-моя' → [ajaɪ]. При взаимодействии этих правил вначале применяется эпентеза: [ajak-m] → [ajaɪm]. Деривационный анализ сравнительно прост (хотя и повторяет диахронические переходы – впрочем, это давно известная проблема порождающей фонологии), но при этом для него ключевое значение имеет существование промежуточных стадий, ведь только на одной из них и возможно применение правила удаления [k].

Пример непрозрачности с недоприменением можно найти в одном из диалектов языка науатль, где взаимодействуют правила апокопы (необязательной) и оглушения аппроксимантов в конце слова. Оглушение применяется до апокопы, и, следовательно, если апокопа приводит к тому, что некий аппроксимант оказывается в конце слова, оглушения уже не происходит: ср. ['tajo:l̥] 'очищенная кукуруза' (лексически tajo:l) и [ʃika'kɪli] ~ [ʃika'kɪl] 'положи это туда' (лексически ʃika'kɪli). Оказывается, что классиче-

[16] Приводимые здесь примеры взяты из [Kager 1999: 372–400]; там же см. подробное обсуждение и библиографию.

ская ТО с ее ориентацией исключительно на поверхностную форму никак не может решить этих проблем: так, в случае непрозрачности с переприменением множество нарушений, связанных с неверно предсказываемым кандидатом, будет собственным подмножеством множества тех, что связаны с реально наблюдаемым: таким образом, при любом ранжировании ограничений реально наблюдаемый кандидат не сможет выиграть (так как по всем релевантным ограничениям будет «ничья», но при этом у него будут еще и «лишние» нарушения, которых не будет у неверно предсказываемой формы).

Предложено несколько способов решения этой проблемы:

- «Двухуровневая маркированность» (например [Orgun 1996] – correspondence and identity constraints): ограничения маркированности могут не только запрещать определенные поверхностные формы, но и иметь доступ к информации о глубинной форме.
- Многоуровневая деривация, оптимальная лексическая фонология [Bermúdez-Otero (в печати)]. Здесь алгоритмы ТО применяются на нескольких уровнях, совмещая преимущества двухуровневого подхода с объяснительной силой деривационных теорий.
- «Теория симпатии» [McCarthy 1998]. В этой модели оценивается соответствие поверхностной формы не только глубинной, но и одному из (невыигрывающих) кандидатов, выбираемому специальным образом. Хотя здесь сохраняются основные принципы ТО, резко увеличено число оцениваемых соответствий; к тому же не вполне понятно, чем содержательно эта модель отличается от сериалистских концепций.
- Локальная конъюнкция (например [Kirchner 1996]): существуют ограничения вида C1 & C2 (причем всегда верно, что C1 & C2 ≫ C1, C2), нарушаемые тогда и только тогда, когда один и тот же элемент (скажем, сегмент), нарушает и C1, и C2. Несмотря на определенные успехи в сфере эмпирической адекватности, локальная конъюнкция нарушает логику строгой доминации и резко увеличивает множество теоретически мыслимых ограничений (что снижает объяснительную силу теории и к тому же имеет серьезные последствия для вопроса о том, возможно ли усвоить такую грамматику по поверхностным данным).
- «Сравнительная маркированность» [McCarthy 2003] – ограничения маркированности делятся на два класса: те, которые запрещают структуры, встречающиеся в глубинной форме, и те, которые «вводятся» данным кандидатом.
- «ТО с цепочками кандидатов» [McCarthy 2007] – еще одна псевдодеривационная теория, где кандидаты представляют собой цепочки, в которых каждое следующее звено более гармонично, чем предыдущее.

В целом, однако, следует признать, что общепринятого решения этих проблем в ТО пока не предложено.

Открытым остается и вопрос о природе набора ограничений. Помимо классических маркированности и преданности в литературе можно встретить предложения ввести такие типы, как ограничения на соответствие нескольких поверхностных форм (output-output correspondence), которые также применяются для решения проблем, связанных с непрозрачностью, ограничения «анти-преданности» (логическое отрицание преданности) [Alderete 1998] и др. Вопрос об оправданности введения таких ограничений до сих пор является дискуссионным.

Как мы уже упоминали выше, применимость алгоритма ТО не ограничена одной лишь фонологией: существуют и ее приложения к другим уровням языка, в частности синтаксису и морфологии (см., к примеру, соответствующие главы в [Archangeli, Langendoen 1997]). Круг проблем, рассматриваемых в рамках ТО в этих дисциплинах, весьма широк: от описания некоторых типов морфологических процессов (те же редупликации и усечения, «неестественные» правила), порядка морфем в словоформе или сочетаемости в словообразовании до сложных вопросов синтаксиса (порядок слов, связывание и

пр.). Неудивительно, что особенно тесно ТО интегрирована с репрезентационными теориями (не подразумевающими многоуровневой деривации) – в особенности это касается лексико-функциональной грамматики (LFG, ср. [Sells 2001]). В рамках OT-LFG ведется достаточно активная работа, однако нужно помнить, что в принципе алгоритмы ТО не требуют жесткой привязки к конкретным типам синтаксических репрезентаций: ср. анализ контроля PRO в английском языке в [Speas 1997], фактически не прибегающий к каким-либо репрезентациям, специфичным для конкретных теорий.

Тем не менее следует отметить, что поскольку объем работы в рамках ТО в области синтаксиса и морфологии все же меньше, чем в фонологии, в этих дисциплинах пока не разработана столь же подробная теория типов ограничений (и менее устоялся их набор), что несколько снижает привлекательность ТО в нынешнем виде как инструмента для предсказаний типологического варьирования. Более того, как отмечено в [Sells 2003], в некоторых версиях ТО архитектура синтаксиса резко отличается от архитектуры фонологии. Это ставит под серьезное сомнение применимость ТО как обобщенной теории грамматики: впрочем, сам Селлз критикует упомянутые подходы. Следует отметить так же и то, что, по замечанию М. Хаспельмата [Haspelmath (в печати)], многие исследователи, работающие в области морфологической и синтаксической типологии, используют ТО как технический прием, удобный инструмент представления своих теорий, вовсе не обязательно принимая все ее теоретические постулаты касательно универсальной грамматики.

Объем настоящего обзора не позволяет нам подробно обсуждать другие вопросы, связанные с ТО, – ниже мы лишь укажем на некоторые из них, приведя отсылки к некоторым важным работам, с которых можно начинать знакомство с соответствующими темами.

Итак, попробуем перечислить некоторые из основных вопросов, которые удалось поставить (необязательно решить) в рамках ТО.

- В какой мере типологическое варьирование выводимо из небольшого числа независимых исходных допущений? Несомненно, такая постановка вопроса отнюдь не является новой со времен теории принципов и параметров, но именно ТО – по крайней мере в фонологии – позволила совершенно по-новому подойти к этой проблеме. Как мы видели выше, теория оптимальности позволяет «списать» на независимые принципы очень многое из того, что ранее приходилось постулировать как данность: ср. обсуждение структуры слога, где факториальная типология вытекает из ранжирования ограничений, наблюдаемых и в других фрагментах грамматики. В рамках ТО, в частности, удалось решить проблему постулирования шаблонов в просодической морфологии. В целом можно сказать, что одно из главных достижений теории оптимальности – отказ от аксиоматического постулирования различных феноменов, которые ранее могли быть заданы только таким образом.
- Как можно усвоить грамматическую (фонологическую) структуру языка? Можно ли это сделать, если она устроена в соответствии с принципами ТО? В рамках теории оптимальности получены интересные результаты в области математической лингвистики, в частности, разработаны алгоритмы, позволяющие по набору форм строить порождающую их грамматику (см. [Tesar, Smolensky 2000; Boersma, Hayes 2001]; ср. также [Keller, Asudeh 2002], соответствующий раздел в [Kager 1999]), доказано, что эти алгоритмы всегда приводят к построению грамматики. В рамках ТО вообще удалось поставить целый ряд таких вопросов о математических свойствах лингвистических систем, которые в других теориях даже не задавались – и в то же время имеют непосредственное отношение к насущным проблемам, в первую очередь к усвоению языка и к разрешимости проблем анализа и порождения языка (что имеет уже прямое практическое применение).
- Сколько уровней деривации необходимо в лингвистической теории? Этот вопрос имеет как теоретические (ср. выше о проблеме «непрозрачности»), так и практические следствия (в частности, признание многоуровневой деривации имеет значение

также для компьютерной лингвистики и вопросов усвоения языка). Кроме того, подобными вопросами задаются в настоящее время и специалисты по когнитивной науке: ср. [Gallistel (в печати)] о противопоставлении «репрезентационных» и «вычислительных» (процедурных) моделей мышления: как замечает Б. Вокс (личное сообщение), по сути в когнитивной науке существует противопоставление двух моделей обучения. В одной из них животные (и, вероятно, люди) усваивают некоторое статическое знание о том, что «нечто является верным» (в этом случае никакой многоуровневости не требуется), в другой знания является процедурными, они «обучаются делать что-то» (а это подразумевает деривационную структуру). В любом случае вопрос о когнитивных основах ТО до сих пор не является до конца решенным.

- В какой мере все же параллельны языковые структуры на разных уровнях? Мы уже упоминали о синтаксических моделях ТО, подразумевающих архитектуру, не идентичную той, что используется в фонологии. Насколько вообще можно описать в рамках этого «единого» аппарата факты разных языков? Эмпирическую проверку ТО до сих пор нельзя считать вполне завершенной.

Наконец, следует сказать несколько слов о тех вопросах, которые в рамках ТО скорее не рассматриваются или к которым исследователи только начинают подходить.

- Постулируемая универсальность набора ограничений мешает вводить ограничения, как-либо связанные с конкретно-языковыми сущностями (например, конкретными морфемами или грамматическими классами): так, например, при анализе данных атлантического языка серер в [McLaughlin 2000] приходится постулировать некое ограничение, действующее исключительно в некотором подмножестве именных классов этого языка; это, конечно, несколько крайний случай, но тем не менее в работах по ТО часто встречаются ограничения, явно или неявно связанные с элементами словаря конкретного языка. Ср. [Green 2005] о границах применимости ТО: в этой работе предлагается серьезно ограничить «компетенцию» ТО (в частности, выведя за ее границы феномены наподобие «непрозрачности») и исключить из нее частноязыковые правила, невыводимые из более общих принципов. С другой стороны, существуют подходы, позволяющие создавать «морфологически индексированные» ограничения на основе достаточно общих шаблонов, например [Pater 2008].
- В частности, у ТО возникают заметные сложности с нетривиальными чередованиями, не описываемыми с помощью сколько-нибудь общих условий на поверхностную форму (как, например, различные морфонологические чередования в славянских языках, ср. [Sanders 2003] о польском).
- В последнее время наблюдается обращение ТО к тем вопросам, которые раньше не рассматривались, в частности к вопросу о природе фонологических репрезентаций. Какого рода фонологическими единицами оперирует теория? Какие «сегменты» находятся в глубинных представлениях (в частности, нужна ли в теории оптимальности неполная спецификация признаковой структуры, игравшая столь важную роль в деривационных подходах, ср. [Vaux 2003]), какова природа поверхностно-фонологического представления и как оно взаимодействует с фонетическим компонентом языка? Начинается работа по исследованию сегментных наборов в языках мира и природы репрезентации, необходимой для наиболее адекватного их объяснения (ср. [Morén 2007]), а это значит, что вновь поднимается, пусть и в другом виде, «проблема дубликатов»: какие наблюдаемые феномены связаны с процессом деривации, а какие – с природой исходных представлений?

В этом кратком обзоре, к сожалению, невозможно дать представление обо всех аспектах современной ТО, поэтому в заключение мы приведем небольшой список литературы, позволяющей получить представление о ТО и снабженной более или менее подробной библиографией. Очень многие работы по ТО собраны в Rutgers Optimality Ar-

chive [ROA] (http://roa.rutgers.edu); в дальнейшем те работы, которые там можно найти, снабжены ссылкой на номер в этом архиве.

- Основные положения ТО подробно изложены в [Prince, Smolensky 1993/2002; McCarthy, Prince 1993a]; важную роль в развитии теории сыграли также работы [McCarthy, Prince 1993b; 1994]; многие важные работы удобно собраны в хрестоматии [McCarthy 2004b].
- Среди «вторичных» источников следует отметить сборник [Archangeli, Langendoen 1997] (содержит главы о различных языковых уровнях), подробный учебник [Kager 1999] и монографический обзор [McCarthy 2001].
- Вопросу о ТО и усвоения языка посвящена монография [Tesar, Smolensky 2000]; вероятностные методы вводятся в известной статье [Boersma, Hayes 1999].
- Хороший обзор проблематики ТО в синтаксисе дан в книге [Legendre et al. 2001]; ср. также [Sells 2001] и важную статью [Grimshaw 1997].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Кодзасов, Кривнова 1982 – *С.В. Кодзасов, О.Ф. Кривнова*. Современная американская фонология. М., 1982.

Князев 1999 – *С.В. Князев*. О критериях слогоделения в современном русском языке: теория волны сонорности и теория оптимальности // ВЯ. 1999. № 1.

Akinlabi 1996 – *A. Akinlabi*. Featural affixation // Journal of linguistics. V. 31. 1996.

Alderete 1998 – *J. Alderete*. Morphologically governed accent in optimality theory. PhD dissertation. University of Massachusetts. Amherst, 1998.

Anderson 1985 – *S. Anderson*. Phonology in the twentieth century. Theories of rules and theories of representations. Chicago, 1985.

Archangeli, Langendoen 1997 – *D. Archangeli, D.T. Langendoen*. Optimality theory: An overview. Oxford, 1997.

Beckman 1998 – *J. Beckman*. Positional faithfulness. PhD dissertation. University of Massachusetts. Amherst, 1998. ([ROA–234]. Отрывки перепечатаны в [McCarthy 2004b]; полный текст – ROA–234).

Bermúdez-Otero (в печати) – *R. Bermúdez-Otero*. Stratal optimality theory. Oxford (в печати).

Blumenfeld 2006 – *L. Blumenfeld*. Constraints on phonological interactions. PhD dissertation. Stanford University, 2006. [ROA–877].

Boersma, Hayes 2001 – *P. Boersma, B. Hayes*. Empirical tests of the gradual learning algorithm // Linguistic inquiry. V. 32. 2001. [ROA–348].

Broekhuis, Vogel 2006 – *H. Broekhuis, R. Vogel* (eds.). Optimality theory and minimalism: A possible convergence? // Linguistics in Potsdam. V. 26. Potsdam, 2006 [ROA–892].

Chomsky, Halle 1968 – *N. Chomsky, M. Halle*. The sound pattern of English. New York, 1968.

Gallistel (в печати) – *R. Gallistel*. The nature of learning and the functional architecture of the brain // Q. Jing et al. (eds.). Psychological science around the world. V. 1. Proceedings of the 28th international congress of psychology. Sussex (в печати).

Grimshaw 1997 – *J. Grimshaw*. Projection, heads, and optimality // Linguistic inquiry. V. 28. 1997. [ROA–68].

Green 2005 – *A. Green*. Phonology limited (рукопись). [ROA–745].

Hammond 1997 – *M. Hammond*. Optimality theory and prosody // D. Archangeli, D. Langendoen. Theory: An overview. Oxford, 1997.

Haspelmath (в печати) – *M. Haspelmath*. Parametric versus functional explanations for syntactic univerisals // T. Biberauer, A. Holmberg (eds.). The limits of syntactic variation. Amsterdam (в печати).

Hooper 1976 – *J.B. Hooper*. An introduction to natural generative phonology. New York, 1976.

Kager 1999 – *R. Kager*. Optimality theory. Cambridge, 1999.

Karttunen 2006 – *L. Karttunen*. The insufficiency of paper-and-pencil linguistics: the case of finnish prosody // R.M. Kaplan, M. Butt, M. Dalrymple, T. Holloway King (eds.). Intelligent linguistic architectures: Variations on themes. Stanford, 2006. [ROA–818].

Keller, Asudeh 20002 – *F. Keller, A. Asudeh*. Probabilistic learning algorithms and optimality theory // Linguistic inquiry. V. 33. 2002. [ROA–675].

Kenstowicz, Kisseberth 1977 – *M. Kenstowicz, Ch. Kisseberth.* Topics in phonological theory. New York, 1977.
Kenstowicz, Kisseberth 1979 – *M. Kenstowicz, Ch. Kisseberth.* Generative phonology: Description and theory. New York, 1979.
Kirchner 1996 – *R. Kirchner.* Synchronic chain shifts in optimality theory // Linguistic inquiry. V. 27. 1996.
Lass 1984 – *R. Lass.* Phonology: an introduction to basic concepts. Cambridge, 1984.
Legendre et al. 2001 – *G. Legendre, J. Grimshaw, S. Vikner* (eds.). Optimality-theoretic syntax. Cambridge, 2001.
Martinet 1956 – *A. Martinet.* Economie des changements phonetiques. Bern, 1956.
McCarthy 1998 – *J. McCarthy.* Sympathy and phonological opacity. Amherst, 1998.
McCarthy 2001 – *J. McCarthy.* A thematic guide to optimality theory. Cambridge, 2001.
McCarthy 2003 – *J. McCarthy.* Comparative markedness // Theoretical linguistics. V. 29. 2003.
McCarthy 2004a – *J. McCarthy.* The length of stem-final vowels in colloquial Arabic // M. Alhawary, E. Benmamoun. Perspectives on Arabic linguistics XVII–XVIII. Amsterdam, 2004. [ROA–616].
McCarthy 2004b – *J. McCarthy* (ed.). Optimality theory in phonology: A reader. Oxford, 2004.
McCarthy 2007 – *J. McCarthy.* Hidden generalizations: Phonological opacity in optimality theory. London, 2007.
McCarthy, Prince 1993a – *J. McCarthy, A. Prince.* Prosodic morphology: Constraint interaction and satisfaction. Rutgers University center for cognitive science technical report. 3. 1993. [ROA–482].
McCarthy, Prince 1993b – *J. McCarthy, A. Prince.* Generalized alignment. Rutgers University center for cognitive science technical report. 7. 1993. [ROA–7].
McCarthy, Prince 1994 – *J. McCarthy, A. Prince.* The emergence of the unmarked: Optimality in prosodic morphology // M. Gonzàlez (ed.). Proceedings of the North East // Linguistics society. V. 24. Amherst, 1994. [ROA–13].
McCarthy, Prince 1995 – *J. McCarthy, A. Prince.* Faithfulness and reduplicative identity // J. Beckman, S. Urbanczyk, L.W. Dickey (eds.). University of Massachusetts occasional papers in linguistics 18: Papers in optimality theory. Amherst, 1995. [ROA–60].
McLaughlin 2000 – *F. McLaughlin.* Consonant mutation in reduplication in Seereer-Siin // Phonology. V. 17. 2000.
Morén 1997 – *B. Morén.* The division of labor between segment-internal structure and violable constraints // S. Blaho, P. Bye, M. Krämer (eds.). Freedom of analysis? Berlin, 1997. [ROA–845].
Moreton 2004 – *E. Moreton.* Non-computable functions in optimality theory // J. McCarthy. Optimality theory in phonology: A reader. Oxford, 2004. [ROA–364].
van Oostendorp 2007 – *M. van Oostendorp.* Derived environment effects and consistency of exponence // S. Blaho, P. Bye, M. Kramer (eds.). Freedom of analysis? Berlin, 2007. [ROA–853].
Orgun 1996 – *C.O. Orgun.* Correspondence and identity constraints in two-level optimality theory // Proceedings of WCCFL. 14. Stanford, 1996.
Pater 2008 – *J. Pater.* Morpheme-specific phonology: constraint indexation and inconsistency resolution // S. Parker (ed.). Phonological argumentation: Essays on evidence and motivation. London, 2008.
Prince, Smolensky 1993 / 2002 – *A. Prince, P. Smolensky.* Optimality theory: Constraint interaction in generative grammar. Rutgers University, The Johns Hopkins University (Ms.), 2002. [ROA–537].
Sanders 2003 – *N. Sanders.* Opacity and sound change in the Polish lexicon. PhD dissertation. University of California, Santa Cruz, 2003. [ROA–603].
Sells 2001 – *P. Sells* (ed.). Formal and empirical issues in optimality theoretic syntax. Stanford, 2001.
Sells 2003 – *P. Sells.* The INPUT and faithfulness in OT syntax // J. Spenader, A. Eriksson, Ö. Dahl (eds.). Proceedings of the workshop on variation within optimality theory. Stockholm, 2003.
Speas 1997 – *M. Speas.* Null pronouns and control // D. Archangeli, D. Langendoen. Theory: An overview. Oxford, 1997.
Steriade 1988 – *D. Steriade.* Reduplication and syllable transfer in Sanskrit and elsewhere // Phonology. V. 5. 1988.
Tesar, Smolensky 2000 – *B. Tesar, P. Smolensky.* Learnability in optimality theory. Cambridge (Mass.), 2000.
Vaux 2003 – *B. Vaux.* Syllabification in Armenian. Universal grammar, and the lexicon // Linguistic inquiry. V. 34. 2003.

РЕЦЕНЗИИ

Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. М., Гнозис, 2007.

Книга «Антология концептов», как можно понять из ее заглавия, принадлежит к популярному в последние годы направлению интердисциплинарных гуманитарных исследований: она посвящена изучению «концептов», то есть, грубо говоря, смыслов, выражаемых языковыми единицами.

Прежде, чем начать говорить о книге по существу, хотелось бы сделать одну существенную оговорку. В аннотации к книге сказано: «"Антология концептов" представляет собой словарь нового типа – концептуарий культурно значимых смыслов, закрепленных в языковом сознании и коммуникативном поведении». В действительности книга вовсе не является словарем. Дело не в объеме словника или отсутствии определенного формата представления единиц, а в том, что в книгу включены описания, выполненные на материале разных языков, разных эпох, частью посвященные одному языку, частью сопоставительные, исследования, выполненные в рамках разных научных идеологий, на основе разных методик и с привлечением инструментария разных наук. Так что название «антология» более точно отражает жанровую принадлежность книги.

«Антология концептов» устроена следующим образом. Собственно описательной части предпослано Введение «Некоторые направления современной концептологии», состоящее из четырех разделов. На самом деле это, по сути, четыре отдельных теоретических введения, написанных, как сказано в предисловии, представителями четырех «школ линглингвистической концептологии»: Воронежской, Кемеровской, Краснодарской и Волгоградской.

Первое введение написано З.Д. Поповой и И.А. Стерниным и называется «Основные черты семантико-когнитивного подхода к языку». В нем, в частности, говорится: «*Лингвокогнитивная концептология* использует понятие *концепт* как обозначение моделируемой лингвистическими средствами единицы национального когнитивного сознания, для моделирования и описания национальной концептосферы» (с. 9). В то же время «Концепт не имеет обязательной связи со словом или другими языковыми средствами вербализации» (с. 8).

Второе введение написано С.Г. Воркачевым и называется «Постулаты лингвоконцептологии». В нем концепт определяется как «синтезирующее лингвоментальное образование, методологически пришедшее на смену представлению (образу), понятию и значению и включившее их в себя в "снятом", редуцированном виде. В качестве "законного наследника" этих семиотических категорий лингвоконцепт характеризуется гетерогенностью и многопризнаковостью, принимая от понятия дискурсивность представления смысла, от образа – метафоричность и эмотивность представления, а от значения – включенность его имени в лексическую систему языка» (с. 10).

Третье введение написано В.И. Карасиком и Г.Г. Слышкиным и называется «Базовые характеристики лингвокультурных концептов». В качестве таковых приводятся: комплексность бытования, ментальная природа, ценностность, условность и размытость, изменчивость, ограниченность сознанием носителя, трехкомпонентность (имеются в виду ценностный, образный и понятийный компоненты), полиапеллируемость, многомерность (по сравнению с фреймом, сценарием, скриптом и др.), а также методологическая открытость и поликлассифицируемость (с. 12–13).

Наконец, четвертое введение написано М.В. Пименовой и называется «Методология концептуальных исследований». В нем, помимо собственного определения концепта, содержится перечисление этапов исследования концептов: «Первый этап – анализ лексического значения и внутренней формы слова, репрезентирующего концепт. Второй этап – выявление синонимического ряда лексемы – репрезентанта концепта. Третий этап – описание способов категоризации концепта в языковой картине мира. Четвертый этап – определение способов концептуализации как вторичного переосмысления соответствующей лексемы.

исследование концептуальных метафор и метонимии. Пятый этап – исследуются сценарии» (с. 15).

Перечислим хотя бы некоторые концепты, которые являются предметом описания в данной книге: «быт», «воля», «дружба», «закон», «здоровье», «красота», «страх», «удивление», «форма», «язык», «грех», «деньги», «домовой и русалка», «Америка», «Россия». Большинство исследований выполнено на материале русского языка, однако не все. Например, концепт «приватность» изучается на материале лингвокультуры США, концепт «пунктуальность» – через русско-немецкое сопоставление, концепт «умение жить» – через русско-французское, а концепт путешествие – через русско-китайское. Концепт «женщина» изучается в текстах среднеанглийского периода (с XII по XV в.). Собранные в книге работы чрезвычайно разнообразны как по материалу, так и по методу. Используются самые разные методики описания языковых единиц, в частности довольно широко применяется психолингвистический эксперимент. Описываются не только языковые единицы, но и пословицы, и народные приметы, и художественные тексты, и другие сущности. В качестве культурных концептов рассматриваются, в частности, мифологемы (см. статью «Домовой и русалка»), а также речевые акты (в статье «Оскорбление» вводится понятие «иллокутивного концепта»). Стоит отметить, что в части статей содержится свежий и интересный материал.

Собственно антология состоит из примерно сорока статей, посвященных отдельным концептам, причем практически каждой из них предпослано собственное теоретическое введение, в котором обсуждается, как автор понимает термин «концепт» и каким образом концепты следует изучать. Таким образом, данная книга представляет собой не столько антологию концептов, сколько антологию концептологии. Поскольку в современной лингвистике термин «концепт» используется чрезвычайно широко и при этом совершенно по-разному, книга, в которой одновременно представлена по крайней мере часть спектра пониманий этого термина, несомненно, полезна. Тем не менее, такая структура приводит к странному эффекту: если читать книгу подряд, то приходится десятки раз прочитывать сходные, а подчас почти дословно совпадающие рассуждения о том, что концепт в науке понимается по-разному, о нем писали такие-то лингвисты, а вот автор будет понимать его таким-то образом – и далее следует определение, часто в виде цитаты.

Этот эффект связан со способом формирования данной «антологии». Как сказано в предисловии, в ее основу положены диссертации, выполненные в разных городах и посвященные отдельным концептам (кстати, кое-где слово «диссертация» осталось даже в тексте). Пожалуй, один из основных недостатков книги состоит в том, что во многих ее разделах жанр даже не диссертации, а автореферата представлен почти в непереработанном виде. А ведь автореферат – очень специфический научный жанр, призванный анонсировать собственно исследование и изложить его результаты. Если же он фигурирует в качестве самого исследования, результат получается не всегда впечатляющий. Скажем, автор сообщает, что на основе анализа лексикографических источников он выделил такие-то основные компоненты значения. Однако читатель так и не узнает, какие словари автор анализировал и каким образом получил свои компоненты из словарных дефиниций. Для жанра автореферата это нормально, но в статье читатель хочет иметь возможность не принимать на веру выводы автора, а следить за ходом его мысли. То же относится и к ссылкам на научную литературу. Во многих случаях они даются глухо (об этом концепте писали такие-то) и в списке литературы не расшифровываются. Вообще списки литературы, в большинстве случаев состоящие в основном из публикаций самого автора – явный след «авторефератного» происхождения. Например, почти анекдотически выглядит список литературы к статье О.Н. Кондратьевой «Душа, сердце, ум» (а надо ли говорить, как избалованы эти слова вниманием лингвистов): в нем 21 пункт, при этом 19 пунктов – это ссылки на работы О.Н. Кондратьевой, а 2 – ссылки на работы М.В. Пименовой и О.Н. Кондратьевой. Библиография к статье Е.В. Димитровой «Тоска» состоит исключительно из работ Е.В. Димитровой. Кстати, в такой ситуации список в конце статьи уж лучше называть не «Литература», а «Список публикаций». Причем если О.Н. Кондратьева хотя бы в тексте статьи списком упоминает некоторых предшественников, то в статье Е.В. Димитровой нет и намека на то, что до нее кто-то из лингвистов когда-либо интересовался русским словом *тоска*[1].

Между тем, там, где мы все-таки не лишены возможности наблюдать за тем, как авторы извлекают смысловые компоненты из исходного

---

[1] Собственно, автор и изложение строит соответствующим образом: «В результате анализа словарных дефиниций лексемы *тоска* нами установлено, что эта лексема обладает сложной семантикой, поддающейся логике культурного сценария, но трудно поддающейся делению на отдельные значения» (с. 198).

текста, можно видеть, что это делается не всегда аккуратно. Так, на странице 103 читаем: «Например, определение-суждение "Любовь – это такое чувство, когда я чувствую то, что вы чувствовать не можете" принадлежит А.П. Чехову, и в нем могут быть выделены признаки, которые стали главными для конкретной языковой личности: 'чувство', 'необъяснимость', 'невозможность испытывать нечто подобное другим лицом'»[2]. Наверное, можно согласиться, что любовь необъяснима, но где это сказано в чеховской фразе? На с. 113 на основе «анализа системно-языкового материала» выделяются «семы в составе языкового значения лексемы *любовь*». Для «американского языкового сознания» выделяется, например, такая сема: «люди, состоящие в браке, могут снова влюбиться в кого-либо» – и в качестве примера приводятся слово *lovers* и сочетание *love affair*. Однако, даже если оставить в стороне вопрос о том, насколько *lovers* и *love affair* соотносятся с идеей русского глагола *влюбиться*, разве эти слова применимы только к ситуации адюльтера? Да и сочетание *love nest* в качестве иллюстрации семы «влюбленные обычно очень счастливы», по крайней мере, не очевидно.

Даже в тех случаях, когда выводы автора кажутся правдоподобными, взыскательного читателя они часто не удовлетворяют, поскольку неясно, как автор к ним пришел. Так, мне показалось интересным утверждение, что в русском «языковом сознании» «плохо быть легкомысленным в любви, проявлять безответственность (особенно для женщин)», в то время как в немецком «языковом сознании» «легкомыслие, ветреность – не осуждаемые поведенческие типы, связанные с любовью» (с. 110). Возможно, это действительно так, но анализ каких языковых фактов привел автора к этому выводу? Поскольку это неизвестно, то и сам вывод лишается всякой ценности.

Я привожу примеры из описаний концепта любви, но подобные замечания можно сделать и к десяткам других статей. Описание любви показательно и еще в одном отношении. В книге есть две статьи: «Любовь» (Л.Е. Вильмс), где проводится русско-немецкое сопоставление, и «Любовь и ненависть» (Е.Ю. Балашова), где проводится русско-английское сопоставление. При этом описание сделано настолько по-разному, что, прочитав обе статьи, едва ли можно уяснить, чем отличается немецкая любовь от английской. Это лишнее доказательство того, что «Антология» едва ли может претендовать на статус словаря.

Возвращаясь к статьям о любви, можно заметить, что, как и большинство статей в книге, они страдают чрезмерной любовью к выводам и недостатком вкуса к представлению языкового материала. А ведь, например, Л. Вильмс пишет, что выводы делаются на основе анализа русских и немецких словарей XVIII и XIX вв. Но это же такие интересные источники! Насколько полезным и увлекательным могло бы быть полноценное представление этого материала с его корректным анализом!

И здесь мы подходим, пожалуй, к основной проблеме, связанной с большой частью концептологических исследований, – «ускользанию» предмета изучения. Во многих статьях «Антологии» местами не очень понятно, сущность какого рода автор описывает. Приведу пример. В книге есть статья «Умение жить» (Э.В. Грабарова), в которой «дается характеристика концепта *savoir vivre* во французской лингвокультуре и выявление его соответствий в русском языковом сознании» (с. 497). В этой работе приводится большой и интересный материал, касающийся французского языка. Однако далее читаем: «"Неумение жить" по-русски ассоциируется с отсутствием цели в жизни и отрывом от реальности. Человека, не умеющего жить, в русской культуре часто жалеют, ему сочувствуют (полагая, что он сам не виноват в сложившихся обстоятельствах, что такова судьба – важнейший концепт в русском языковом сознании)» (с. 505). Что здесь описывается? Семантика русского выражения *не уметь жить*? Но оно не связано ни с отсутствием цели, ни с фатализмом. Оно означает что-то вроде 'не уметь устраиваться' и связано с установкой на получение материальной выгоды. Вместе с тем, это явно и не описание смысла французского выражения *savoir vivre* (разумеется, с отрицанием), который по-русски передавался бы как-то иначе: ведь ранее автор в качестве русских коррелятов этого выражения выделяет такие единицы, как «*вежливость, учтивость, умение вести себя, благопристойность, корректность, умение, сноровка, ловкость*» (с. 502).

Другой пример. В книге есть статья «Обман» (Н.Н. Панченко). Она начинается слова-

---

[2] Как мы видим, здесь нарушен синтаксис. К сожалению, местами язык исследования невероятно тяжел. Ср. только один пример: «Коммуникативная прозрачность речевого портрета языковой личности – это вывод из прагматики содержания текста, выражающего речевое намерение автора высказывания создать восприятие образа лица на основе системы вербализованных субъективных социальных оценок» (с. 404). Кроме того, на мой взгляд, язык «Антологии» перегружен специальной терминологией, далеко не всегда необходимой и часто не прозрачной, но это уже дело вкуса.

ми: «Эмпирически очевидно, что нет такой сферы человеческой деятельности, где бы не встречался обман» (с. 129). Несколькими строками ниже читаем: «Ложь, являясь антиподом правды, демонстрирует тем самым приоритет низших ценностей над высшими» (с. 129). Что бы ни значила последняя фраза, существенно, что здесь говорится уже не об *обмане*, а о *лжи*. При этом подразумевается, что это как бы одно и то же. Далее проводится межъязыковое сопоставление: «В результате анализа 14 англоязычных и 10 русских лексикографических источников обнаружилась национально-культурная специфика семантизации понятий "ложь" и "обман", которая проявляется в различиях в семантическом представлении лжи и обмана для носителей сопоставляемых языков: существенным для носителей английского языка является указание на мишени и цели воздействия (направленность действия), для русского национального сознания релевантным является интенциональный аспект (намеренность), референтный аспект (искажена ли истина)» (с. 130). Замечательны эти 24 источника, ни один из которых не указан. Скорее всего, это различные толковые словари. Здесь, кстати, хотелось бы сделать одно замечание. Во многих статьях «Антологии» отправной точкой описания концептов служат словарные толкования выражающих их слов (в некоторых статьях это называется «содержательный минимум»). Обращение к словарям, разумеется, всегда полезно, однако приходится с сожалением констатировать, что состояние русской лексикографии не таково, чтобы дефиниции из русских словарей можно было так некритически использовать, притом делая из них столь далеко идущие выводы о фундаментальных различиях культур.

Итак, в статье «Обман» не указаны не только словари, но и то, какие, собственно, слова сравнивались и в каких из их значений. Неясно, брались только существительные (*ложь, обман*) или также и глаголы (*лгать, обманывать*)? И каков в этой ситуации статус таких слов, как, например, *неправда* и *вранье*? Аналогичные вопросы возникают и в отношении слов английского языка. Не вполне очевидно также и то, что в точности автор понимает под «семантизацией понятия».

Как кажется, более естественный путь состоит в том, чтобы начинать с анализа семантики и функционирования реальных языковых единиц, групп этих единиц, выявлять их взаимосвязи, семантические противопоставления между близкими единицами и т.п., затем реконструировать на основе этого анализа фрагменты языковой картины мира (если угодно, определенные концепты или группы концептов). Достоверность реконструкции будет в этом случае обеспечиваться опорой на реальные языковые факты. И уже следующий шаг может состоять в том, чтобы дополнить описание языковой семантики разного рода культурным, мифологическим или иным анализом. В этом случае понятно, что сравнивается при сопоставительном исследовании: концепты или фрагменты русской, английской и т.д. картины мира, реконструированные на основе языковых фактов, будут разными в силу того, что по-разному в соответствующих языках ведут себя языковые единицы.

Приведу пример системного описания семантики языковых единиц. Что касается русского слова *ложь* и слов, близких к нему по смыслу (*обман, надувательство; дезинформация; сказки, россказни, басни, небылицы; клевета, напраслина, поклеп, наговор, оговор, инсинуация; подделка, подлог, фальсификация, фальшивка; выдумка, вымысел, мистификация; ошибка, заблуждение*), то их семантическое описание приводится в статье В.Ю. Апресян «Неправда, ложь, вранье», составленной для Нового объяснительного словаря синонимов русского языка (под общим руководством Ю.Д. Апресяна), 2-е изд., Москва; Вена, 2004. В Преамбуле к синонимическому ряду рассматривается вся большая группа сходных по смыслу слов и приводятся семантические признаки, по которым они противопоставляются: «1) сознательно ли отступление от правды или норм честности; 2) каковы цели этого отступления, если оно намеренное (добиться чего-то для себя, причинить кому-то вред, помешать кому-то добиться своих целей, игра); 3) что используется для введения адресата в заблуждение (высказывание, действие, конкретный предмет)». Рассматриваются там, в частности, различия между ложью и обманом, которые доказываются правильностью или неправильностью конкретных высказываний: «Во-первых, *обман* предполагает более широкий спектр средств создания заблуждения – не только высказывания, но и действия; ср. *Чтобы получить хорошую отметку, он пошел на обман – послал вместо себя на экзамен своего брата-близнеца*. Во-вторых, *обман* (в тех случаях, когда в качестве средства используется высказывание) не может, в отличие от **неправды, лжи** и **вранья**, характеризовать содержание единичного высказывания. Он непременно предполагает некий план, и, следовательно, некую продуманную совокупность взаимосвязанных действий или высказываний. Ср. *обдумывать обман, Обман удался, Обман рухнул, раскрыть обман*, но не **Ты там был? – Нет. – Обман!* при возможности *Ты там был? – Нет.* – **Неправда <ложь, вра-**

нье>». Затем точно так же сравниваются и значения самих членов синонимического ряда. В результате мы получаем четкое представление о том, как язык концептуализует соответствующий фрагмент внеязыковой реальности. Имея такое описание, при желании можно проводить сопоставление с другими языками или строить разного рода культурологические или иные интерпретации. Кстати, *вранье* именно как культурно-специфический концепт, реконструируемый на основе языковых данных, подробно описано в работе А.Д. Шмелева «Вранье в русской языковой картине мира» (Логический анализ языка. Между ложью и фантазией. В печати)[3].

Можно назвать и еще некоторые проблемы, типичные для концептологических работ и представленные, в частности, в статье об обмане, как, впрочем, и во многих других статьях «Антологии». Это, например, проблема использования паремиологического фонда для изучения концептов. Так, для характеристики концепта лжи/обмана использованы 150 паремий (75 русских и 75 английских) (с. 133), но мы не знаем, что это за единицы: в подобных исследованиях часто используются пословицы, взятые из словарей и т.п. и реально не функционирующие в современном языке, не известные его носителям. Но участвуют ли они в этом случае в формировании концепта?

Можно было бы продолжать перечислять проблемы, с которыми сталкивается область науки, в рецензируемой книге называемая концептологией, но я перейду к выводам.

Очень хорошо, что лингвистика стремится расширять свои горизонты, привлекая данные других наук и используя их инструментарий. Но было бы жаль, если бы на этом пути она растеряла собственный инструментарий и пренебрегла собственными достижениями. Современная семантика уже довольно много знает о смысле языковых выражений, и рутинное семантическое описание подчас бывает более концептуальным, чем «концептологический» анализ.

И.Б. Левонтина

[3] Разумеется, альтернативные семантические описания можно было бы привести для большой, если не для большей части рассмотренных в книге слов. Данный фрагмент я привожу лишь как иллюстрацию возможности иного подхода к анализу значения языковых единиц.

***W. Wysoczański.* Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków.** (= Acta Universitatis Wratislaviensis № 2888). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 2006. 402 s.

Последние два десятилетия в лингвистике прошли, как известно, под знаком поисков так называемой «языковой картины мира», с мощным упором на постижение национальной специфичности лексики и фразеологии. Тон в этих поисках задавали труды двух известных польских лингвистов – Е. Бартминьского и А. Вежбицкой. Не случайно поэтому и рецензируемая монография «Языковая картина мира в лексикализованных сравнениях» принадлежит перу исследователя Вроцлавского университета Владимира Высочаньского. Исходя из концепций своих предшественников, автор сосредоточил свои усилия на одном из самых динамичных и по образности прозрачных блоков языковой системы – славянских и европейских языковых сравнениях. Уже сам выбор материала для когнитивного «просвечивания» весьма удачен, ибо компаративы во всем многоцветии передают как своеобразие, так и общие особенности культуры.

Весьма разумно автором избраны для фронтального исследования не все языки необъятной Славии, а типичные «репрезентанты» всех трех языковых групп: восточнославянской (русский), западнославянский (польский) и южнославянской (сербский/хорватский). Сравнения этих языков исследуются последовательно, педантично и детализировано – с достаточно широким подключением не только материала литературных языков и разговорной речи, но и диалектизмов и фольклоризмов. Но и читатель-славист, и лингвист, интересующийся фразеологией неславянских языков, найдет в книге В. Высочаньского апелляции ко многим другим языковым пространствам. Кроме немецкого, французского, английского, автор оперирует и оригинальными примерами из болгарского, кашубского, голландского, грузинского, греческого, итальянского, молдавского, румынского, абиссинского, арабского, египетского, калмыцкого, малайского, персидского, турецкого, чувашского, индийских, африканских и других языков (с. 32–33 и др.). И такие параллели – пусть и весьма далекие от избранной для конкретного анализа языковой «троицы», помогают объективно оценить квоту общего и индивидуального, типологического и генетического, активного и пассивного в избранном компаративном массиве. Более то-

го, такой фронтальный анализ дает автору серьезные аргументы для пересмотра основополагающей традиционной «троичной» классификации современных языков. Вместо нее В. Высочаньский предлагает двучленное распределение славянских языков, основанное именно на принципе отражения языковой картины мира в зеркале сравнений, а именно – Slavia Latina, к которой относится Польша и Хорватия, и Slavia Ortodoxa, к которой относятся Россия и Сербия (с. 359). Композиция рецензируемой книги полностью отражает ее нацеленность на реконструкцию языковой картины мира. В ее 1-й части – «Сравнение. Языковая картина мира» (с. 19–87) рассматриваются собственно фразеологические проблемы, относящиеся к устойчивым сравнениям как языковым единицам: терминологическая интерпретация компаративов, их классификация, соотношение с другими воспроизводимыми единицами, формальная и семантическая структура, вариантность, синонимия и т.д. Особо освещены разные аспекты отношения компаративов к языковой картине мира – гносеологические проблемы соотношения языка, мышления с действительностью, языковой и культурный релятивизм, наивная и научная языковая картина мира, прототипы в языковой картине мира, стереотип как знак языковой картины мира.

2-я, весьма объемная часть книги (с. 89–349) представляет собой детализированную аналитическую классификацию идеографических блоков, покрываемых устойчивыми сравнениями анализируемых языков. Во многом эта классификация опирается на языковой материал, представленный в монументальном словаре народных стереотипов под ред. Е. Бартминьского [Słownik stereotypów 1996; 1999], что подчеркивается неоднократно самим автором монографии (с. 91, 92 и др.). Показательно, что несмотря на определенную избирательность семантики устойчивых сравнений и их коннотативную маркированнность, они практически покрывают всю дробную сетку этой «картинной» классификации. Вот лишь самые общие ее рубрики в компаративном освещении:

I. ПРИРОДА.

1. Космос, атмосферные явления: 1.1. Мир: 1.1.1. Небо. 1.1.2. Земля. 1.1.3. Вода.

2. Растения.

3. Животный мир.

II. ЧЕЛОВЕК.

1. Индивидуально-личностный масштаб: 1.1. Представители человеческого рода. 1.2. Сфера «телесности». 1.2.1. Строение тела. 1.2.2. Внешний вид. 1.2.3. Рождение, жизнь. 1.2.4. Функции, состояние тела, восприятие, чувства. 1.2.5. Еда, питье. 1.2.6. Одежда, обувь. 1.2.7. Чистота, гигиена. 1.2.8. Здоровье, болезни, физические недостатки. 1.2.9. Смерть. 1.3. Сфера психики и ума. 1.4. Наука о природе мира, познание мира.

2. Общественная организация человеческой жизни. 2.1. Отношения между людьми. 2.2. Имущественное состояние. 2.3. Нарушение морально-этических норм, преступление и наказание. 2.4. Социальная структура и общественная деятельность. 2.5. Трудовая деятельность. 2.6. Традиционные сферы деятельности человека. 2.7. Военное дело. 2.8. Транспорт. 2.9. Урбанизация и индустриализация. 2.10. Образование, наука, воспитание. 2.11. Искусство, творческая и культурная деятельность. 2.12. Обычаи, обряды.

III. БОГ, ВЕРА, ПОВЕРЬЯ, РЕЛИГИЯ.

1. Бог, боги, божества.

2. Сферы мира в поверьях, религиях: 2.1. Потусторонний мир. 2.2. Небо. 2.3. Рай. 2.4. Ад. 2.5. Иные мифологические, сказочные существа.

3. Вера, религия: 3.1. Вера, символы веры, открытые истины, догматы. 3.2. Библейские персонажи. 3.3. Основатели религии. 3.4. Приверженцы религии, апостолы, атеисты, иноверцы. 3.5. Святые. 3.6. Религиозные тексты, канонические молитвы. 3.7. Литургия, праздники, религиозная практика. 3.8. Предметы литургии. 3.9. Церковная иерархия. 3.10. Вспомогательные церковные учреждения. 3.11. Религиозные сообщества и монашеская жизнь монастырей.

Как видим, основная часть книги В. Высочаньского является весьма ценной самостоятельной лексикографической разработкой славянских устойчивых сравнений по идеографическому принципу. Теперь, когда – параллельно с рецензируемой монографией – в свет вышли достаточно обширные словари устойчивых сравнений чешского [SČF 1983], русского [Мокиенко 2003; Мокиенко, Никитина 2007] и восьми славянских языков [Fink-Arsovski 2006], построенные по алфавитно-стержневому принципу, можно перейти к комплексному анализу славянских компаративов на новой основе.

Нужно подчеркнуть, что именно углубление в конкретный языковой материал и прекрасное знание многих языков автором рецензируемой книги, как это ни парадоксально, дает – во всяком случае имплицитно – весьма ценную аргументацию для критики упрощенно понимаемой концепции языковой картины мира. Многие лингвисты, особенно русисты, увлеченные этой концепцией, склонны переоценивать собственно национальную специфику языковой картины мира, конструируя гипертрофированные характеристики «загадочной русской души», фаталистичности и патриархальности русского менталитета и т.п.

Последовательное сопоставление русского и инославянского языкового материала, как правило, существенно корректирует их [Мокиенко, Николаева 2002]. В книге В. Высочаньского находим весьма ценные и убедительные языковые аргументы такого рода. Так, ряд славянских сравнений с компонентом *баба* – (*pleść jak stara baba, brbljati kao stara baba, zachciało się jak starej babie tarek* и др. – с. 198–199) красноречиво свидетельствует об определенной переоценке В.Н. Телией «чисто русской» негативной коннотативности этого слова и соответствующей фразеологии и паремиологии [Телия 1996: 231, 246, 262–268], а наличие целого «каскада» вульгарных и обсценных компаративов в западнославянских и южнославянских языках (*glup kao guzica, ćelav kao guzica, ciemno jak w dupie u Murzyna, bulczy jak rzić w wodzie* и др. – с. 204) демонстрирует относительность известного тезиса А. Вежбицкой о повышенной «скатологичности» русской культуры [Вежбицкая 1996: 79–83].

Нужно подчеркнуть, что В. Высочаньский, принимая и последовательно придерживаясь основных кредо концепции языковой культуры мира, достаточно часто развивает ее именно в сторону акцентовки универсализма или, во всяком случае, реальной соположенности наблюдаемых закономерностей. Таковы выводы о структурировании формы компаративов в сопоставляемых языках (с. 23 и сл.), о структуре их значения (с. 33, 52 и др.), об универсальном взаимодействии сравнения и метафоры в разных языках (с. 31, 33 и др.), о синонимических парах (с. 60, 66 и др.), о типологии коннотаций сравнительных оборотов (с. 130, 135, 153 и др.), о количественном различии анимализмов в составе компаративов разных языков (с. 351) и др. Убедительно обоснован итог исследования – «устойчивые сравнения типа "X как Y" в качестве одного из способов конкретизации сходства представляют собой важную языковую категорию, всесторонне и глубокого отражающую взаимосоотносимость экстралингвистического и языкового мира» (с. 359). Несомненно, что лингвистические результаты, полученные В. Высочаньским, будут способствовать объективной теоретической и практической коррекции некоторых положений концепции языковой картины мира и, хочется надеяться, дадут новый импульс к ее межславянскому исследованию.

Сама языковая «материя», избранная польским исследователям для анализа, подсказала ему и немало объективных констатаций, значимых для славянской фразеологии вообще. Автор справедливо во многих местах книги подчеркивает такие категориальные свойства семантики устойчивых сравнений, как **экспрессивность** (с. 53, 56 и др.), **оценочность** и **эмоциональность**, имеющие преимущественно негативную направленность (с. 61–63 и др.). Весьма внимательно изучив опыт анализа Е.К. Николаевой так называемых **интенсивов**, которые в сфере компаративов во многом объясняют диффузность семантики, В. Высочаньский не только удачно оперирует этим понятием (с. 25, 44, 46–47 и др.), но и предлагает распределение славянских компаративов по степени интенсификации (с. 49–51). Не упускаются из виду и такие свойства компаративной семантики, как потенциальная способность порождать каламбурный эффект (с. 58, 345, 348 и др.). Корректно анализируется в монографии и вариантность (особенно лексическая) компаративных оборотов (с. 64–66 и др.), – причем не только в их «рутинном», моделированном проявлении, но и в виде окказионализмов достаточно полно представленных (с. 216, 313 и др.).

Самоценен, богат и ярок конкретный материал, который собран, систематизирован и введен в научный оборот В. Высочаньским. Этот материал количественно и качественно уравновешен, что уже само по себе нелегко при различных традициях описания компаративов в лексикографии разных славянских стран. Такая «уравновешенность» стала возможной благодаря самостоятельным поискам автора, заставившим его выйти за пределы литературных языков и обратиться к разговорно-просторечной и диалектной стихии. Народная речь широко представлена во всем корпусе книги яркими примерами пословично-поговорочных компаративов – ср. русск. *Молва что ветер: сама в окно лезет* (с. 96); *тощ как хвощ: живёт тоненько, да помаленьку* (с. 112); *гол как сокол, а остёр что бритва* (170); *противна как нищему гривна* (с. 262); *за добрым мужем как за городом, за худым мужем и огородища нет* (с. 310). Такого же рода примеры характерны и для польского и сербского/хорватского материала. Как мы уже видели, автор весьма часто обращается и к вульгаризмам типа *спешит, будто его черти за заднищу кусают* (с. 336), что ярко подтверждает экспрессивность семантики славянских компаративов. Конечно, учитывая еще недавнюю табуированность соответствующей лексики и фразеологии, в этой «материальной» сфере исследования можно обнаружить лакуны – в частности, «гендерного» характера. Так, русск. *молчать как пизда* в книге приводится (с. 204), а *стоять как хуй* 'о стоящем неестественно выпрямленной, жесткой позе человеке' [Мокиенко, Никитина 2003: 366] – нет. Такие лакуны, впрочем, сторицей компенсируются как свежими «приличными» новыми оборотами типа *нужно как щучке (щуке) зонтик* (с. 179) или

глухо как в танке (с. 304), которые свидетельствуют о блестящем знании В. Высочаньским современного русского и славянского узуса. Некоторые же лакуны свидетельствуют о научной деликатности автора книги. Так, в ряду европейских сравнений с компонентом-этнонимом (с. 59) автор включает относительно редкое и семантически специализированное французское сравнение *boire comme un Suisse* 'пить в одиночку, не приглашая других' (букв. пить как швейцарец), не упоминая «рекордсмена» в этом ряду – *boire comme un Polonais* 'пить как сапожник, пить мёртвую' (*букв.* 'пить как поляк').

Следует подчеркнуть, что именно благодаря количественной и качественной пропорциональности анализируемого материала В. Высочаньскому удалось проследить параллелизм многих компаративов в сопоставляемых языках. Ср. такие типичные примеры, как русск. *ругаться как извозчик* – серб./хорв. *псовати (клети) као кочијаш* (с. 309), польск. *umieć coś jak tabliczkę mnożenia* – русск. *знать что как таблицу умножения* (317), польск. *stać jak posąg*, русск. *стоять как статуя*, серб. *стајао је непомично као статуа*, хорв. *stati kao kip* (с. 319) и мн. др. Фронтальное сопоставление, проводимое корректно и даже педантично, помогло автору весьма объективно представить картину совпадений и различий в системе устойчивых сравнений сопоставляемых языков. В итоговой части книги (с. 355–357) дается статистика таких соответствий и несоответствий, которая алгебраически точно отражает общеславянское, межславянское и специфично национальное в данном языковом материале.

В. Высочаньский пытается также выявить и некоторые лакуны анализируемых им полей в отдельных языках. Так, по материалам автора, в русском языке не представлен тематический круг «Пивоварение» (с. 283), что не кажется верным уже потому, что соответствующая реалия издревле была на Руси актуальной (см., например, статью «Братчина» в словаре «Славянские древности»). Вот лишь небольшой список паремий с компонентом ПИВО из «Большого словаря русских народных сравнений» [Мокиенко, Никитина 2007], восполняющих соответствующую лакуну:

брюзжать (брюжжать) как худое пиво. *Народн. Неодобр.* О постоянно ворчащем, брюзжащем человеке.

брюзжать (брюжжать) как худое пиво в брюхе. *Народн. Неодобр.* То же, что **брюзжать как худое пиво.**

брюзжать (брюжжать) как худое пиво из бочонка. *Народн. Неодобр.* То же, что **брюзжать как худое пиво.**

брюзжать (брюжжать) как худое пиво у афендрона. *Народн. Неодобр.* То же, что **брюзжать как худое пиво.** (XVIII в.).

квас как пиво. *Пск.* О хорошо заквашенном, приятном на вкус квасе.

(гулять) как чёрт **пиво** варит см. **Чёрт.**

настой как пиво хорошее. *Арх. Одобр.* О густом пахучем сенном настое.

Наука не пиво: в рот не возьмёшь. *Посл. Олон., Краснояр.* Практическая польза науки неоднозначна.

Наука не пиво: в рот не вольёшь. *Посл.* То же, что **Наука не пиво: в рот не возьмёшь.**

Это недолго: не пиво варить, не вино курить. *Народн.* О чём-л., что можно сделать быстро.

словно пивом напоил, как рублём подарил. *Народн. Одобр.* О человеке, поступившем с кем-л. очень хорошо или сказавшем что-л. приятное.

В. Высочаньскому удалось также выявить и некоторые лакуны анализируемых им полей в отдельных языках.

Существенным элементом конкретного анализа польского материала являются и подстрочные комментарии к отдельным оборотам, лексический стержень которых затемнен или неизвестен носителям языка. Здесь автор опирается на солидную традицию паремиологических комментариев, созданную в Польше преимущественно этнографами и фольклористами.

Оперативной ориентации в богатом конкретном материале книги помогает индекс стержневых компонентов польских компаративов (с. 381–402), который, пожалуй, является прототипом будущего сводного их словаря. Многоаспектное же обобщение этого материала сделано не только в последовательном его анализе в соответствующих частях монографии, но и в лапидарных классификациях. Таковы, например, классификации компаративов по признаку градуальности/неградуальности (с. 24 и сл.), по типу фразеологичности (с. 30–31) и мотивированности (с. 44), распределение анималистических оборотов по взаимосоотнесенности их компонентов (с. 352) и мн. др. В. Высочаньский развивает и детализирует некоторые традиционные классификации – например, «классическое» распределение фразеологизмов на «натуральные и конвенциональные» (с. 43 и сл.), предложенное на Международном конгрессе славистов 1958 г. в Москве Ст. Скорупкой.

В капитальном исследовании В. Высочаньского нелегко найти мишень для критики, обязательной при рецензировании любого труда. Можно лишь высказать отдельные замечания уточняющего характера.

Объективное состояние изученности славянской компаративной фразеологии пока еще не позволяет полностью уравновесить реальные данные разных языков при их сопоставлении. Это, между прочим, отразилось и на словнике восьмиязычного словаря славянских сравнений, изданном в Загребе [Fink-Arsovski 2006]. Не могло оно не сказаться и на отдельных наблюдениях автора рецензируемой книги. Отсюда – впечатление о большей лакунности материала одного языка по сравнению с другим. Так, давая сравнения с компонентом «мак» (с. 116), В. Высочаньский приводит 17 польских оборотов (*drobny jak mak, ludzi jako maku, jakby się w korcu maku szukali* и др.) и всего лишь один – русский (*как маком усыпано*). Количественная диспропорция налицо, что влечет за собой и вывод о суженном семантическом диапазоне соответствующего концепта «Мак» и его слабой представленности в русской языковой картине мира. Однако в реальной русской народной речи, отразившей этот концепт, находим не только значительно бóльшую палитру оборотов, чем в польском, но и весьма значимый для «картинной» представленности семантический ее диапазон. Такого рода материал (расшифровка источников которого не приводится лишь с целью экономии места) представлен в новейшем тезаурусе русских компаративов [Мокиенко, Никитина 2007]:

(веснушчатый) **как мак посян по лицу** *у кого. Пск.* О веснушчатом или рябом человеке. СППП 2001, 104.

(земля) **как мак.** *Одобр.* 1. *Пск.* О покрытой красными ягодами (напр., земляникой) поверхности земли. КПОС. 2. *Волог.* О красивой, ровной, плодородной почве. СВГ 3, 95.

как (як) мак таўкти. *Смол. Ирон.* О суетящихся, бесцельно копошащихся где-л. людях. < Сравнение основано на обороте **комары мак таўкуць** – о снующих комарах. Добр., 75.

мак маком пришло. *Пск., Твер. Фольк.* Становиться, стоять столбом (в хороводной игре). СРНГ 17, 306.

меленький как мак. *Пск.* О чем-л. очень мелком. СППП 2001, 104.

(рябый) **как мак посеян (по лицу)** *у кого. Пск.* То же, что (веснушчатый) **как мак посеян (по лицу)** *у кого.* КПОС.

(цветуха) **как мак.** *Смол.* О красной сыпи на теле. < **Цветуха** – сыпь на теле. ССГ 11, 77.

(чёрный и рассыпчатый) **как мак.** *Пск.* Об очень чёрной и рассыпчатой почве. СППП 2001, 104.

как (словно, точно) [слепым] маком обсеян. 1. *Курск.* Об околдованном, завороженном, находящемся в трансе человеке. СРНГ 22, 232. 2. *Смол.* О человеке, на которого нашло помрачение рассудка, ослепление. СРНГ 24, 22.

как маком усыпано (усеяно). *Народн.* 1. О чем-л. мелком, густо покрывающем какую-л. поверхность. Д. 4, 518. 2. О мелком, бисерном почерке, мелких буковках. Д. 2, 291; Мих., 311; SČF, 47.

рассыпаться/рассыпаться маком [*перед кем*]. *Пск. Шутл.-ирон.* Говорить любезности, давать обещания кому-л. СППП 2001, 104.

чего **как маку.** *Кубан.* О большом количестве кого-л., чего-л. Чалов 1982, 16.

кого **как (словно) маку насеяно.** *Народн.* О множестве народу. ДП, 551.

словно маку насеял. *Народн. Шутл.* О чьем-л. мелком письме. ДП, 420.

Число такого рода сравнений несколько увеличено и за счет учета специфичных для русского языка сравнений со структурой Творительного сравнения типа *сидеть маком* (к сожалению, не отраженных в рецензируемой книге). Разумеется, при более детализированном погружении в народную польскую речь и новая «диспропорция» в пользу русского материала будет преодолена. Вот почему исследователь всегда должен учитывать относительность статистических соотношений сопоставимых языков и оговаривать их. Столь же относителен, пожалуй, и вывод автора книги о грамматической представленности женского рода преимущественно в польских сравнениях – напр., *dziewczna jak rzepa, głupia jak indyczka, dziewczyna jak iskra* и т.п. (с. 39). Реальность русской (и, вероятно, сербской и хорватской) народной речи показывает и здесь относительную сбалансированность этого признака, поскольку важнее – общая для европейских языков гендерная нацеленность на мужской род.

Увлеченный поисками максимально полного материала для сопоставительного анализа компаративов, В. Высочаньский иногда включает в корпус последних и единицы другого типа – т. е. не относящегося к модели «X как Y», например: *Каково стукнешь, таково и отзовётся* (с. 247), *должно жить, как Бог велит* (с. 328), *казённый мужик живёт, как Бог велит* (с. 329), *на месяце видно, как Каин Авеля вилами убил* (с. 342), *быть делу так, как пометил дьяк* (с. 349).

Для русского материала весьма симптоматичен и некоторый разнобой в написании сравнений, весьма точно отраженный в рецензируемой книге. Близкие по структуре и семантическому типу обороты пишутся здесь то с запятой, то без запятой, например: *летел, как ангел, а упал, как чёрт – выглядеть как ангелочек* (с. 331); *попал как чёрт в рукомойник, вертит как чёрт в пучине – правит, как чёрт болотом* (с. 335), *носиться как чёрт, бежать*

от кого как чёрт от ладана, насупиться как чёрт – глядит на меня, как чёрт на попа, упрям, как карамышевский чёрт, боится, как чёрт ладану (с. 336), *вертит, как леший в уйме – вкалывать как карлик на водокачке* (с. 338), *житьё, как попадье за попом* (с. 348) – *жить как анахорет* (с. 349) и т.п. При столь массированной подаче материала особо видна непоследовательность и нелогичность регламентаций, налагаемых правилами русской пунктуации при написании устойчивых сравнений. Критерии здесь крайне субъективны, равно как и использование этих правил пишущими. Вот почему в «Словаре сравнений русского языка» [Мокиенко 2003] была сделана попытка полной унификации традиционных правил с ориентацией на общеевропейскую модель – аналогичную польской, сербской, хорватской, чешской и др.

Наконец, можно отметить и мелкие недочеты: в выражении *реветь как белуга* имеется в виду не рыба (как утверждает автор – с. 179–180), а *белуха* – 'полярный дельфин, якобы способный реветь' (см. [Бирих, Мокиенко, Степанова 2005: 48]); оборот *у него ножки как сошки* ошибочно отнесен автором к «военной» группе сравнений (с. 304), хотя он явно «мирного», крестьянского происхождения; оборот *один блестит как мишура, другой блистает как солнце* (с. 327) прямо не соотносится с погребальными обрядами, к семантике которых причисляет его В. Высочаньский. Можно было бы несколько пополнить в целом весьма солидный список библиографии на компаративную тему, например, работами М. Банько [Bańko 2004], Фр. Чермака, Ф.М. Янковского, О.С. Юрченко, А.А. Ивченко, Г.М. Добролёжи, М.М. Пазяка, Н.А. Смоляковой и др.

Отмеченные недочеты, однако, незначительны на фоне многотрудно добытых научных результатов. В. Высочаньский не только убедительно продемонстрировал эффективность фронтального межславянского сопоставления на европейском языковом фоне, но и значительно конкретизировал (resp. сузил) круг собственно национальных маркеров языковой картины мира трех славянских языков. Компаративная мозаика созданной им фрески ярка и пластична, как и вся архетектоника живой славянской речи. Книгу польского исследователя и по масштабам охваченного языкового материала, и по глубине его теоретической разработки можно без преувеличения назвать энциклопедией славянских компаративов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бирих, Мокиенко, Степанова 2005 – *А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова.* Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. Около 6000 фразеологизмов / Под ред. В.М. Мокиенко. 3-е изд., испр. и доп. М., 2005.

Вежбицкая 1996 – *Анна Вежбицкая.* Язык. Культура. Познание / Пер. с англ. Отв. ред. М.А. Кронгауз, вступ. ст. Е.В. Падучевой. М., 1996.

Мокиенко 2003 – *В.М. Мокиенко.* Словарь сравнений русского языка. СПб., 2003.

Мокиенко, Никитина 2003 – *В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина.* Словарь русской брани: матизмы, обсценизмы, эвфемизмы. СПб., 2003.

Мокиенко, Никитина 2007 – *В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина.* Большой словарь русских народных сравнений. СПб., 2007.

Мокиенко, Николаева 2002 – *В.М. Мокиенко, Е.К. Николаева.* Интернациональный фонд русской фразеологической картины мира // Rossica Olomucensia. XL (za rok 2001). 1. Část. 2002.

Телия 1996 – *В.Н. Телия.* Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.

Bańko 2004 – *M. Bańko.* Słownik porównań. Warszawa, 2004.

Fink-Arsovski 2006 – *Ž. Fink-Arsovski.* Rječnik hrvatsko-slavenske poredbene frazeologije. Zagreb, 2006.

SČF 1983 – Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání / Red. Fr. Čermák, J. Hronek, J. Machač. Praha, 1983.

Słownik stereotypów 1996; 1999 – Słownik stereotypów i symboli ludowych / J. Bartmiński. (red.). T. I. Kosmos. [Cz. 1]: Niebo. Światła niebieskie. Ogień. Kamienie. [Cz. 2]: Ziemia, woda, podziemie. Lublin, 1996; 1999.

В.М. Мокиенко

***A. Pereltsvaig.* Copular sentences in Russian. A theory of intra-clausal relations. Studies in natural language and linguistic theory.** V. 70. Springer: Dordrecht. 2007. xi + 161 pp.

Серия монографий, с 1986 г. издаваемых при журнале Natural language and Linguistic theory, большинство которых в соответствии с профилем журнала посвящено теоретическим проблемам генеративной лингвистики на материале отдельных языков, во второй раз (после

монографии [Neidle 1988]) обогатилась исследованием по русской грамматике. Цель работы А. Перельцвайг – исследование отношений «внутри клаузы» (intra-clausal relations): структуры фразовых категорий, ролевых и падежных отношений на материале предложений со связкой в русском языке.

Центральная проблема монографии – выбор падежа именной части сказуемого в предложениях типа (1) а. *Дом был новым; Сократ был греком* и б. *Дом был новый; Сократ был грек*. Автор предполагает, что этот фрагмент русской грамматики представляет интерес для теории, так как выбор, о котором идет речь, обусловлен некоторыми принципиальными различиями в синтаксической структуре (1а) и (1б).

Книга посвящена обоснованию двух гипотез. Первая касается глагола-связки и заключается в том, что в предложениях с творительным падежом (1а) связка задает иерархически более сложную конструкцию, чем в предложениях с именительным (1б); выражаясь неформально, в (1а) связка выступает в роли полнозначного глагола, а в (1б) – в роли служебного элемента (= функциональной категории). Вторая гипотеза касается именной части сказуемого. Она предполагает, что именная часть в (1а) устроена, наоборот, проще, чем в (1б) и выражена группой существительного, или «именной группой» в точном смысле (NP), не вложенной в группу детерминатора (DP), – в отличие от (1б), где и подлежащее, и именная часть сказуемого представлены DP. Различие между DP и NP, наглядное в артиклевом языке, – если предположить, что артикль (или его дистрибутивный эквивалент) является вершиной именной конструкции, – может быть обнаружено в русском языке только по косвенным признакам. Трудноуловимое различие в семантике между падежными вариантами следует, по А. Перельцвайг, из различия в структуре. А. Перельцвайг исключает из рассмотрения полусвязочные глаголы типа *являться*, так как они (кроме *называться* и *стать*) не допускают номинатива, бытийный глагол (про его отличия от связки см. в [Chvany 1975; Арутюнова, Ширяев 1983]), а также локативные, посессивные предложения и те виды сказуемых, в которых присвязочный компонент не имеет падежной формы, то есть выражен краткими прилагательными, предложными группами (*Она в хорошем настроении*) или наречиями (*Она замужем*). Предикативную связку и связку тождества автор считает одной и той же лексической единицей.

Автор разделяет ныне общепринятую в порождающей грамматике точку зрения, согласно которой глагол-связка задает малую клаузу – особый тип предикативной конструкции, лишенный полнозначного глагола. Первоначально к малым клаузам относили только зависимые предикативные выражения типа англ. (2) *I consider [Peter extremely intelligent]* 'Я думаю, что Питер чрезвычайно умен' или (3) *Could you let [the cat into the house]*? 'Не могли бы вы впустить кошку в дом?', где несложно показать, что отрезки, выделенные скобками, состоят из подлежащего и сказуемого – адъективной (2) или предложной (3) группы. В дальнейшем [Bowers 1993; Guéron, Hoekstra 1995; Moro 1997] к малым клаузам были причислены и связочные конструкции. Основной аргумент в пользу такого анализа – то, что обе синтаксические валентности связки, то есть подлежащее и именная часть сказуемого, иерархически упорядочены иначе, чем подлежащее и дополнение при полнозначном глаголе.

Структура соответствующих малых клауз постулируется следующим образом (F – первая снизу функциональная вершина связочной конструкции):

(4) С двумя именительными:

(5) Именительный с творительным:

Структура книги отражает последовательное развитие основного тезиса, сформулированного в главе 1: в главе 2 автор анализирует проекции существительного (NP и DP), в главе 3 обосновывается правомочность симметричных структур в синтаксисе, в главе 4 рассмат-

ривается соотношение грамматических и семантических свойств именной части сказуемого (post-copular phrase), глава 5 содержит гипотезу о причине различного падежного оформления именной части.

С точки зрения С. Эбни [Abney 1987], которую принимает автор, традиционная именная группа содержит две полные фразовые проекции: группу детерминатора (DP), возглавляемую функциональной вершиной, такой, как артикль, и собственно группу существительного (NP) с лексической вершиной. Лексические и функциональные элементы А. Перельцвайг предлагает разграничивать по их способности задавать тематические роли (thematic grid). По мысли автора, русские именные группы в некоторых случаях обладают полной структурой DP, а в некоторых представляют собой только NP («малую именную группу», small nominal), то есть лишены детерминатора и его фразовой проекции. Далее автор присоединяется к гипотезе А. Маранца, Х. Борер и др. авторов, согласно которой различие референтных и нереферентных выражений задается в функциональной, а не в лексической структуре, т.е. в категории D. Чтобы выполнять роль актанта, именное выражение должно быть DP, а в роли предиката DP, наоборот, выступать не может. Отсюда следует, что и в языке, лишенном артиклей, таком, как русский, следует предполагать наличие детерминаторов, хотя и нулевых.

Предлагаются следующие аргументы в пользу того, что присвязочные имена в разных падежах образуют разные категории. Во-первых, NOM и INSTR не сочиняются (6) **Бородин был профессором химии и композитор // ...профессор химии и композитором*. Во-вторых, INSTR не могут включать указательных местоимений, поскольку те принадлежат к категории D: (7) а. *Иванушка-дурачок был тот брат, который всегда попадал в беду*; б. *Иванушка-дурачок был (*тем) братом, который всегда попадал в беду*. В-третьих, выражения с числительными не могут выступать в INSTR: (8) *Олег и Иван были (*двумя) хорошими работниками*.

К сожалению, ни один из трех доводов не кажется нам убедительным. Сочинение имен с разными вариантами падежного управления недопустимо даже при совпадении категорий: (9) **Преисполнился мужеством и бодрости* vs. *Преисполнился мужеством и бодростью/мужества и бодрости*. Запрос в «Национальный корпус русского языка» показывает, что второе наблюдение неверно: (10) *Хитров рынок был тем самым прибежищем босяков... которые некогда послужили материалом для Художественного театра* (В.П. Катаев); (11) *Эти народно-праздничные формы осмеяния и срамословия и были теми корнями, из которых выросли литературные сатирические формы* (М.М. Бахтин) и мн. др. Неверным оказывается и третье наблюдение: (12) *Для Мандельштама наука и социальная идеология были двумя разными мирами*; (11) *Он и я были двумя крупными куклами, набитыми грязной ватой и тряпками* (Набоков, «Лолита»); также примеры из Интернета: (12) *Старики были тремя местными божествами – Сумиёси, Ивасимизу и Кимано*; (13) *Оказалось, что эти десять львов на самом деле были десятью каменными львами* и т.п. Не бесспорна и негативная оценка приемлемости в (7б) и (8). Наконец, из предположения А. Перельцвайг следует, что конструкции, возможные только с NOM, не могут иметь соответствий в нефинитных оборотах, где номинативная форма сказуемого недопустима, но это неверно: (7') *быть тем братом, который всегда попадал в беду*; (14) *Другие могли быть теми его снами, которых он не помнил* (Пелевин); (15) *Груды железа, еще недавно бывшие двумя автомобилями, с грохотом рухнули вниз*.

Автор воздерживается использовать в качестве аналитического теста возможность местоименной замены (*был он* vs. *был им*), справедливо отмечая, что вопрос о месте базовой деривации (merge) местоимений в русском языке неясен (с. 28). Все же невозможность местоименной замены для большинства именных адъюнктов в русском языке типа *шел лесом* (**им*), *лекция из истории* (**нее*), *покупать сахар мешками* (**ими*) и т.п., как кажется, заслуживает обсуждения в связи с предполагаемым различием NP и DP. Автор мог бы также обратить внимание на выражения типа *он самый* или *таковой*, которые, возможно, являются предикативными NP-проформами, не могущими выражать связанные переменные, но не DP-проформами: (16) а. *Эта невероятная чушь, даже если кто-то в нее поверит, не перестанет быть ею самою/таковой*, т.е. *невероятной чушью*, ср. б. *...не перестанет быть собой*, где происходит связывание рефлексива определенной DP *эта невероятная чушь*.

Предложения с INSTR и NOM различаются и по последствиям инверсии: (17) а. **Свой лучший друг был Олег*; б. *Своим лучшим другом был Олег* – в инверсии (17а) автор предполагает аргументное передвижение (в SpecTP), создающее недопустимую структуру для рефлексива, а в (14б) – неаргументное передвижение (в SpecCP), более приемлемое для рефлексива в составе передвигаемой группы. Важно, что в этом отношении конструкции с INSTR ведут себя так же, как краткие формы прилагательных: (18) *Доволен собой был Олег*. Заметим,

впрочем, что рефлексив и без инверсии мало допустим в номинативной части сказуемого: (17') *??Олег был свой лучший друг*. На материале итальянского и норвежского языков автор показывает, что и в языках с выраженными вершинами категории D (артиклями) прилагательные в составе сказуемого проявляют те же свойства, что и NP, но отличаются от артиклевых DP.

В третьей главе А. Перельцвайг бросает вызов весьма авторитетной в порождающей грамматике и поддержанной Н. Хомским [Chomsky 1995] «гипотезе антисимметрии» Р. Кейна, поскольку, согласно ее предположению, обе DP в (4) структурно симметричны относительно связки. Здесь разбираются эмпирические и концептуальные трудности гипотезы антисимметрии, в частности – необходимость постулировать слишком большое число функциональных вершин, лишенных семантического или фонетического содержания, и выдвигается гипотеза о том, что фундаментальная операция соединения (merge) может порождать симметричные структуры в том случае, когда две соединяемые составляющие обладают совпадающими признаками. В этом случае все три логически возможные способы соединения, которые рассматривает Хомский, – пересечение, объединение или выбор множества признаков каждого из соединяемых элементов, – дают одинаковый результат. В качестве примеров симметричных структур Перельцвайг упоминает, например, глагольную сериализацию или аппозитивные конструкции. Не ясно, почему здесь автор не упоминает сочинительные структуры и обширную дискуссию об их (не)симметричности, см. например [Borsley 2005].

А. Перельцвайг доказывает, что русские биноминативные предложения типа (1б) не обнаруживают признаков иерархической упорядоченности подлежащего и именной части сказуемого. Под иерархией в данном случае имеется в виду асимметричная структура составляющих без учета семантических типов; в этом отличие от ориентированного на семантику подхода Е.В. Падучевой и В.А. Успенского [1979], которые делают вывод, что подлежащее в биноминативном предложении по-настоящему неотличимо от сказуемого только в предложениях идентификации.

В четвертой главе утверждается, что в конструкции с NOM предикативное имя не задает тематических ролей, а связь между подлежащим и сказуемым осуществляется через референциальную индексацию обеих DP, а в конструкции с INSTR именная часть сказуемого, наоборот, задает тематическую роль. Автор считает неудовлетворительной простую теорию тематических отношений, предложенную в [Chomsky 1995], согласно которой тематические отношения устанавливаются посредством операции объединения. Вместо этого, развивая идеи Дж. Хиггинботама, А. Перельцвайг различает несколько способов «погашения» тематических валентностей (thematic discharge), из которых ключевой интерес представляет тета-связывание, когда валентность существительного «погашается» необычным образом, а именно связывается элементом D, например, артиклем. При этом предлагается разрешить существование таких тематически не маркированных DP, которые находятся в некотором особом отношении с другой DP, например, при анафоре (19) *Жизнь, она вообще не легкая* – то, что называется в русистике «именительным темы». В конструкции NOM пара DP, находящихся в отношении кореферентности, образуют симметричную составляющую – объемлющую DP с тем же референциальным индексом, что и каждая из них. Чтобы избавиться при этом от нарушения принципа С теории связывания, автор ограничивает связывание случаями асимметричного командования.

Для предложений с INSTR предполагается, что связка в них выступает как лексическая вершина, в других терминах – полнозначный глагол, обладающий тематической валентностью. Валентность прилагательного, так же как и валентность существительного, «погашается» в спецификаторе малой клаузы во взаимодействии со связкой. В отличие от глаголов (20а), но так же, как и существительные (21), прилагательные в роли сказуемых не допускают родительного при отрицании (17б): (20) а. *не белело ни одного паруса*; б. **не было бело ни одного паруса*; (21) **Ни одного ребенка не было учеником*. Стативные глаголы ведут себя в соответствии с признаковой диагностикой как «неаккузативные», и их валентность «погашается» внутри глагольной группы, но прилагательные и существительные парадоксальным образом проявляют те же грамматические свойства, что и агентивные «неэргативные» глаголы: их валентность «погашается» так же, как агенс, то есть в позиции для внешнего аргумента. Для разрешения этого парадокса А. Перельцвайг привлекает технически сложную гипотезу, разграничивая аргументные переменные (a-variables) и тематические индексы: связка имеет аргументную переменную, но необходимый индекс получает от именной части сказуемого в INSTR.

Опираясь на длительную традицию изучения семантических различий между NOM и INSTR (А.М. Пешковский, Р.О. Якобсон, Д.Э. Розенталь, А. Вежбицка, А. Тимберлейк,

Л. Гайст и мн. др.), автор отмечает, что NOM содержит, в отличие от INSTR, презумпцию существования, за которую «отвечает» референциальный индекс DP; отсюда невозможность отрицания (22) **Никто не был мой лучший друг* (существование одновременно утверждается и отрицается). Можно, впрочем, обратить внимание на то, что при нулевой связке такие предложения возможны: (23) *Никто из них не лингвист*.

В пятой главе проводится различие между морфологическим и абстрактным синтаксическим падежом. Синтаксические падежи подразделяются на структурные, проверяемые в позиции спецификатора, и ингерентные, проверяемые в позиции комплемента при соединении составляющих. Предполагается, что номинатив в русском языке – в некоторых случаях синтаксический, а в некоторых – дефолтный падеж, возникающий в отсутствие синтаксического. Номинатив выступает вне управляющего контекста – в назывных предложениях, во фрагментах, в конструкциях «именительного темы», в роли вокатива и т.п. Обе DP в симметричной конструкции с номинативом не являются синтаксическими аргументами и поэтому получают морфологический дефолтный падеж; автор показывает, что ранее предлагавшиеся объяснения (например, согласование по падежу аргументов связки) менее убедительны. Творительный рассматривается А. Перельцвайг как дефолтный ингерентный падеж; возможно, стоило рассмотреть возможность считать его также дефолтным падежом именного адъюнкта.

Монография А. Перельцвайг представляет несомненный интерес для читателей, интересующихся теорией грамматики, и исследователей русского языка, и многие высказанные в книге идеи в области фразовой структуры, тематических отношений и теории падежа выглядят перспективными. По крайней мере одна из двух основных гипотез автора, объясняющая различие двух конструкций симметричным строением NOM и стандартным асимметричным устройством INSTR, на наш взгляд, хорошо аргументирована, хотя, возможно, технические подробности могут быть оспорены. Слабее выглядит вторая гипотеза – о DP и NP в качестве именных сказуемых, прежде всего потому, что автору не удалось предъявить убедительные аналитические доказательства различия этих фразовых категорий в русском языке.

В книге не уточнен вопрос о структуре предикативной группы прилагательного (AP) в NOM. Автор как будто рассматривает ее как DP[D AP], однако при этом невозможно объяснить, почему особые свойства прилагательных в предикативной позиции одинаковы в NOM и INSTR, например, деидиоматизация, ср. (24) а. *золотое дно* и б. *Дно было золотое/золотым* (только в буквальном значении), или запрет на наличие комплемента, ср. (25) а. *довольный своими оценками студент* и б. *Он был довольный/довольным* (**своими оценками*) [Grashchenkova, Grashchenkov 2007]. Случай несовпадения морфологических признаков в биноминативной конструкции с «классификатором» типа (26) *Итальянские студентки – народ веселый* (с. 55) представляет собой отдельную проблему (ср. *Он мужик хороший; Люда – девушка старательная*), требующую предварительного анализа особой структуры группы сказуемого.

В списке литературы отсутствуют некоторые важные работы [Апресян 1992; Арутюнова 1976; Арутюнова, Ширяев 1983; Junghanns 1997; Падучева, Успенский 1979; 1997; Paducěva 1979]. Отдельные предложения мало (*Ленин был Владимир Ульянов*, с. 7) или вовсе неприемлемы («датив посессора»: *Корзинка ей совсем развалилась, Дети ей никогда не болели*, с. 82); иногда неграмматичность приписана ошибочно (**Питер был доктор, и Андрей тоже был доктор*, с. 100). Возможности «извлечения» из предложений с различной формой сказуемого иллюстрируются (с. 11) примерами из [Bailyn, Rubin 1991] (27) а. *Кем ты знаешь, что Саша был ___?* vs. б. **Кто ты знаешь, что Саша был ___?* Между тем (26а) неприемлемо, и для эксперимента лучше было бы взять другой тип придаточного, в отличие от предложений с союзом *что*, допускающий «извлечение»: (28) а. *Кем ты хочешь, чтобы Саша был ___?* действительно несколько более приемлемо, чем б. **Кто ты хочешь, чтобы Саша был ___?*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян 1992 – *Ю.Д. Апресян*. Лексикографические портреты (на примере глагола *быть*) // Научно-техническая информация. Сер. 2. 1992. № 3.

Арутюнова 1976 – *Н.Д. Арутюнова*. Предложение и его смысл. М., 1976.

Арутюнова, Ширяев 1983 – *Н.Д. Арутюнова, Е.Н. Ширяев*. Русское предложение. Бытийный тип. М., 1983.

Падучева, Успенский 1979 – *Е.В. Падучева, В.А. Успенский*. Подлежащее или сказуемое? (семантический критерий различения подлежащего и сказуемого в биномиальных предложениях) // ИАН СЛЯ. Т. 38. 1979. № 4. (переп. в: *Успенский В.А.* Труды по нематематике. М., 2002).

Падучева, Успенский 1997 – *Е.В. Падучева, В.А. Успенский*. Биноминативное предложение: проблема согласования связки // Облик слова: Сб. статей памяти Д.Н. Шмелева. М., 1997.

Abney 1987 – *S. Abney*. The English noun phrase in its sentential aspect: Ph. D. dissertation. MIT. 1987.

Bailyn, Rudin, 1991 – *J. Bailyn, E. Rudin*. The unification of instrumental case assignment in Russian // A. Toribio et al. (eds.). Cornell working papers in linguistics. 9. Ithaca, 1991.

Borsley 2005 – *R. Borsley*. Against ConjP // Lingua 115. 4. 2005.

Bowers 1993 – *J. Bowers*. The syntax of predication // Linguistic inquiry. 24. 1993.

Chomsky 1995 – *N. Chomsky*. The minimalist program for linguistic theory. Cambridge (Mass.), 1995.

Chvany 1975 – *C. Chvany*. On the syntax of BE-sentences in Russian. Cambridge (Mass.), 1975.

Grashchenkova, Grashchenkov 2007 – *A. Grashchenkova, P. Grashchenkov*. Argument structure of Russian adjectives. Workshop on argument structure. Victoria-Gasteiz, 2007.

Guéron, Hoekstra 1995 – *J. Guéron, T. Hoekstra*. The temporal interpretation of predication // A. Cardinaletti, M.T. Guasti (eds.). Syntax and semantics. 28. New York, 1995.

Junghanns 1997 – *U. Junghanns*. On *byt'* (and *byti*) // U. Junghanns, G. Zybatow (Hrsg.). Formale Slavistik. Frankfurt-am-Main, 1997.

Moro 1997 – *A. Moro*. The raising of predicates. Predicative noun phrases and the theory of clause structure. Cambridge, 1997.

Neidle 1988 – *C. Neidle*. The role of case in Russian syntax. Studies in Natural language and Linguistic theory. V. 10. Dordrecht, 1988.

Padučeva 1979 – *E.V. Padučeva*. Topic and focus in Russian bi-nominative sentences // Journal of linguistic calculus. V. 3. 1979. № 4.

Я.Г. Тестелец

Типографский устав: Устав с Кондакарем конца XI – начала XII века / Под ред. Б.А. Успенского. М.: Языки славянских культур, 2006. Т. I: Факсимильное воспроизведение; Т. II: Наборное воспроизведение рукописи / Подгот. текста, сост. словоуказателя и текстол. коммент. С.В. Петровой; Палеогр. коммент. В.С. Голышенко; Т. III: Исследования.

Издательство «Языки славянских культур» выпустило в свет, при поддержке Российского гуманитарного научного фонда и под эгидой Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, роскошное издание замечательного древнерусского памятника – так называемого Типографского устава (далее ТУ). Под этим названием в науке известен сборник, включающий Студийский церковный устав (неполностью) и Кондакарь и хранящийся в Государственной Третьяковской галерее (ГТГ) под шифром К-5349. Рукопись, вплоть до 20-х годов прошлого столетия привлекавшая пристальное внимание исследователей разных специальностей (см. литературу в [Сводный каталог 1984: 89]), после революции подверглась весьма непростым испытаниям: буквально спасенная известным искусствоведом А.И. Некрасовым из подвалов, куда были сосланы манускрипты бывшего собрания Синодальной типографии[1], она до 1957 г. пролежала в хранилищах ГТГ, пока выдающийся датский музыковед Карстен Хёг, издатель фундаментальной серии «Monumenta musicae byzantinae», не обратился в советские инстанции с просьбой прислать ему для исследования микрофильм рукописи. Возражений сначала не последовало, и рукопись поступила на реставрацию, которая должна была предшествовать микрофильмированию, – однако в 1958 г. один из сотрудников Академии наук[2] выступил с заявлением «о недопущении отправки фотокопий кондакарей за пределы Советского Союза». В результате выполнение заказа на микрофильмирование было приостановлено «до опубликования соответствующих материалов отечественными исследователями – музыковедами». Это решение, впрочем, не повлияло на планы реставрации. К сожалению, к пергамену с текстом 800-летней давности были применены те же методы, которые использовались для «смягчения кожи кресел» в Кремле: уже через несколько лет рукопись стала погибать, и, пожалуй, наиболее явным и фатальным признаком умирания явилась невосполнимая и прогрессирующая утрата деталей рисунков и ча-

[1] Здесь и далее сведения об истории рукописи почерпнуты из весьма информативной статьи Е.В. Гладышевой, помещенной в III томе издания, с. 53–64.

[2] В статье Е.В. Гладышевой он именуется Бранниковым; не имеется ли в виду крупнейший исследователь древнерусского певческого искусства Максим Викторович Бражников, который в 1955 г. фототипически издал другой кондакарь – Благовещенский начала XIII в.?

сти записей, которые прекрасно читались еще в середине века и даже в 70-е годы.

Между тем «отечественных исследователей», готовых взяться за изучение ТУ, не находилось, и когда в 1964 г. с просьбой о микрофильмировании обратилась уже библиотека Йельского университета, в ГТГ вспомнили о приоритете К. Хёга и наконец отправили микрофильм в Копенгаген. В 1972 г. Устав был на год выдан в Ленинскую библиотеку «для работы О.А. Князевской, которая готовила его к публикации», – однако в 1974 г. рукопись была возвращена в ГТГ, но издание так и не появилось. Вместе с тем в подготовленных А. Досталом и Г. Роте и вышедших в Германии с 1977 по 2004 гг. пяти томах критического издания «Древнерусского кондакаря», в основу которого был положен текст Благовещенского кондакаря, кондакарная часть ТУ (по «надежному списку», изготовленному вручную Ф. Келлером) регулярно использовалась как для подведения разночтений, так и для публикации ряда песнопений, отсутствующих в других списках [Der altrussische Kondakar' 1977–2004]. В начале 90-х гг. была проведена повторная реставрация ТУ – на сей раз высококвалифицированными специалистами Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря – М.А. Волчковой и Т.Б. Рогозиной под руководством Г.З. Быковой.

И вот, наконец, в 2006 г. долгожданное издание многострадальной рукописи осуществлено под редакцией одного из ведущих филологов современности, Б. А. Успенского, который еще в 1973 г. в знаменитой работе «Древнерусские кондакари как фонетический источник» [Успенский 1973] на основе сопоставления обычного текста песнопений с так называемым «растяжным» письмом подробно описал некоторые фонетические черты рукописи, позволяющие реконструировать древнерусское произношение.

Первый том издания содержит достаточно высококачественное черно-белое факсимильное воспроизведение рукописи, которое позволяет, с одной стороны, de visu ознакомиться с текстом памятника и с его главной особенностью – до сих пор не расшифрованной певческой нотацией, а с другой стороны – воочию убедиться в невосполнимых утратах текста и рисунков, павших жертвами роковой «реставрации» 50-х годов (см., например, трудночитаемый текст на обеих сторонах листа 14 или рисунок на л. 18, рядом с которым когда-то читалась запись **Ѻхъ мнѣ грѣшьникоу**). Хотя после повторной реставрации новых признаков угасания текста не отмечено, издание факсимиле служит залогом того, что ТУ теперь уже всегда, вне зависимости от каких-либо изменений в рукописи, будет доступен для исследования.

Второй том состоит из двух частей – наборного воспроизведения текста с комментариями (с. 5–278) и словоуказателя (с. 279–454). В издании текст воспроизводится полностью, за исключением нотных знаков (хорошо различимых и на факсимиле), с разделением на слова и введением переносов; в ряде случаев издательнице, С.В. Петровой, при помощи электронного увеличения сканированного текста рукописи удалось прочесть буквы, уже не читаемые невооруженным глазом. Следует с удовлетворением констатировать, что наборное издание в основном правильно, почти без отклонений, передает сложный текст устава и песнопений, который, как пишет С.В. Петрова, нередко приходилось «в буквальном смысле расшифровывать» (с. 7; прежде всего это относится к постоянным сокращениям слов в уставной части); в то же время необходимо заметить, что песнопения, входящие в кондакарную часть, уже опубликованы, иногда по другим спискам, иногда непосредственно по ТУ, в немецких изданиях Кондакаря и Минеи [Der altrussische Kondakar' 1977–2004; Gottesdienstmenäum 1996–2006], что, естественно, облегчило задачи издательницы. Лишь в немногих случаях мы столкнулись со странными написаниями, которые при сверке с факсимиле оказались либо опечатками (л. 37, с. 99: **наоне** вместо **иоане**; л. 39 об., с. 104: в форме **гнь** пропущено титло; л. 45, с. 115: в форме причастия **въвьржены** не поставлен знак переноса, так что она превращается в словосочетание **въвьрже ны**; л. 62, с. 149: местоимение следует читать как **тебѣ**, а не **тѣбе**), либо результатом неверного прочтения: на л. 10 об. (с. 46) нет инновационной формы сравнительной степени наречия **пьрвѣи**, с маловероятной в начале XII в. редукцией конечного [е], – на снимке явно читается конечная буква **и**.

В отдельных случаях вызывает возражения словораздел. Так, хорошо известное и зафиксированное в словарях наречие **наоутриа** не следовало бы делить на сочетание предлога с вин. падежом мн. ч. существительного «**оутрие**» (с. 43), равным образом и существительное **навечерие** не надо было разделять на предлог **на** + «**вечерие**» (с. 248); при наличии в словарях лексем **долѣлѣгание** и **долѣсѣдание** вряд ли стоит выделять словосочетание наречия с существительным **долѣ сѣдание** (с. 43). Напротив, конструкцию с винительным места, образованную сочетанием местоимения **оба** с формой двойственного числа существительного **полъ**, – **оба полы** [Крысько 2006: 56] – едва ли правомерно соединять в одно слово **обаполы**

(так на с. 37, но на с. 47 уже раздельно, а в словоуказателе – опять слитно); сомнительное существительное **ꙁапокои** (с. 69), на наш взгляд, является обычным сочетанием предлога **ꙁа** и вин. падежа **покои** (ср. соврем. *за упокой*); сложное прилагательное **многълюбѧщимъ** (с. 73, 360) с «соединительной гласной» **ъ** легко распадается на два слова, относящиеся к разным словосочетаниям: **Миръ многъ любѧщимъ ꙁако(н)**[3], ср. греч. Εἰρήνη πολλὴ τοῖς ἀγαπῶσί σε[4]. Трудно согласиться с раздельным написанием **не домышлаю сѧ** (с. 104) на фоне правильного **недомыслѧть... сѧ** (с. 149): в обоих примерах фигурирует не глагол **домыслитисѧ-домышлѧтисѧ**, а лексема с отрицательной приставкой, соответствующая resp. греческим ἀμεχανῶ и ἀποροῦσι; наоборот, на с. 188 форму глагола с отрицанием **не възбрани**, конечно, следовало бы напечатать раздельно (как и сделано в словоуказателе). Разделение сложного слова **пастыреначальникъ** (ср. [Сл XI–XVII, 14: 167]) в звательной форме **пастыреначальниче** (ποιμενάρχα) на две – **пастыре начальниче** (с. 235) – создает неисконную форму вокатива **jo*-основного существительного **пастыре** (так и в словоуказателе), что вряд ли служит к обогащению наших знаний по истории именного склонения. Совершенно непонятно слитное написание **не** и даже **ни** с действительными причастиями на с. 276, не имеющее оправдания ни в греческой, ни в русской орфографии, ср. правильный словораздел: **лицѧ ихъ посрами · не покланѧющинихъсѧ ни чьтоущинхъ прѣчистаꙗ · чьстьнаго окраꙁа твоего** (τὰ πρόσωπα καταίσχυνον τῶν μὴ προσκυνούντων μηδὲ τιμώντων, Πάναγνε, τὴν σεβάσμιον εἰκόνα σου). Особенно странно выглядит практически неизменно повторяющаяся в наборном тексте форма «наречия» **непрѣстаи** (так и в словоуказателе, а также в III томе, с. 145)[5], которая на самом деле представляет собой сочетание частицы **не** с повелительным наклонением **прѣстаи** в соответствии с греч. μὴ παύσῃ букв. 'не переставай'[6].

Трудно признать удачным принятый в публикации способ слитной передачи некоторых сочетаний с предлогами на-**ꙁ**, маскирующий предложно-падежный статус соответствующих форм, типа **бесѣмене, бещьтениꙗ, бесъпоны, ищерева**, – и в научно-исследовательской, и в словарной, и в эдиционной практике для этих случаев давно уже принято написание через дефис (**бе-сѣмене, бе-щьтениꙗ, бе-съпоны, и-щерева** и т.п.). Традиционным, но едва ли верным является раздельное написание постфикса (т.е. морфемы!) **сѧ** в контактной постпозиции, типа **оудобри сѧ** (в настоящей рецензии такие формы пишутся слитно).

В целом же, повторим, наборный текст демонстрирует весьма тщательное воспроизведение драгоценной рукописи, которая тем самым впервые полностью вводится в научный оборот.

Публикация текста снабжена подробными, если не сказать исчерпывающими, палеографическими примечаниями, выполненными ведущим специалистом по восточнославянской палеографии раннего периода В.С. Голышенко, и текстологическим комментарием С.В. Петровой. В комментарии нередко встречаются тонкие наблюдения и важные дополнения; порой издательница удачно восполняет пропуски текста в ТУ выписками из других источников (ср., например, завершение контекста, бессмысленно обрывающегося на изолированной форме **страдальными**, с помощью восстановленного по другому кондакарю чтения **просвѣтилъ иси моуками** – с. 98), иногда прибегает к греческим оригиналам, опубликованным в немецком издании Кондакаря, для разъяснения ошибок, возникших при переводе либо при последующей переписке текста (ср., в частности, эмендацию **искапивъши** вм. **искавъши**, опирающуюся на **искапивъши** в другом списке и греч. ἐπιστάξασα – с. 116, или исправление **бж҃и** вм. **бж҃ию** в соответствии с греч. несогласованным определением τοῦ Θεοῦ при существительном ἔλεος / **милость** – с. 99). Вместе с тем считаем необходимым заметить, что некоторая лапидарность и логически не всегда обоснованная избирательность комментария вступают в определенное противоречие с принципом, сформулированным во введении к наборному изданию: «Количество текстологических комментариев... определяется количеством "темных" мест в тексте рукописи» (с. 7). В последнем абзаце введения к своей публикации С.В. Петрова полностью воспроизвела (очевидно, солидаризировавшись с ним) «категоричное суждение» И.В. Ягича о славянском переводе гимнографических текстов, главной отличительной чертой которого была признана «неудобопонятность» (с. 9), –

---

[3] Здесь и далее выносные буквы вносятся в строку в круглых скобках; знак мягкости не воспроизводится.

[4] Здесь и далее греческие параллели, как правило, подведены автором рецензии по различным источникам, не указываемым из соображений экономии места.

[5] Единственное отрадное исключение – **не престаи · молити о вьсѣхъ** (с. 120).

[6] Об обороте с παύεσθαι + причастие, регулярно калькировавшемся в древнеславянском, см. хотя бы в учебнике [Черный 1885: 200].

однако уже сама лаконичность комментария, как нам кажется, свидетельствует, с одной стороны, о том, что это заключение классика сильно преувеличено (при внимательном чтении очень немногие из кондакарных текстов могут остаться непонятными), с другой же стороны – о том, что не все «темные места» ясны самой издательнице.

Так, без должного комментария осталась форма **оувѣрѣ** в контексте **апостольство оувѣрѣ дѣво** (с. 85) – ἀποστολὴν πιστεύῃ, Παρθένε букв. 'ты облечена апостольством, тебе доверено апостольство'. В соответствии с греческим пассивом славянский глагол совершенно правильно оформлен суффиксом состояния -ѣ-, т.е. в данном случае мы имеем дело не с обычным каузативом **оувѣрити** (впрочем, рассматриваемая форма выписана как **оувѣри** в растяжном тексте, с. 86), а с нигде более не зафиксированным глаголом состояния **оувѣрѣти**, который корреспондирует с постфиксальным декаузативным глаголом **оувѣритисѧ** 'получить во вверение' [Срезн., III: 1126], ср. пары типа **обогатѣти – обогатитисѧ, отѧготѣти – отѧготитисѧ**; в словоуказателе, однако, форма на -ѣ- подверстана под глагол **оувѣрити** (получающийся при этом «смысл» – «ты уверила апостольство» – по-видимому, не смущает издательницу). Поданная без каких-либо комментариев и в указателе охарактеризованная как имен. падеж форма причастия **Оуневѣстивъшисѧ** при такой квалификации никоим образом не способна прояснить текст, ср.: **Оуневѣстивъшисѧ хв҃и · моученїа ради · варъвароу съшьдъшесѧ · почьтѣмъ достоино** (с. 108); здесь, очевидно, имеет место использование формы номинатива вместо аккузатива, т.е. для придания тексту грамматического смысла следовало бы эмендировать форму как **Оуневѣстивъшюсѧ** – определение к **варъвароу** (ср. греч. Τὴν νυμφευθείσαν... Βαρβάραν); именно с этой формой разбираемый текст опубликован в издании декабрьской минеи [Gottesdienstmenäum 1996: 126]. Глагол **приидем<ъ>** в контексте **житїе съ миръмь да приидем<ъ>** и в соответствии с греч. διέλθωμεν (с. 108), несомненно, должен анализироваться как **преидемъ** – со смешением приставок **пре-** и **при-**. Написание **глаголїа и пою** (с. 103) без греческой параллели – λέγω καὶ ψάλλω – производит впечатление ошибочного, вместо **глаголїаи** (членная форма причастия); думается, что комментарий: «**глаголїа** вм. **глаголю** в соответствии с греч. λέγω» – был бы вполне уместен.

Безусловно заслуживает анализа уникальная форма **нѣ**, оставленная в издании без всякого комментария (с. 198): ее статус едва ли определим на основе контекста (**Хлѣбъ приимъ · въ роуцѣ прѣдатель · отан нѣ простираꙗ**), и только сопоставление с греческим (κρυφίως αὐτὰς ἐκτείνει) позволяет предположить, что здесь выступает восточнославянская форма вин. падежа мн. ч. жен. рода местоимения *и – ѣ, соотносящаяся с двойственным числом **роуцѣ**, но сохраняющая мн. число греческого оригинала (если бы это была форма дв. ч., как полагает С.В. Петрова (с. 336), она должна была бы в мягком варианте иметь окончание -и, а влияние твердого варианта [**тѣ, онѣ**] на мягкий в рассматриваемой рукописи не отражено). Наибольшую сложность составляет начальное **н**: приходится предположить, что это вторичное «наращение» обязано своим возникновением влиянию предложных форм типа **въ ню, съ нею, ꙁа нь** и т.п.

Иногда отсутствие комментариев, по-видимому, продиктовано доверием к квалификации читателя, который должен сам оценить корректность того или иного написания рукописи. Прежде всего это относится к фиксации описок, далеко не всегда последовательной. Так, в комментарии не оговорены явно ошибочные написания (**Въ**) **мьрѣхъ** вместо **мѵрѣхъ** или **мѹрѣхъ** (с. 109), **иꙁатъ** вм. **иꙁѧтъ** (с. 110), **бещьсльныи** (с. 120), **плътьню** (с. 124), **момолѧщасѧ** (с. 155; в словоуказателе – **молѧщасѧ**, и, следовательно, узнать, что это описка рукописи, а не опечатка издания, можно только при обращении к факсимиле), **отиноуть** (с. 206), причастие **прославлїансѧ** вм. **прославлїаꙗнсѧ** (с. 246; в словоуказателе дано как вполне нормальная форма). Оставлена без комментария и форма **огродивъсїа** (с. 113); в указателе она помещена под полногласной леммой **огородитисѧ**, хотя более вероятным представляется искажение первоначального **оградивъсїа** как результат повторения гласной предыдущего слога. В одном случае вероятная (но не оговоренная) описка рукописи послужила основанием для выделения сомнительной лексической единицы: речь идет о загадочной форме **грѧдъ** в зачале песнопения **Тѧ грѧдъ и станище** (с. 70; в словоуказателе – **грѧдъ** *сущ. м.*); думается, что это искаженное **градъ**, где **ѧ** возникло на месте **а** под влиянием **ѧ** в предыдущем слоге (по-видимому, это инципит богородичного тропаря, который в греческом звучит как Σὲ τεῖχος καὶ λιμένα, ср. перевод τεῖχος посредством **градъ** в ряде памятников [Истрин 1930: 181; ИИВ, 2: 737; Gottesdienstmenäum 2003: 201]).

Порой автор комментария считает нужным оговаривать смешение **е** и **ѣ**, однако непонятно, почему такие банальные примеры, как **ꙁаꙁыце** вм. **ꙁаꙁыцѣ** (с. 105) или **илик** вместо **илнѣ** (с. 169), заслуживают комментария в большей степени, чем оставшиеся неоговорен-

ными, но на удивление многочисленные написания с є вместо ѣ и наоборот, типа **кдѧть**, **разоумевын**, **каплѣ** (звательная форма, вм. **капле**), **видехомъ**, **въскоре**, **темь**, **место**, **тело**, **жидовѣ**, **сънеденъ**, **обрете** и мн. др., или замена этимологического юса большого на ю в формах **мюченика**, **мюченикомъ**, **глюбинѣ**, **неизмѣньню**, или стяжение в форме **три десѧтъ** (вм. **трии**), или форма причастия прошедшего времени **възлегы** вм. **възлегын** (с. 88), или необычный императив **видѣмъ** (с. 117 – влияние глаголов I–II классов?).

Не упомянуты в комментариях и весьма любопытные в силу их редкости примеры развития протетического [j] после гласной перед [у]: **ꙗко юспешьно** (с. 90), **и ючитѣлѧ** (с. 94), **моужьюмьнаꙗ** (с. 108), **ѧко ювадилъ** (с. 127) (см. о таких случаях [Соболевский 2006: 282]). Несмотря на то, что Н.Н. Дурново в свое время привел список восточнославянизмов в Уставе [Дурново 1924: 82–83], ни в его статье, ни в комментариях к рецензируемому изданию не нашла отражения – как яркий русизм – форма причастия **пекасѧ** (с. 196). Обратив один раз внимание на любопытную конструкцию с вин. падежом при возвратном глаголе: **озарышисѧ · свое срдце** – и охарактеризовав этот винительный как форму прямого дополнения (с. 153) (тогда как в действительности это калька греческого винительного отношения [Крысько 2006: 112–113]), С.В. Петрова проигнорировала другие аналогичные обороты: **тѣло во и дшю... болѣзноую** (с. 135) – τὸ σῶμα γὰρ καὶ τὴν ψυχὴν… ὀδυνῶμαι; **свою главоу оусѣченъ вы(с)** (с. 140) – τὴν σὴν κάραν ἐτμήθης; **оудоврисѧ... дшю** (с. 157) – κεκαλλώπισαι… ψυχήν; **Осквьрньшенсѧ срамьно · своꙗ срдцѧ** (с. 180); не отмечено и сочетание возвратного глагола с настоящим объектным винительным (впрочем, тоже калька с греческого) – **посѣченик · смокъве оубоꙗвъшесѧ** (с. 196; ср. греч. τὴν ἐκκοπὴν τῆς συκῆς δειλιάσασα).

Комментарии лингвистического порядка, к сожалению, не свободны от ошибок. Так, в форме местного падежа **о гн** окончание **и** отнюдь не возникло «вм. ѣ» (с. 29, 34), а является исконной, правильной флексией **i*-склонения, к которому изначально и относилось существительное **господь**, лишь позднее подвергшееся в некоторых формах влиянию **o-*, **jo-* и **u-* основ. В словосочетании **По коньчании же оутрьнии** выступает совершенно правильная форма приименного дат. падежа мягкого склонения (ср.: *земля – земли, синяя – синии*), и, следовательно, **-ии** вовсе не «вм. -ѣи» (с. 39). Едва ли правомерна трактовка написания **почьрпѣша**, соответствующего причастиям **почьрпъша** в другом списке и ἀντλήσαντες в греческом, как «искаженной формы аор<иста>» (с. 164): логичнее предположить здесь простое графическое смешение букв ъ и ѣ, отнюдь не меняющее причастного статуса формы. Несколько превратные представления автор комментария имеет относительно консонантного склонения: так, **небесе** является не инновационной формой местного падежа вместо «этимологически правильного» **небеси** (с. 175; аналогично – с. 194, о форме **на жребѧте**), а, напротив, исконной формой, хотя и рано вступившей в варьирование с образованиями на **-и**; в то же время действительно неисконные формы согласных основ – **въ чюдесѣхъ** (с. 112), **чюдесъми** (с. 122), **четырь** (с. 136) – оставлены без комментария. На фоне введенных в последние годы в научный оборот далеко не малочисленных новгородских примеров с финалью **-га** в соответствии с обычным **-го** [Зализняк 2004: 127, 152; Крысько 1998: 84] при оценке написания **новаага**, может быть, не стоило бы ограничиваться кратким замечанием «вм. **новааго**» (с. 105).

Среди весьма немногочисленных и осторожных эмендаций издательницы есть и такие, с которыми мы не можем согласиться: так, в контексте **ꙗко захариѥ и авелева ꙗсно · въпиеть твоꙗ кръвь к ѿоу** форма **захариѥ**, оказавшаяся в конце строки, должна, как мы полагаем, быть дополнена недописанным **-ва** – т.е. мы скорее имеем здесь дело с притяжательным прилагательным **Захариевъ**, однородным с последующим посессивом **Авелевъ**, нежели с род. падежом **захариѣ**, записанным со смешением є и ѣ (с. 97); написание **непрестань** в сочетании с причастием **молѧ** и на фоне императива **не престани** в других списках едва ли должно реконструироваться как наречие **непрестаньно** (с. 98): такая реконструкция оставляет предложение без предиката (ср. правильное чтение в других списках: **съ нимиже ха молѧ не престани о вьсѣхъ насъ**). В конструкции **чл҃вѣьскоѥ естъство възѧтъсѧ** в последней форме ъ отнюдь не написан «вм. о», и средний род подлежащего здесь ни при чем (с. 167): разумеется, никакой формы «прич. п<рош>. страд.» (с. 308) **възѧтосѧ** не существовало, и в тексте фигурирует обычная форма аориста с наращением – **възѧтъ(сѧ)**.

Не всегда исчерпывающи обращения к греческим оригиналам: так, для объяснения формы **Рачителю** (с. 93) в соответствии с греческим причастием ἐρασθείς 'страстно полюбив' следовало бы указать на весьма близкое по звучанию существительное ἐραστής 'ревнитель', с которым при переводе и было смешано причастие.

Поскольку греческие параллели к большинству текстов кондакарной части ТУ (по печатным источникам) уже опубликованы А. До-

сталом и Г. Роте, отсутствие греческих оригиналов в рецензируемом издании, пожалуй, можно признать оправданным (ср., однако, недавние издания декабрьской минеи, Жития Андрея Юродивого, Студийского устава, первых десяти дней Путятиной минеи, «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, Ильиной книги, сопровождающиеся (ре)публикацией греческих источников). Единственное, что вызывает сомнения, – доступность немецкого издания «Древнерусского кондакаря» для российских читателей ТУ.

Важную часть второго тома составляет словоуказатель, или, точнее, указатель слов и форм. С.В. Петрова провела огромную работу по выявлению и грамматической идентификации всех словоформ, представленных в основном тексте ТУ, включая служебные части речи, а также буквенные обозначения чисел. Словоуказатель составлен с русле той позитивной тенденции, которая характеризует ряд последних изданий древнерусских памятников и заключается в первичной лексикографической обработке словарного материала, иначе говоря – лемматизации, т.е. выделении заголовочных слов. Следует подчеркнуть, что в подавляющем большинстве случаев заголовочные формы и грамматические признаки словоформ определены правильно. Однако, как чаще всего и бывает со словоуказателями, именно лемматизация вызывает наибольшие нарекания. Поскольку в эдиционной практике все еще не выработаны общие принципы и правила создания словоуказателей к древнеславянским памятникам, думается, что подробный разбор неточностей и непоследовательностей в указателе к ТУ послужит на пользу дальнейшим разработкам в этом направлении.

С.В. Петрова осуществляет выбор начальных форм по трем критериям, которые далеко не всегда совместимы и не всегда выдерживаются: заглавные формы либо 1) берутся прямо из текста, либо 2) реконструируются, а при наличии «графико-орфографических вариантов» 3) в качестве основного выбирается наиболее частотный или первый встретившийся вариант (см. с. 281).

Следование первому критерию приводит к тому, что в качестве основной выделяется порой необычная или вторичная форма – ср., например, написания без редуцированных **вечернии, вечерня, вечернꙗ, чтениѥ** (на основе написаний без ь в имен. падеже, но при наличии в материале формы с ь – **бе-щьтенꙗ**), леммы с неэтимологическим редуцированным **донъдеже, плодъствити**, написание со вторым полногласием **зьрьцало**, формы с е вместо ѣ и наоборот – **ѥсти, роукоденство, жидовѣ**, вторичный инфинитив **распростъретн** и даже **ювадити** – с перенесением на инфинитив морфонологического изменения, ставшего возможным только в контексте после гласной (**ѧко ювадилъ**). Непонятно, почему из двух предлогов на -з (которые, как хорошо известно, изначально были безъеровыми) для первого за основную принимается вторичная форма **безъ**, а для второго – **из**: неисконные написания с ъ отмечаются в обоих случаях, и также в обоих случаях – в меньшинстве употреблений.

Кроме того, последовательное применение первого критерия влечет за собой нарушение единства словообразовательных гнезд: так, слово **дъва** помещено в указателе на своем алфавитном месте, в конце буквы **Д**, наречие **дъвонци** – в начале буквы **Д** без редуцированного (поскольку так оно пишется в рукописи), а также – еще раз – под буквой **В** (!) – поскольку иногда оно записывается с помощью буквенного обозначения числа 2 – **вѿци** (в то же время написание **навѿѥ** – т.е. **надъвое** – занимает алфавитное место после **надежа**); существительное **зъванне** поделено на два: первый раз – в виде **званиѥ** – оно занимает алфавитное место сразу после **защитити**, поскольку на л. 57 написано без редуцированного, второй раз – после наречия **зшьды** (т.е. **семишьды**!) – в виде **зъваниѥ**, перед глаголом **зъвати**; прилагательное **зъловѣрьныи**, на основе единственной встретившейся в рукописи формы – **зловѣрьными** – помещено после **златыи**, тогда как существительное **зъловѣриѥ** – после **зъло**. Для префиксальных форм **съзъда, съзъдавыи, съзъдани** и т.п. инфинитив реконструируется с учетом межслогового сингармонизма – **съзъдати**, однако для настоящего времени с основой **зижд-** начальная форма звучит уже как **зьдати**. Порядковое числительное **третии** появляется в словоуказателе дважды – как **третии** и (под буквой **Г**) как **г҃** (почему-то не **г҃и**, как пишется во всех примерах с имен. падежом); к последней лемме ошибочно подключена форма «мн. дат.» **г҃имъ**: на самом деле за написанием **·г҃имъ (стихомъ)** скрывается дат. падеж мн. ч. собирательного числительного **трои – троимъ**. Пользователь словоуказателя напрасно будет искать наречие **тришьды** на букву **Т**: оно помещено в конце буквы **Г**, под леммой **г҃шьды** (так же как **четыришьды** – на букву **Д**, перед **дъва**, а **пѧтишьды** – на букву **ѥ/е**, но почему-то не в конце ее, а перед **евангелиѥ**). Совсем непонятно помещение формы **равьночисльнъꙗ** (т.е. с ерем, выписанным в тексте) под леммой **равночисльныи**. Нарушение первого критерия имеет место и в случае с корнями **вьс-** и **мъног-**: наречие **всѧко**, фигурирующее в тексте только один раз именно в таком написании – без редуцированного, тем не менее дается в словоуказателе под леммой

вьсѧко, то же относится к наречию **многашьды**, помещенному под леммой **мъногашьды**.

Трудно согласиться с подачей под отдельными леммами членных и нечленных форм прилагательных и местоимений, что приводит, в частности, к разбиению на две леммы прилагательного-причастия **вьсемогыи** (-ан) – в отдельную статью выделяется именная форма **всемогоуща** (но, вопреки принципу, лемма выводится с редуцированным!), или местоимения **къжьдо / кынжьдо**, или прилагательного **преблагословленыи**, членные формы которого даны под леммой **преблагословленыи**, а нечленные – на другом алфавитном месте, под леммой **прѣблагословленъ**; особенно огорчительно разделение лемм **овъ** и **овыи**, при том что вторая представлена только родительным-винительным **ового** – т.е. правильной формой от **овъ**.

Непонятно, почему вопреки заявленной во введении к словоуказателю установке – фиксировать все словоформы, «написанные основными писцами» (с. 281), – в указателе регулярно отражаются результаты позднейшего поновления текста, а именно формы типа **бл҃годетию**, **бл҃годетелю**, **тебе** (дат. падеж), **песнь** и т.п. (с. 216), в которых, согласно палеографическим примечаниям, «е написана поверх ѣ» – т.е. у «основных писцов» это были правильные формы **бл҃годѣтию**, **бл҃годѣтелю**, **тебѣ**, **пѣснь**.

Реконструкция начальных форм (согласно второму критерию) не всегда проводится последовательно: так, для вин. падежа **гърдыню** имен. падеж восстанавливается в неисконном облике – **гърдынѧ**, а для **простыню** – в виде **простыни** (в пользу выбора исконной формы на -и свидетельствует отмеченный в тексте номинатив **сватыни**). При отождествлении спрягаемых и причастных форм с инфинитивами С.В. Петрова, к сожалению, допустила целый ряд досадных ошибок: так, форма **движатьсѧ** (от **движитисѧ**) помещена под **двигатисѧ** (у которого 3-е л. мн. ч. звучало бы как **движоутьсѧ**), презентные формы **жидеть** и **жидоу(т)** – под несуществующим инфинитивом **жидати**, тогда как к правильному инфинитиву **жьдати** отнесен только аорист **жьдахъ**; на основе повелительного наклонения **ѩлѣимы** выводится инфинитив **ѩлѣѩти** (в действительности в этом глаголе представлено чередование инфинитивной основы **лиѩ-** с презентной **лѣj-**); причастие **крьщающасѧ** отнесено к парадигме **крьститисѧ** (должно быть **крьщатисѧ**); причастия **обѣшии** и **съмѣшь** следовало бы включить в парадигмы глаголов **обѣсити** и **съмѣсити**, а не **обѣшати** и **съмѣшати**; **окамененоую** – причастие от переходного глагола **окаменѣти**, а не от глагола состояния **окаменѣти**; в инфинитиве глагола **осльпноути** не стоило помещать ъ после п – этот ъ входит только в состав суффикса причастия прошедшего времени -ъш- (*-*us*-); имперфект **остꙋпааше** относится к парадигме глагола **остоупати**, а не **остоупити**; причастие **падъшааго** нужно было поместить под леммой **пасти** «пасть», а не под **падати**, аорист **побѣже** – под **побѣгноути**, а не **побѣжати**; аорист **постиже** фигурирует в указателе в двух местах – под **постигати** (что неверно) и под **постигноути** (что верно); для форм **процвьтеть**, **процвьте**, **цвьтоуть** и т.п. инфинитивы ошибочно реконструированы без аблаута – в виде **процвьсти**, **цвьсти** вместо правильных **процвисти**, **цвисти**; инфинитив к **съмотрите** должен восстанавливаться в виде **съмотрити**, а не **съмотрѣти** (это позднейшая форма); инфинитив к причастию **съпогребъшесѧ** – не **съпогрестисѧ**, а **съпогретисѧ**; **сѣде** – аорист от **сѣсти**, а не от **сѣдѣти**, **оувѧдоша** – от **оувѧноути**, а не от **оувѧдати**; форма **оувѧземъсѧ** относится к парадигме **оувѧстисѧ**, а не **оувѧзатисѧ** (ср. правильное отнесение **оувѧземъ** к глаголу **оувѧсти**); формы **оусъноувъ**, с одной стороны, и **оусъпе**, **оусъпъшаꙗ** и т.п. – с другой, напрасно разнесены по двум леммам – resp. **оусъноути** и **оусъпноути**: вторая лемма фиктивна; причастие **оущедрѧꙗ** следовало бы отнести к парадигме **оущедрѧти**, а не **оущедрити**. С.В. Петрова (вслед за изданием [ИИВ]) вводит в систему глагольных конструкций новую категорию – «будущее в значении долженствования», куда зачислены традиционные для церковнославянского синтаксиса конструкции с союзом **да** и презенсом (либо настоящим в значении будущего), типа **да приимемъ**, которые, однако, вовсе не выражают долженствовательного значения и переводятся на современный язык посредством *чтобы* + прошедшее время ('*чтобы* мы приняли').

Ошибки, к сожалению, встречаются и при лексикографической обработке других частей речи. Так, на основе род. падежа сравнительной степени **краснѣиша** нельзя выводить номинатив **краснѣишь**: для этой парадигмы характерно сосуществование имен. падежа муж. рода на *-*jьs* > *-jь* (**красьнѣи**) с косвенными падежами на *-*jьsj*- > *-jьш*- (**красьнѣиша**). Начальная форма притяжательного прилагательного **крьстителевъ**, представленного в тексте формой **кр(с)тлевоу**, с ясно написанным суффиксом -ев-, почему-то приведена в указателе в виде **крьстительвъ**. Начальная форма географического названия, выступающего в памятнике только в мест. падеже мн.ч. – **мурѣхъ** и т.п., – никак не может быть восстановлена в виде **Мꙋры**, поскольку окончание -ы в номина-

тиве pluralis возможно только у существительных жен. рода, которые в принципе не имели локатива на -ѣхъ. Форма настоѩщюю в контексте отъжени скърби [вм. скърбь] настоѩщюю является не «прич.-прил.» с начальной формой настоѩщии, а обычным причастием от глагола настоѩти 'наступать' (в греческом – ἐπερχομένην). Частица не, вопреки словоуказателю, ни разу не пишется в памятнике как нѣ (с. 366): на л. 13, строка 2 (нѣ въ кыи дн҃ь) нѣ – это приставка неопределенного местоимения нѣкыи. Частица понѣ дана в указателе без частеречного определения и в неправильном написании – поне. Форма имен. и вин. падежей мн.ч. степеньна не может относиться к парадигме существительного женского рода степеньна, но однозначно предполагает начальную форму среднего рода степеньно (кстати, частеречная трактовка этой лексемы как существительного не согласуется с квалификацией стиховьнъ, стиховьна как субстантивированного прилагательного); к женскому роду не может быть приписана и форма вин. падежа мн.ч. стихира – морфологическая калька греческого neutrum τὰ στιχηρά. Формы сп҃сьноую, съпасьнок, сп҃сьнаѩ не являются страдательными причастиями от съпасти, а относятся к прилагательному съпасьныи 'спасительный', образованному с помощью суффикса -ьн- от существительного съпасъ.

Иногда в словоуказателе наблюдается неверное определение форм: так, вл҃дцѣ 58.17 и насъ 45.8, 91.13 при глаголах с приставкой при- являются формами не дательного или родительного, а местного падежа; форма овьча в контекстах ѩвися по насъ ѩко овьча и водѧи ѩко овьча иосифа – конечно, не мн. число, а единственное, причем в первом случае – не вин. падеж, а именительный; оутрьни в сочетании на конь(ц) оутрьни – правильная форма дательного, а не инновационная родительного; станѣмъ – не будущее время, а повелительное наклонение, съмѣрѧахъсѧ – классический имперфект без стяжения, а не аорист (как и «аорист» съмѣрѧхъ в сокращенном инципите Аще не съмѣрѧхъ, явно тождественном инципиту Аще не съмѣрѧахъсѧ); форма оустоупаѧша при подлежащем ѩнанъ никак не может рассматриваться в качестве мн. ч. имперфекта (у имперфекта 3-е л. мн. ч. оканчивалось на -ахоу) – это, несомненно, описка вм. оустоупаѧше (3-е л. ед. ч.). В памятнике нет союза чьто, и все интерпретированные таким образом формы в действительности являются обычным вин. падежом местоимения – либо в роли второго (предикативного) объекта (Чьто вы наречемъ свѧтии), либо в функции винительного причины (рахиль что въздыхаѥть и др.).

Порой неверная идентификация формы связана с непониманием лексемы и контекста; так, например, формы обидеть и обиде не имеют никакого отношения к глаголу обидѣти – это соответственно наст. время и аорист глагола обити 'обойти'; форма отъмещетьсѧ (в контесте <отъм>ещетьсѧ оучителѧ 'отрекается от учителя') принадлежит глаголу отъметатисѧ, а не отъмьщатисѧ 'быть отмщаемым'; форма императива раждени никак не связана с глаголом раждещи 'разжечь' – это регулярное образование от разгънати (ср. контекст: Мрачьнымь [вм. Мрачьнок?] х҃е дш҃а моѩ · раждени 'Мрак души моей, Христе, разгони', греч. Τὸ ζοφερὸν... διασκέδασον); форма ретивы в конструкции вселенꙋю обг҃ати ꙁлатооусте... ретивы ны на бг҃атьство цр҃ства нб҃сьнаго – отнюдь не прилагательное ретивыи, а стяженная форма причастия прош. времени от глагола ретити 'побудить', ср. греч. θέλων ἡμᾶς. Форма потърплеть помещена в указателе под леммой потърпѣти, рядом с аористом потърпѣхъ, однако этот глагол IV класса может иметь в 3-м л. ед. ч. наст. вр. только окончание -ить (потърпить), да и исходя из контекста действие, выраженное сказуемым потърплеть, не может быть ассоциировано с терпением, ср.: Къто не потърплеть оумъмь оудивльсѧ; сопоставление с греческим (Τίς μὴ) ναρκήσῃ '(Кто не) оцепенеет' и с зафиксированными в русских исторических словарях лексемами оутърпати 'ослабевать', оутърпноути 'ослабеть; оцепенеть', отърпноути 'онеметь, одеревенеть' с бесспорностью свидетельствует о том, что здесь представлен ранее не регистрировавшийся глагол, инфинитив которого реконструируется различно в зависимости от того, признаем ли мы возможность спряжения глаголов на -ноу- по III классу, т.е. либо как потърпати (потърплешн), либо как потърпноути (потърплешн). Формы имен. падежа и мест. падежа мн. ч. лици и лицѣхъ (от ликъ) ошибочно отнесены к парадигме лице (и, таким образом, согласно издательнице, форма подлежащего в предложении агг҃льстии лици проповѣдахоу означает «ангельские лица», а священномученик Власий «явился» «в лицах старастотерпцев»!). Особенно затруднительной для понимания оказалась стихира, начинающаяся словами: Неначакма житиѩ ради · и оувѣдомаѩ нрава ради · мѵроносѧщи · приде къ тебѣ въпиющи (с. 268). В издании «Древнерусского кондакаря» этот текст напечатан по тому же списку и с немецким переводом, однако без греческого [Der altrussische Kondakar' 2004: 276]. Как немецкие издатели, так и С.В. Петрова рассматривают первое слово в качестве определения к житиѩ, т.е. как прилагательное в род. падеже ед. ч.

среднего рода, что дает несколько странный смысл – «из-за безнадежной жизни» (ср. немецкий перевод: «Um des unerhofften Lebens... willen»). Однако второе определение, оувѣдомаꙗ, уже явно не может служить атрибутом к нрава; впрочем, это обстоятельство ни малейшим образом не смутило Г. Роте и его коллег, и они при переводе легко соединили две несогласуемые формы в одно словосочетание: «(Um) der erlebten Gesinnung willen» («из-за испытанного (познанного?) нрава»). С.В. Петрова в данном случае обоснованно исходила из грамматики славянского текста и интерпретировала оувѣдомаꙗ как имен. падеж ед. ч. женского рода причастия, правда, связав это причастие с несуществующим глаголом оувѣсти (вместо правильного оувѣдѣти). Между тем очевидный параллелизм конструкций Неначаꙗма житиꙗ ради и оувѣдомаꙗ нрава ради заставляет признать в Неначаꙗма такую же форму имен. пад. жен. рода, как и оувѣдомаꙗ, только нечленную. В результате обратного перевода на греческий язык и обращения к инципитарию Э. Фоллиери [Follieri 1960–1966] мы обнаружили оригинал стихиры, который полностью подтвердил предположение, основанное на структуре славянского текста, и внес ясность в грамматику и семантику: (‘Η ἀπεγνωσμένη διὰ τὸν βίον καὶ ἐπεγνωσμένη διὰ τὸν τρόπον букв. ‘Отчаявшаяся из-за (своей) жизни и признанная (т.е. принятая Христом) благодаря (своему) нраву’. Греческий оригинал показал также, что эдиционной фикцией (присутствующей в обоих изданиях стихиры) является сложное слово муроносѧщи (ср. инфинитив муроносити в словоуказателе): на самом деле это словосочетание муро носѧщи – τὸ μύρον βαστάζουσα.

Соблюдение т р е т ь е г о критерия при выборе заголовочной формы приводит к объединению под одной леммой форм, фонематическое (а следовательно, и лексическое) тождество которых отнюдь не бесспорно: так, под одним заголовком оказываются аггелъ и ангелъ (s.v. аггелъ – при том что прилагательное ангеловъ обнаруживается на другой странице), трапеза и трѧпеза (впрочем, под леммой трапеза помещена только одна форма с огласовкой трѧ-, а остальные семь все-таки выделены в статью трѧпеза!). Составитель указателя систематически объединяет старославянские и древнерусские образования, видимо, считая их графико-орфографическими вариантами, но при этом нередко нарушает и принцип древности, и принцип частотности: так, формы с основой ꙗд- (4 примера) помещены под древнерусской леммой ѥсти (не ѣсти, поскольку в тексте трижды зафиксировано написание с ѥ), жеребѧти и жребѧте (по одному примеру) – под церковнославянским жребѧ, наслажатисѧ (отмеченное в тексте два раза) и наслаждатисѧ (встретившееся только раз) включены в статью наслаждатисѧ, под церковнославянскими огласовками объединены одежа и одеждa, пороздьныи и праздьныи; наблюдается даже соединение трех лексем под одной леммой: к заголовку щюждыи подверстаны также чюжии и чюждыи. В то же время слово временьныи разбито на две леммы – с восточнославянским обозначением неполногласного сочетания (временьныи) и с исконным старославянским обозначением (врѣменьныи). Едва ли правомерно объединение лексем с разным вокализмом – шетаниѥ и шѧтаниѥ. Очевидно неверно осуществленное без каких-либо оговорок в комментарии подключение к лемме свѧщеномоученикъ формы сщеноученичє (греч. ἱερομύστα; ср. статью священноученикъ в [Сл XI–XVII], а также существительное жченикъ – μύστης в Ильиной книге [Ильина книга 2005: 450, 451]).

Таким образом, непоследовательность, неточности и прямые ошибки, встречающиеся в указателе, не позволяют нам безоговорочно согласиться с высокой оценкой этого труда, представляющего, по мнению первого рецензента рассматриваемого издания, «самостоятельную научную ценность» [В.Ж. 2007: 319]. Научное значение словоуказателя к ТУ двояко: с одной стороны, он действительно отражает не только весь словарный состав памятника, но и все словоформы, с другой стороны, отражение это нельзя признать вполне корректным (в частности, даже не все новые лексемы, отсутствующие в исторических словарях, идентифицированы), и, следовательно, важная роль указателя заключается в том, чтобы предостеречь будущих исследователей от следования общим принципам и повторения многих конкретных решений, принятых С.В. Петровой.

Третий том рецензируемого издания включает исследования о ТУ. Безусловно заслуживает одобрения перепечатка ряда давних, но не утративших актуальности работ: так, в томе переиздаются фрагменты из статьи Н.Н. Дурново «Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка» (1924–1927), из книги В.М. Металлова «Богослужебное пение русской церкви в период домонгольский» (1912), из «Полного месяцеслова Востока» архиеп. Сергия (1901), из монографии И.Д. Мансветова «Церковный устав (типик): его образование и судьба в греческой и русской церкви» (1885); с дополнениями перепечатана статья Б.А. Успенского «Древнерусские кондакари как фонетический источник» (1973), с редакционными изменениями – статья Г.И. Вздорнова

«Рисунки на полях Типографского Устава» (1972). Специально для настоящего издания написаны статьи В.С. Голышенко «Палеографическое описание Типографского Устава», М.А. Волчковой «Вторая реставрация Типографского Устава», Е.В. Гладышевой «Типографский Устав: судьба рукописи в XX веке», С.В. Петровой «Грамматическая и текстологическая вариативность в древнерусских кондакарях», Е.В. Ухановой «Древнейшая русская редакция Студийского устава: происхождение и особенности богослужения по Типографскому списку»; центральное место в книге занимает обширная статья (по сути – монография) Т.Ф. Владышевской «Типографский Устав и музыкальная культура Древней Руси XI–XII веков». Помещенные в томе материалы охватывают различные аспекты изучения памятника – палеографический, реставрационно-технический, лингвистический, музыковедческий, искусствоведческий, литургический. Комплексный подход к источнику, столь редкий в медиевистических исследованиях, обусловливает несомненную привлекательность и ценность тома для специалистов в разных областях. Однако рецензент, не будучи сведущим в большинстве затронутых проблем, коснется далее только некоторых вопросов, имеющих отношение к лингвистической характеристике памятника.

Прежде всего приходится заметить, что том исследований оставил нерешенной проблему датировки рукописи. Как известно, в «Сводном каталоге» ТУ датируется концом XI – началом XII в. [Сводный каталог 1984: 88]; эта же датировка вынесена и в подзаголовок нынешнего издания. Между тем детальное палеографическое описание рукописи, проведенное В.С. Голышенко, не позволило ей прийти к выводам, более определенным, нежели датировка XI–XII веками (т.е. двумя столетиями, а не их рубежом): по мнению исследовательницы, «художественный облик рукописи ТУ не противоречит отнесению времени ее создания к XI–XII вв.» (с. 22), а «начертание букв, выполняющих роль палеографических примет, свидетельствует о принадлежности письма ТУ ко времени не позднее XI–XII вв.» (с. 26); с этими осторожными выводами не очень согласуется ссылка на О.А. Князевскую, которая в результате палеографических наблюдений «также подтвердила датировку ТУ концом XI – началом XII в.» (с. 27). Следующая датировка, фигурирующая на страницах III тома, восходит к устному замечанию авторитетнейшего палеографа Н.Б. Тихомирова, который сообщил Г.И. Вздорнову, что ТУ «написан не позднее первой половины XII века, вероятнее всего в конце первой или в начале второй четверти этого столетия» (с. 213) – т.е. приблизительно в 1120–1130 гг. Наконец, Е.В. Уханова, исходя главным образом из исторических соображений, датирует кодекс временем вскоре после начала 1110-х гг. (с. 245). Думается, что дополнительная аргументация в пользу рубежа XI–XII вв. или второй четверти XII в. могла бы быть почерпнута из орфографического анализа памятника на фоне других, более точно датированных рукописей того времени (см., например, орфографические признаки рукописей XI – начала XII в., сформулированные в книге [Живов 2006: 28]).

Второй момент, на котором мы хотели бы вкратце остановиться, – оценка записей на полях рукописи и их значения для истории кодекса. Т.Ф. Владышевская и Е.В. Уханова, основываясь на двух записях, – **микоулины книгы** (кириллической) и **михалъ пслъ микжле** (глаголической), выстраивают в значительной степени несогласующиеся гипотезы. Музыковед полагает, что «рукопись была написана для какого-то монастыря», а заказчик, Микула, – «возможно, игумен монастыря, для которого писали устав» (с. 187, 188). Историк – несколько непоследовательно – считает, что рукопись «создавалась не для вклада в монастырь, а для конкретного человека, но это не противоречит предназначению устава для использования в Свято-Духовом монастыре» (с. 244); Микула, по мнению Е.В. Ухановой, – новгородский посадник, заказавший монастырский сборник после ухода с должности, возможно, в связи с «решением отказаться от мирской жизни» (с. 245). Заметим, что предположение Т.Ф. Владышевской, согласно которому множественное число «Микоулины книгы» «говорит о том, что в его владении были и другие книги» и что «под словами "Микулины книгы" имеется в виду одна из первых русских библиотек XI–XII вв., принадлежавших игумену монастыря – Микуле» (с. 188), небесспорно: существительное **кънигы** изначально входило в группу plurali tantum и могло обозначать всего одну книгу, ср. соответствующее употребление в записях к Изборнику 1076 г., сентябрьской Минее ок. 1095 г. и Стихирарю 1156–1163 гг. [СДРЯ, IV: 352]. Вызывает возражения и некритично воспринятая Е.В. Ухановой от Л.В. Столяровой на удивление поздняя датировка Ильиной книги 1175–1185 годами (с. 248), противоречащая и графико-палеографическим, и языковым особенностям рукописи: в частности, Л.В. Мошкова и А.А. Турилов отмечают, что рукопись, «по всей вероятности, не моложе новгородских миней 1090-х гг., но, в отличие от них, написана каллиграфическим уставом круга Изборника 1073 г. и Мстиславова Евангелия» [Мошкова, Турилов 2003: 43–44].

Итак, в распоряжение специалистов по различным гуманитарным наукам предоставлено монументальное издание важнейшего древнерусского памятника. Наши замечания показывают, что даже не все языковые особенности этого источника к настоящему времени достаточно изучены; можно надеяться, что введение в научный оборот факсимильного и наборного изданий ТУ вкупе с комментариями, словоуказателем и сопутствующими статьями существенно активизирует всестороннее исследование Типографского устава[7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

В.Ж. 2007 – *В.Ж.* Типографский устав: Устав с кондакарем конца XI – начала XII века / Под ред. Б.А. Успенского. Т. 1–3 // Русск. яз. в научн. освещении. 2007. № 1.

Дурново 1924 – *Н.Н. Дурново.* Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка // JФ. 1924. IV.

Живов 2006 – *В.М. Живов.* Восточнославянское правописание XI–XIII века. М., 2006.

Зализняк 2004 – *А.А. Зализняк.* Древненовгородский диалект. М., 2004.

ИИВ – «История Иудейской войны» Иосифа Флавия: Древнерусский пер. / Изд. подгот. А.А. Пичхадзе, И.И. Макеева, Г.С. Баранкова, А.А. Уткин. Т. 1–2. М., 2004.

Ильина книга 2005 – Ильина книга. Рукопись РГАДА, Тип. 131: Лингвистическое издание, подгот. греч. текста, коммент., словоуказатели В.Б. Крысько. М., 2005.

Истрин 1930 – *В.М. Истрин.* Книгы временьныя и образныя Георгия мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Т. III: Греческо-славянский и славянско-греческий словари. Л., 1930.

Крысько 1998 – *В.Б. Крысько.* Древний новгородско-псковский диалект на общеславянском фоне // ВЯ. 1998. № 3.

Крысько 2006 – *В.Б. Крысько.* Исторический синтаксис русского языка: Объект и переходность. М., 2006.

Мошкова, Турилов 2003 – *Л.В. Мошкова, А.А. Турилов.* «Плоды ливанского кедра». [М.], 2003.

Сводный каталог 1984 – Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР: XI–XIII вв. М., 1984.

СДРЯ – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I–VII–. М., 1988–2004–.

Сл XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–27–. М., 1975–2006–.

Соболевский 2006 – *А.И. Соболевский.* Труды по истории русского языка. Т. 2: Статьи и рецензии. М., 2006.

Срезн. – *И.И. Срезневский.* Словарь древнерусского языка: Репринт. изд. Т. I–III. М., 1989.

Успенский 1973 – *Б.А. Успенский.* Древнерусские кондакари как фонетический источник // Славянское языкознание: VII Междунар. съезд славистов. Докл. сов. делегации. М., 1973.

Черный 1885 – *Э. Черный.* Греческий синтаксис гимназического курса, изложенный сравнительно с русским и латинским. М., 1885.

Der altrussische Kondakar' 1977–2004 – Der altrussische Kondakar' / Hrsg. von A. Dostál, H. Rothe. T. III: Das Kirchenjahr 1. September bis November. Giessen, 1977; T. IV: Das Kirchenjahr 2. Dezember bis März. Giessen, 1979; T. V: Das Kirchenjahr 3. April bis August. Giessen, 1980; T. VI: Triodion. Pentekostarion. Köln; Wien, 1990; T. VII: Oktoechos. Köln; Weimar; Wien, 2004.

Follieri 1960–1966 – *H. Follieri.* Initia hymnorum Ecclesiae graecae. V. I–V. Città del Vaticano, 1960–1966.

Gottesdienstmenäum 1996–2006 – Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember / Hrsg. von H. Rothe, E. M. Vereščagin. T. 1–4. Opladen; Wiesbaden; Paderborn etc., 1996–2006.

Gottesdeinstmenäum 2003 – Gottesdienstmenäum für den Monat Februar auf der Grundlage der Handschrift Sin. 164 des Staatlichen Historischen Museums Moskau (GIM). T. 1: 1. bis 9. Februar / Hrsg. von H. Rothe. Paderborn etc., 2003.

В.Б. Крысько

---

[7] Работа выполнена в рамках проекта «Ранние славянские гимнографические тексты: источники и реконструкция», поддержанного Отделением историко-филологических наук РАН (Программа фундаментальных исследований «Русская культура в мировой истории»); считаем также своим приятным долгом поблагодарить за поддержку Фонд содействия отечественной науке.

***D. A. Peterson.* Applicative constructions.** Oxford: Oxford University Press, 2007. 305 p.

Исследование британского типолога и специалиста по тибето-бирманским языкам Д. Петерсона «Аппликативные конструкции» посвящено, как это следует из его названия, типологии аппликатива – повышающей актантной деривации, наряду с каузативом, весьма распространенной в языках мира, однако гораздо хуже описанной. В частности, не существует общепринятой классификации семантических и синтаксических типов аппликатива, недостаточно разработаны способы его формального описания. Данная работа призвана заполнить этот пробел.

Эта попытка, в общем, увенчалась успехом: работа дает такой широкий диапазон сведений об аппликативной деривации, которого не может дать ни одно описание конкретного языка, даже с развитым аппликативом. В частности, очень существенна вторая глава, посвященная классификации аппликативов.

Автор предлагает свое определение данной деривации (что необходимо, поскольку типология аппликатива разработана не так хорошо, как для многих других дериваций): аппликатив должен маркироваться в глаголе и повышать статус некоторого периферийного участника ситуации до прямого объекта. Нужно, правда, сказать, что последний момент в определении сформулирован несколько расплывчато («обычно это прямой объект»). Как убедительно показывает автор, обычно аппликативный объект имеет некоторый набор свойств прямого объекта, но совсем не обязательно полный набор.

В этой связи возникает вопрос, как соотносится с аппликативом другая деривация, повышающая статус объекта – «версия», продвигающая участника в позицию **непрямого** дополнения. Как кажется, она весьма близка к аппликативу: участник с высоким коммуникативным статусом также продвигается в привилегированную синтаксическую позицию, становясь ядерным актантом глагола. Однако версия в работе, к сожалению, даже не упоминается.

Дав определение аппликатива, автор выделяет несколько признаков, по которым делит аппликативы на подтипы. Особый интерес представляет, на наш взгляд, варьирование статуса объектов при глаголах, имеющих два прямых объекта – исходный и аппликативный. В традиционных работах такого рода конструкции могли рассматриваться просто как «вдвойне переходные», но современные исследования (см., например [Polinsky, Kozinsky 1993]) показали, что почти никогда два объекта не бывают действительно равноправны. Данный вывод подтверждает и исследование Д. Петерсона: как правило, применяемые им синтаксические тесты (способ релятивизации, пассивизация, реципрокализация, возможность замены объектной именной группы на клитику) позволяют разграничить эти два типа объектов. В этой связи аппликативные конструкции близки к каузативам от переходных глаголов, где объекты также различаются (по сочетаемости с деривациями, способности контролировать рефлексив и т.д.).

Еще один интересный признак – сочетаемость аппликативных показателей. Как и каузативация, «аппликативизация» часто ограничена – причем как бы с двух сторон: может быть запрещена деривация от непереходных глаголов или, напротив, от трехвалентных, имеющих два исходных объекта. В дальнейшем автор излагает формальную теорию, позволяющую описать это варьирование. Однако важно, что в книге дается и диахроническое обоснование: часто аппликативный показатель восходит к свободному глаголу или вспомогательному элементу со значением 'давать' и наследует его синтаксические свойства, в частности, переходность.

Интересно, что различия между типами аппликативов, как оказывается, могут существовать не только между языками, но и внутри одного языка. С этой точки зрения очень полезно предпринятое в работе описание языка хакха-лаи тибето-бирманской группы, обладающего развитой системой аппликативов (включая комитативный, локативный, инструментальный, бенефактивный, малефактивный, а также более экзотические типы).

Участники, продвигаемые различными типами аппликатива в позицию прямого объекта, сильно разнятся по своим свойствам: одни из них, как бенефициант, обязательно одушевленные, другие, как локатив, напротив, всегда неодушевленные. Это влияет и на их статус: при инструментальном, локативном и бенефактивном аппликативе степень близости объекта к прямому дополнению различается.

Описание системы хакха-лаи полезно и еще с одной точки зрения: оно задает возможный диапазон типов аппликатива – в то время как широко известны в лингвистике, в основном, самые распространенные типы: инструментальный, локативный и бенефактивный.

В этой связи, кстати, вызывает удивление, что в книге не упоминается еще один тип аппликатива, описанный в работе [Lehmann, Verhoeven 2006], где для него предложен термин «экстраверсив». Если глагол исходно является непереходным, но подразумевает пациентив-

ного участника (например, 'есть'), аппликатив может присваивать роль прямого дополнения пациенсу – следовательно, экстраверсив дополняет различные семантические типы аппликатива.

В работе описывается также другая аппликативная система, представленная в языке букусу группы банту. Этот язык также имеет несколько типов аппликатива (бенефактивный, инструментальный и локативный), различающиеся по своим свойствам. При инструментальном аппликативе ключевые объектные свойства имеет пациенс, при локативном – локативный аргумент, наконец, при бенефактивном распределение свойств зависит от одушевленности партиципантов.

Семантически, помимо систем с дифференциацией типов аппликатива, существуют системы с одним обобщенным показателем, например, язык чага группы банту или австронезийский язык туканг-беси.

Наконец, последний параметр классификации очень важен для типологии актантной деривации в целом. Как правило, по умолчанию считается, что любая конструкция с производной формой глагола может быть сопоставлена некоторой «исходной» форме и конструкции, в которой она выступает. Как показано в работе, это существенное упрощение: отнюдь не для всех аппликативных конструкций существуют параллели с периферийным кодированием объекта.

Не обойден вниманием и еще один аспект, очень важный для современной типологии – дискурсивная роль аппликатива (см. исследования [Givón 1983; Thompson 1990], а также сборник [Bybee, Hopper (eds.) 2001] о дискурсивных функциях грамматических категорий). Автор ожидает, что аппликативный объект будет ранжирован выше исходного по характеристикам, связанным с топикальностью, и проверяет свои гипотезы на материале языков волоф и хакха-лаи. Используются два подхода – подход Гивона и его последователей, характеризующий топикальность в терминах количества упоминаний объекта и расстояния между ними (наиболее топикальным для данного предложения считается аргумент, упомянутый в тексте незадолго до него и упоминаемый в последующих предложениях) и подход Чейфа и Томпсон, при котором топикальность связана с такими характеристиками, как одушевленность, выражение местоимением или именной группой, определенность, длина именной группы и др.

В целом высокая топикальность аппликативного аргумента подтверждается – но выявляются и еще две особенности конструкций. Во-первых, о роли аппликатива в увеличении топикальности объекта можно говорить, прежде всего, в применении к собственно бенефактивным употреблениям. В частности, автор замечает, что употребление бенефактивного аппликатива дает возможность замещения объекта кратким местоимением, а это во многих языках характеризует именно ядерные актанты глагола (в предыдущих исследованиях эта конкретная функция не рассматривалась).

Инструментальные, комитативные и локативные аппликативы не придают своему объекту такого высокого статуса. Их функция является в большей мере синтаксической. В частности, именно инструментальные и локативные аппликативы часто используются, чтобы сделать объект доступным для релятивизации. Данное различие вполне объяснимо: ведь именно при бенефактивах объект является одушевленным – при других употреблениях это ограничение отсутствует или не столь значимо. Во-вторых, по статусу вводимые аппликативом объекты практически тождественны реципиентам при таких глаголах, как 'давать' или 'дарить' – общность этих семантических ролей неоднократно отмечалась.

Аппликативы в хакха-лаи и волоф различаются по своим функциям, что связано с различиями в самой системе аппликативных маркеров. В хакха-лай аппликативы обычно вводят одушевленные аргументы, которые, тем самым, получают очень высокую топикальность, приближающую их к реципиентам трехвалентных глаголов. Напротив, в волоф, помимо одушевленных, аппликативом часто вводятся неодушевленные аргументы – и в этом случае ключевыми являются именно синтаксические функции аппликатива. Тем самым, дискурсивный подход и сравнение двух языковых систем позволяет автору наметить границу между «синтаксическими» употреблениями при неодушевленных аргументах и «коммуникативными» – при неодушевленных.

В целом глава, посвященная дискурсу, подтверждает ожидания, но позволяет придать тенденциям более точную форму. В частности, это связано с тем, что аппликативные конструкции не слишком часто встречаются в текстах – тем более сложно проследить их употребление в определенной функции.

При общей функционально-типологической ориентации работы автор уделяет внимание и формальным механизмам описания аппликативных конструкций. Впрочем, этот анализ довольно фрагментарен, и винить в этом стоит не автора, а современное состояние формальных исследований по этой теме. Если часть различий, как, например, применимость «аппликативизации» ко всем или только к переходным глаголам, объяснялась с формаль-

ной точки зрения, то другие – к примеру, формальные различия между семантическими типами – просто игнорировались. В этом смысле «формальная» часть работы, конечно, необходима для полноты исследования, но дает не так уж много для типологии аппликатива.

Гораздо более информативна и интересна глава, посвященная диахроническим аспектам типологии аппликатива. Как показывает автор, для такого изучения важно проанализировать три стадии развития конструкций: формирование аппликатива и его источники, развитие аппликатива и первичность одних типов по отношению к другим и, наконец, дальнейшая эволюция аппликативных маркеров к синтаксическим употреблениям.

Изначально маркеры аппликатива обычно восходят к предлогам и послелогам или к конструкциям с сериальными глаголами. В первом случае предлоги и послелоги начинают присоединяться к глаголам, и конструкции типа 'мы точим ножи о камень' (предложное управление) автоматически превращаются в 'мы точим-о камень ножи' (инструментальный аппликатив, предлог 'о' инкорпорирован в глагол).

Интересно, что часто такого рода развитие связано с опущением исходного объекта в простом предложении или при релятивизации. Например, так образовались инструментальные аппликативные конструкции в языке рама: только при условии нулевого выражения объекта управляющий им предлог присоединялся к глаголу. Такое развитие интересно и для более широкой типологической перспективы.

Как правило, считается, что первичными являются семантические употребления дериваций, связанные с изменением набора семантических актантов глагола. К примеру, изначально каузатив подразумевает изменение семантики ситуации – а позднее может использоваться чисто синтаксически, например, для образования разносубъектных полипредикативных конструкций (см. [Nichols 1985] о чеченском). Однако существуют и противоположные случаи, когда изменение семантики ситуации выражается механизмами, исходно мотивированными синтаксически – аппликатив относится именно к таким случаям.

С другой стороны, при глагольном происхождении источником может быть сериальная конструкция с глаголами с обобщенным значением типа 'брать' (инструментальный аппликатив) или 'давать' (бенефактивный аппликатив).

Именно такой путь образования аппликатива связан с подробно описанной автором каузативно-аппликативной полисемией. Известно, в частности, что глаголы со значением 'давать' часто становятся показателями каузатива – первоначально пермиссивного (ср. русск. *Дай мне пройти*), а затем и других типов. Тем самым, иногда каузативно-аппликативная полисемия связана с независимым развитием двух значений из одного показателя.

Нередко два употребления бывают дополнительно распределены по глаголам: каузативное сочетается с непереходными глаголами (еще в работе [Недялков, Сильницкий 1969] отмечено, что с этим классом глаголов каузатив вообще сочетается лучше), а аппликатив – с переходными: такое распределение лишний раз свидетельствует о связи между этими значениями.

С другой стороны, существует и другой тип той же полисемии, когда каузативный показатель совпадает с инструментально-аппликативным. Основой для него является другой тип каузативной конструкции: прежде всего, конструкции с неодушевленным субъектом каузируемой ситуации. Даже при отсутствии собственно аппликативного употребления, как, например, в адыгейском языке, такие конструкции могут переосмысляться как инструментальные (например, 'я заставил молоток разбить чашку' → 'я разбил чашку молотком'): это связано с тем, что для канонического каузатива от переходного глагола неодушевленный СКС непрототипичен (см. [Shibatani 2002] о различных типах каузатива).

Позднее показатели такого рода могут получать аппликативные употребления, отделяясь от каузативного значения. Тем не менее, такой сценарий развития не слишком распространен.

Еще одно промежуточное значение при такой каузативно-инструментальной полисемии – социативное значение: как справедливо отмечает автор, в ряде ситуаций каузативная и социативная трактовка одинаково приемлемы (например, ситуацию 'вести' можно считать каузативом 'заставлять идти', а можно – социативом 'идти вместе с кем-л.'). Социативное и инструментальное употребления типологически очень близки, см. хотя бы диссертацию [Архипов 2005], где показано, что они совмещаются очень во многих языках.

Синтаксические типы аппликатива также соотносятся диахронически: как считает автор, первичны «симметричные» аппликативы, связанные только с увеличением транзитивности глагола: непереходные глаголы они делают переходными, а переходные – вдвойне переходными. Затем конкуренция объектов усиливается, и один из них (обычно вводимый аппликативом) становится привилегированным. Как правило, это развитие проходит промежуточную стадию, когда объекты ведут себя по-раз-

ному в зависимости от того, есть ли между ними различие по одушевленности – а затем приходит к синтаксически мотивированной ситуации, когда любой аппликативный объект превосходит по статусу исходный.

В пользу такого развития выдвигается именно наличие промежуточной стадии: если бы исходной была «асимметричная» ситуация, невозможно было бы объяснить стратегии, основанные на противопоставлении по одушевленности: асимметричная стратегия и так предполагает привилегированность одушевленного объекта, поскольку он и вводится аппликативом.

С другой стороны, как отмечает автор, в асимметричных системах типа чичева аппликатив имеет более узкую сочетаемость, чем в симметричных. Тем самым, слабой стороной этого подхода является то, что необходимо постулировать сужение сочетаемости показателя в ходе эволюции – тогда как обычно происходит обратное. К сожалению, автор не объясняет такого необычного развития.

Развитие одного типа аппликатива из другого представляет интерес и с точки зрения диахронической типологии показателей актантной деривации: фактически при переходе от одного типа к другому повышающая деривация превращается в интерпретирующую. Сходный сценарий развития можно наблюдать у каузативов в чеченском и адыгейском языках, когда каузативный маркер начинает использоваться не для повышения валентности глагола, а прежде всего для переключения референции, маркируя смену субъекта.

Наконец, из аппликативного употребления могут возникать синтаксические употребления – в частности, номинализации. Как автор показывает на примере языков надеб, майя и калкатунгу, часто употребление аппликативов (в особенности локативного и инструментального типа) ограничено подчиненными, в первую очередь релятивными, клаузами типа 'которым мы режем'. В этом случае объект присутствует в главной клаузе, а в подчиненной опускается. Такое употребление может быть позднее переосмыслено как номинализация: номинализации вообще диахронически и синхронно тесно связаны с подчиненными клаузами.

В частности, автор дает новый и интересный анализ океанийских языков. Формы аппликатива в этих языках совпадают с отглагольными существительными. Как правило (см. [Ross 1995]), считается, что исходно данные показатели использовались именно в номинализациях, а позднее были переосмыслены как финитные. Однако автор считает, что скорее исходным было использование данных показателей в качестве показателей аппликатива или фокуса в подчиненных предложениях, а позднее они стали употребляться в качестве показателей номинализации. Пределом грамматикализации является лексикализация аппликативных форм, ср. примеры типа *i-sele* 'то, чем режут' (инструментальный аппликатив от *sele* 'резать') из языка боумаа-фиджи.

Последняя глава затрагивает проблематику типологии систем: с помощью статистических методов прослеживается связь между наличием аппликатива (или определенных его подтипов) и другими явлениями языковой системы: порядком слов, синтаксическим строем, принадлежностью к языкам с вершинным или с зависимостным маркированием, ограничениями на релятивизацию аргументов, выражением синтаксических отношений падежами или предлогами/послелогами, а также другими деривациями: каузативом, пассивом и антипассивом.

Часть параметров, как выясняется, мало связана с аппликативами: в частности, аппликативы отдают предпочтение языкам с вершинным маркированием, но разница статистически мала. Также не прослеживается связь с наличием специфического объектного маркера. Как отмечалось в лингвистических работах, аппликативы несколько чаще среднего встречаются в языках со срединной позицией глагола и несколько реже – в конечной, но и эта зависимость сравнительно мала.

С другой стороны, обнаружен ряд значимых зависимостей. В частности, аппликативы явно свойственны, прежде всего, эргативным языкам. Как отмечалось, наиболее топикальной в таких языках часто является позиция абсолютива: тем самым, аппликатив позволяет сразу передвинуть аргумент в коммуникативно наиболее значимую позицию. Напротив, в аккузативных языках передвижение в позицию прямого объекта такого эффекта не дает: в них наиболее топикален все же субъектный, а не объектный аргумент, а значит, помимо аппликатива, требуется механизм типа пассивизации, передвигающий прямой объект в позицию субъекта.

Интересно, что автор обнаруживает корреляции между наличием пассива и наличием бенефактивного или обстоятельственного аппликатива[1]. Это лишний раз доказывает, что

[1] Нужно, однако, сказать, что эта корреляция явно преувеличена: в частности, в выборку попал русский язык, не имеющий аппликатива, но имеющий пассив, однако при подсчетах оказывается, что все языки с пассивом имеют также аппликатив.

не для любого типа аппликатива важнейшей функцией является увеличение топикальности. Наиболее важна эта функция именно для бенефактивного подтипа – тем самым, естественно, что при наличии такого инструмента в языке появляется и пассив, подразумевающий передвижение топикального аргумента в субъектную позицию. Другие типы аппликативов с пассивом не связаны – а значит, «топикальная» функция бенефактива явно преувеличена.

Каузатив связан с аппликативом, поскольку наличие в языке аппликатива относит его к «повышающему» типу по [Nichols 1993] и [Nichols et al. 2004]: следовательно, стоит ожидать, что в языке также имеется каузативный показатель. Наконец, антипассив часто встречается в языках с аппликативом, по-видимому, потому, что аппликатив характерен для эргативных языков.

К сожалению, автор не упоминает об интересном следствии из этого: в одних и тех же языках типологически засвидетельствованы противоположные деривации – аппликатив, повышающий статус объекта, и антипассив, понижающий его. Тем самым, деление на повышающие и понижающие языки в этом случае размывается. Требуется более детальный анализ взаимоотношений аппликатива и антипассива.

С другой стороны, локативный аппликатив (и другие подтипы, связанные с продвижением неодушевленных партиципантов) часто встречается в языках, где ограничены возможности релятивизации: тем самым, «неодушевленные» типы действительно используются не для повышения топикальности, а для увеличения доступности аргумента для синтаксических процессов.

Наконец, выборка позволяет сопоставить различные подтипы внутри аппликатива: наличие бенефактивных и инструментально-комитативных аппликативов никак не связано с остальными подтипами – тогда как локативный и обстоятельственный подтипы встречаются в тех языках, где выражаются и другие типы аппликативов. Следовательно, ключевыми, ядерными, являются именно первые два типа – причем выражаться они могут как отдельными показателями, так и обобщенными аппликативными.

Как кажется, данная глава, как и исследование в целом, полезна не только для типологии аппликатива, но и в качестве образца системного типологического исследования: все утверждения в ней делаются на строгой статистической основе. В то же время читателю, заинтересованному типологией актантных деривций, не хватает более подробных объяснений. Впрочем, возможно, это дело будущего, поскольку описания аппликативов в настоящее время все еще довольно скудны. Наиболее интересным полем исследования был бы анализ соотношения аппликатива с конкретными актантными деривациями: это было бы логичным продолжением широкого типологического анализа, предпринятого в работе Д. Петерсона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Архипов 2005 – *А.В. Архипов*. Типология комитативных конструкций: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2005.

Недялков, Сильницкий 1969 – *В.П. Недялков, Г.Г. Сильницкий*. Типология морфологического и лексического каузативов // Типология каузативных конструкций. Л., 1969.

Bybee, Hopper (eds.) 2001 – *J. Bybee, P. Hopper* (eds.). Frequency and the emergence of linguistic structure. Typological studies in language 45. Amsterdam; Philadelphia, 2001.

Givón 1983 – *T. Givón*. Topic continuity in discourse: A quantitative cross-language study. Amsterdam, 1983.

Lehmann, Verhoeven 2006 – *C. Lehmann, E. Verhoeven*. Extraversive transitivization in Yucatec Maya and the nature of the applicative // L.I. Kulikov, A.L. Malchukov, P. de Swart (eds.). Case, valency and transitivity. 2006.

Nichols 1985 – *J. Nichols*. Switch-reference causative // CLS 21. Pt. 2: Papers from the parasession on causatives and agentivity. 1985.

Nichols 1993 – *J. Nichols*. Typological implications of lexical transitivity (MS). University of California (Berkeley), 1993.

Nichols et al. 2004 – *J. Nichols, D.A. Peterson, J. Barnes*. Transitivizing an detransitivizing languages // Linguistic typology. 8. 2004.

Polinsky, Kozinsky 1993 – *I. Kozinsky, M. Polinsky*. Causee and patient in the causative of transitive: coding conflict or doubling of grammatical relations? // B. Comrie, M. Polinsky (eds.). Causatives and transitivity. 1993.

Ross 1995 – *M. Ross*. Reconstructing Proto-Austronesian verbal morphology: Evidence from Taiwan // P. Li et al. (eds.). Austronesian studies relating to Taiwan. Taipei, 1995.

Shibatani 2002 – *M. Shibatani*. Introduction: Some basic issues on the grammar of causation // M. Shibatani (ed.). The grammar of causation and interpersonal manipulation. Amsterdam; Philadelphia, 2002.

Thompson 1990 – *S. Thompson*. Information flow and dative shift in English discourse // J. Edmondson et al. (eds.). Development and diversity: Language variation across time and space: A Festschrift for Charles-James N. Bailey. Arlington, 1990.

А.Б. Летучий

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Международная конференция «Стереотипы в языке, коммуникации и культуре»

23–24 октября 2007 г. в Институте лингвистики РГГУ прошла очередная, пятая, международная конференция – в этот раз под названием «Стереотипы в языке, коммуникации и культуре». Тематика конференции предполагала различные подходы к исследованию стереотипов; были представлены направления: этнолингвистика, культурология, когнитивная лингвистика, социолингвистика, русистика, славистика, историческая этнография, психология, литературоведение.

На конференцию были приглашены зарубежные гости: Р. Ратмайр, Э. Хофман из Австрии, И. Держанский из Болгарии, Е. Бартминьский, Э. Бялэк из Польши, О.В. Сахарова с Украины, Е. Вельмезова из Швейцарии, гости из Волгограда и Екатеринбурга. Участвовали представители академических институтов – Русского языка, Языкознания, Славяноведения, Востоковедения, Латинской Америки; ведущих вузов Москвы – МГУ, Института русского языка им. Пушкина, Университета Дружбы народов, а также РГГУ. Всего в конференции приняли участие более 50 ученых. В докладах использовался материал русского, украинского, польского, чешского, болгарского, сербского, немецкого, английского, норвежского, испанского, итальянского, французского, арабского, китайского языков.

На пленарном заседании были заслушаны доклады С.А. Ромашко (Москва) «Как стереотип стал стереотипом: культурно-семантическая археология слова и понятия», Е. Бартминьского (Люблин) «Базовые стереотипы и их профилирование в польском языке», Е.Л. Березович (Екатеринбург) «Этнические стереотипы в различных культурных кодах», Р. Ратмайр (Вена) «Речевые клише или стереотипы "новой русской вежливости". Их употребление и оценка», О.В. Сахаровой (Киев) «Страны мира сквозь призму языкового сознания украинцев (по материалам свободного психолингвистического эксперимента)». Они вызвали широкое обсуждение и заложили основные направления работы конференции, продолженной в трех секциях: по этнокультурным и культурно-языковым стереотипам, коммуникативным стереотипам и языковой норме, социально-идеологическим стереотипам в языке.

Секция «Этнические и культурные стереотипы, культурно-языковые концепты» была посвящена отражению в языке стереотипных представлений, связанных с этническими образами, а также отражению в языках культурных концептов и образов. Поднятая в пленарных докладах Е. Бартминьского и Е.Л. Березович тема этнических стереотипов была продолжена в докладах М.В. Лескинен (Москва), Е.Е. Левкиевской (Москва), Э. Бялэк (Люблин), В.Я. Тихомировой (Москва), О.С. Чесноковой (Москва). Как складываются наши представления о других народах и какими они видят нас, русских, – этот вопрос продолжает оставаться актуальным; на конференции он обсуждался на примере стереотипов русского, украинца, поляка, немца, цыгана, испанца, араба, финна. Е. Бартминьский, говоря о многолетних исследованиях языковых стереотипов, отражающих «народную картину мира», отметил изменение стереотипов *русского* у поляков. Языковые стереотипы, связанные с образом *цыгана* у русских, выявила Е.Л. Березович. М.В. Лескинен показала, как в начале отечественной этнографической традиции (с середины XIX в.) на принципах близости к главенствующему образу представителя русского народа формировались этнические стереотипы *финна* и *поляка* – подданных Российской империи. Образ *укра-*

инца и его изменение в русском сознании проследила Е.Е. Левкиевская.

Неожиданно остро прозвучал для аудитории доклад В.Я. Тихомировой, исследовавшей образ *русского* в польской прозе военного времени, так называемой «лагерной прозе», сконцентрировавшей отрицательные коннотации в русских языковых заимствованиях лагерной лексики. Современная политическая жизнь вызывает изменения в трактовке стереотипов *русского* и *поляка*, о чем говорила Э. Бялэк на материале анализа текстов СМИ. В докладе О.С. Чесноковой рассматривались также испанские этнические образы (*галисийца, андалузийца, каталонца* и др.) на материале испанской и латиноамериканской фразеологии.

Н.В. Васильева (Москва) рассказала об ономастических стереотипах: если для русского *Иван да Марья* продолжают оставаться самыми «русскими» именами, то современный европейский слух отмечает *Наташу*, турецкий – *Колю*; немец в русских стереотипах претерпел ряд преображений: от обрусевшего *Карла Иваныча* и типичного сказочного *Ганса* к *фрицу* и далее опять к *Гансу*, хотя для самих современных немцев существуют иные автостереотипы.

На секции обсуждались не только культурные стереотипы в языке, но и языковые стереотипы в культуре. Бытованию в культуре сакральных формул были посвящены доклады Ф.Б. Успенского и А.Ф. Литвиной (Москва) «Судьба формулы в документе и литературе: от духовной грамоты к поэтическому завещанию», Н.И. Запольской (Москва) «Словесные формулы конфессиональной культуры», Т.Н. Молошной (Москва) «Стереотипные формулы проклятий с глагольными формами косвенных наклонений» на материале славянских языков и культур. Ритуальные приветствия в народной культуре славян во всем их языковом и коммуникативном многообразии были рассмотрены И.А. Седаковой (Москва). Этикетные стереотипы, характерные для письменной практики древних новгородцев, продемонстрировал А.А. Гиппиус (Москва) на материале текстов берестяных грамот.

Е. Вельмезова (Лозанна) рассказала о семантике и символике цветообозначений в чешских заговорах в сопоставлении с молитвами: богатая цветовая гамма, представленная в лечебных заговорах, контрастирует с очень бедным представлением цвета в молитве, что является одним из жанровых отличий. Автор предложил интересную интерпретацию этого явления.

Широким сопоставлением индейских культур майя, европейской традиции, христианской традиции в трактовке концепта КРОВЬ и в речевых формулах клятвы был отмечен доклад Г.Г. Ершовой (Москва).

Другой круг вопросов, затронутых на этой секции, касался ключевых образов и концептов, закрепленных в языке, в языковой картине мира. И. Держанский (София) представил интересную попытку сопоставления языковых образов русского *медведя* и болгарской *мечки* (в болгарском «медведь» выступает в языковой форме женского рода). В докладе Л.Л. Федоровой (Москва) «Языковые стереотипы поведения дурака в народной культуре (на материале текста Рабле и его перевода)» сопоставлялись французские и русские фразеологические образы, отражающие народные представления о нелепом. Размышлениями о размытой семантике фразеологизма «щелкнуть клювом» поделился в своем выступлении М.Ю. Михеев (Москва). Тематика языковых концептов в народной картине мира была продолжена в докладах Е.В. Урысон (Москва) о концептах ДУША, ДУХ, А.Д. Кошелева (Москва) о концептах ДОМ, ЖИЛИЩЕ, К.А. Гиляровой (Москва) о языковых метафорах СЕМЬИ.

Таким образом, в работе секции соприкоснулись когнитивно-семантический и этнолингвистический подходы, синхроническая и диахроническая перспективы, фольклорные и литературные материалы, что обусловило взаимный интерес и широкий обмен мнениями.

В секции, посвященной коммуникативным стереотипам и языковой норме, рассматривались новые явления преимущественно в русском языке, складывающиеся коммуникативно-прагматические стереотипы.

В докладах М.А. Кронгауза (Москва), Анны А. Зализняк (Москва) и И. Микаэлян (Пенсильвания), Т.М. Николаевой (Москва), Е.П. Буториной (Москва) исследовались новые явления в русской речи: переосмысление значений существующих слов, появление новых слов и коммуникативных стереотипов и даже сужение, обеднение за их счет лексики, что связано, по мнению авторов, с определенным изменением системы ценностей. Кажется, более престижно звучит теперь для представителя творческой профессии *участвовать в проекте и производить продукт*, чем *быть артистом и сниматься в кино*; в любом деле можно быть *эффективным менеджером*, и даже *клининг-менеджер* оказывается новой профессией вместо привычной уборщицы. Новые названия скрывают обыденные смыслы и придают им иные коннотации, с ориентацией на западные образцы. М.А. Кронгауз отметил

тенденцию к использованию скорее общих именований, чем нейтральных, базисных, что ранее было характерно преимущественно для политического и бюрократического дискурса.

Т.М. Николаева поделилась наблюдениями о размывании значений оценок и области их применения, в частности о распространении пришедшей из петербургского узуса оценки *четкий, четко*, подчеркивающей идею визуальности, ранее обозначенную метафорой *вертикаль власти*. Официальной стереотипизации сопутствует обеднение лексикона.

Одной из центральных тем секции стало соотношение языковой нормы и речевой практики. Стереотипы в понимании литературной нормы рассматривал в своем докладе В.И. Беликов (Москва). Н.Н. Розанова и М.В. Китайгородская (Москва) представили интересные образцы разговорной речи в стереотипных ситуациях городской коммуникации. Т.Е. Янко (Москва) продемонстрировала результаты исследования изменения интонации обращений в зависимости от характеристик коммуникативной ситуации. Языковой норме в поэтических текстах А. Введенского, обычно оцениваемых в плане нарушений нормы, посвятила доклад А.В. Десятова (Москва). На материале норвежского языка построили свои выступления А.А. Солдатов и Д.Н. Солдатова (Москва).

Ряд докладов был посвящен поведенческим стереотипам: О.Ю. Мартемьянов (Москва) в докладе «Поведенческие стереотипы в сюжете рефлексивной игры» исследовал с позиции психолога понятие поведенческого стереотипа, распространив его на коммуникативные ситуации. Е.Ю. Щербакова (Москва) рассматривала поведенческие стереотипы, отраженные в текстах русских сказок и пословиц, Т.Г. Ренц представила совместное с В.И. Шаховским (Волгоград) исследование, в котором сопоставлялось отражение поведения влюбленных в американских и русских речевых стереотипах. И.А. Шаронов (Москва) остановился в своем докладе на стереотипных ответных репликах диалога, основанных на употреблении междометий и коммуникативов. В сообщении С.И. Переверзевой (Москва) о стереотипной ориентации частей тела в коммуникативном поведении русских были отражены результаты совместного с Г.Е. Крейдлиным (Москва) исследования. Продолжая начатую Р. Ратмайр тему вежливости, С.С. Тахтарова (Волгоград) отметила тенденции иллокутивного смягчения категоричности в немецкой речи.

Таким образом, о понимании коммуникативно-языкового стереотипа, не таком общепринятом, как этнический стереотип, спорили русисты и исследователи иных лингвокультур, психологи и семиологи, использовавшие в анализе как традиционные лингвистические, так и социолингвистические и инструментальные методы.

Тематика социально-идеологических стереотипов в языке прозвучала на заседании третьей секции в докладах А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского (Москва) «Метафора и стереотип (на материале метафорических осмыслений России и ГДР в СМИ)», Е.Н. Басовской (Москва) «Фразеология Победы: история одной идеологемы (по материалам "Литературной газеты" 1945–2005 гг.)», Н.Н. Воропаева (Москва), исследовавшего идеологические стереотипы в прецедентных языковых формулах на материале китайского языка, А.Р. Аюповой (Москва), посвятившей выступление категории времени в арабо-мусульманском дискурсе.

Современные социально-культурные стереотипы также нашли отражение в докладах Н.Г. Брагиной (Москва), Э. Хофмана (Вена), Ю.В. Филиппова (Москва).

Доклад Н.Г. Брагиной основывался на сопоставлении гендерных стереотипов по модели «Все мужчины/мужики – X», «Все женщины/бабы – Y», отражающих отрицательный опыт «войны полов» в плане наивного скепсиса. Ю.В. Филиппов остановился на социально-языковых стереотипах выражения чувств в современной поп-культуре, рассмотрев примеры песенных текстов, посвященных любовной теме, на русском, английском, итальянском языках. Э. Хофман обобщил опыт исследования рекламы продуктов питания в аспекте «свое – чужое» в русских стереотипных формулах.

В целом конференция прошла в обстановке творческой полемики, столкновения позиций, практически все доклады сопровождались оживленной дискуссией. Она дала импульс к творческому обмену мнениями, подтвердила целесообразность объединения разных научных направлений в исследовании ключевых тем, способствовала укреплению научных контактов.

Сборник статей по результатам конференции готовится к изданию.

В октябре 2008 г. в Институте лингвистики пройдет следующая конференция, которая будет посвящена теме «Конфликт в языке и коммуникации».

Л.Л. Федорова (Москва)

XIX ежегодная индоевропейская конференция в Лос-Анджелесе

2–3 ноября 2007 г. в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе состоялась XIX ежегодная индоевропейская конференция, которую проводила кафедра индоевропейского сравнительного языкознания, – одна из сильнейших в США. За последние годы сотрудниками кафедры, которую возглавляет известный специалист по древнеиндийскому языку С. Джемисон, сильно укрепилась. С кафедрой активно сотрудничает акад. Вяч.Вс. Иванов, известный хеттолог К. Мелчерт, специалист по латинскому языку К. Нишимура, а также значительное число молодых индоевропеистов, подготовка которых активно проводится на кафедре.

Конференция открылась докладом Дж. Джезанова, который рассмотрел незакономерные фонетические изменения, связанные с действием аналогии («Analogy as sporadic sound change»).

Канехиро Нишимура подробно рассмотрел изменения гласных в латинском языке («A historical analysis of Latin vowel reduction: Prosody, phonetics, and analogy»), проследив их развитие от дописьменного латинского языка к архаическому и классическому в зависимости от основы слова. В частности, докладчик остановился на различном пути, который прошли формы презенса и перфекта, например, *cólligō* < **kóllegō*, *collēgī* < **kóllēgai*, но *íngemō* < **éngemō*, *ingémuī* < **éngemuai*. В прежних трудах это объяснялось влиянием аналогии со стороны простого глагола, но докладчик заметил, что возможно интерпретировать это как различное отражение гласного неопределенного тембра, который в безударных позициях дает разные рефлексы.

Проблема латинской синкопы рассматривалась в докладе Н.Н. Казанского (Санкт-Петербург), который предложил объяснять нерегулярности этого явления и, в частности, тот факт, что синкопа затрагивает форму именительного падежа, особенностями латинской фразовой интонации, связанной с порядком слов в предложении.

Б.В. Фортсон [Fortson 2004], недавно выпустивший интересную книгу по индоевропеистике, посвятил свой доклад двойной назализации при образовании презентных основ в кельтском и индоевропейском. Рассмотрев целый ряд глаголов, автор пришел к выводу о том, что у нас нет реальных оснований для того, чтобы реконструировать изначальную двойную назализацию для праиндоевропейского, хотя внутри отдельных языковых ветвей двойная назализация засвидетельствована.

Конференция включала два приглашенных доклада. А. Парпола объединил в своем сообщении данные лингвистической реконструкции, касающиеся колесного транспорта и связанных с ним изобретений с археологическими находками. С точки зрения автора, чрезвычайно важной была роль Трипольской культуры, которая занимает одновременно и центральное, и промежуточное положение между западными и восточными индоевропейскими языками. Э. Рикен прочитала доклад, посвященный происхождению местоименного показателя на *-l-* в анатолийских языках. Это явление, давно известное и изучавшееся начиная с 30-х гг., она рассмотрела на широком фоне не только деривационных, но и словообразовательных моделей, показав связи между основами на *-l-*, слоговой и акцентно-аблаутными структурами слова, а также отражением данного явления в поздних анатолийских языках.

Дж. Рау рассмотрел историю формирования обозначений для десятков в индоевропейских языках, выделив три основных типа: первый – **tréyes dek'mtes* 'столько-то десятков', представленный в балто-славянском (**два десяти**, *dvì dẽšimti*) и германском (*twai tigjus*) ареалах; второй тип – **tríh₂ dek'omth₂*/**tríh₂ dk'mth₂* представляет собой присоединение порядковых числительных к амфикинетическим словам среднего рода **dek'omth₂*/**dk'mth₂* 'десяток', при этом нулевая ступень корня обобщается и в сильных основах с возможным дальнейшим фонетическим переходом. Мы обнаруживаем свидетельства такого словообразования в греческом (εἴκοσι, τριάκοντα), армянском (*k'san*, *eresown*), латинском (*vīgintī*, *trīgintā*), тохарском B (*ikäm*), а также отдельные следы в кельтском (*fiche*, *fichet*) и индоиранском (авест. *vīsaiti*). Третий способ включает композиты женского рода с абстрактно-коллективным значением, причем второй корень амфикинетический, ср. **tri-dék'omts*/**tri-dk'mtés*. Этот тип склонения стал продуктивен в греческом (εἰκάς, -αδος) кельтских (*tricho*) и индоиранских (вед. *trimśát-*) языках. Рассмотрение этих сложных числительных позволяет реконструировать несколько типов образования таких числительных уже на праиндоевропейском уровне. В частности, можно предполагать субстантивацию второй основы среднего рода *-dék'mt-* «группа из десяти». Эти основы среднего рода на *-t-*, были способны образовывать прилагательные с посессивным значением, которые затем субстантивировались в форме женского рода **tri-dék'omt-*/**dk'mt-* 'заключающий (насчитывающий) столько-то десятков'. На основе этих последних композитов было

образовано новое числительное женского рода со статическим акцентом на суффиксе и полным вокализмом корня в сильных падежах и нулевым в слабых падежах. Тем самым могут быть реконструированы, с одной стороны, формы среднего рода, засвидетельствованные во всех индоевропейских языках, но в греческом сохранились оба типа словообразования, а остальные языки обобщили в своем развитии одну из возможных парадигм.

А. Нуссбаум рассмотрел в своем докладе исходы основ греческих композитов, включая имена собственные. Классификации композитов, только на ведийском материале, был посвящен доклад Б. Нильсен.

Несколько докладов было посвящено особенностям поэтики текстов в разных индоевропейских традициях. В частности, К. Вити рассмотрела предложения с глаголом в начальной позиции в ведической и ранней греческой поэзии, а Дж. Клейн – повторение числительных в тексте Ригведы (с возможным рассмотрением участия числа в дискурсивном движении). К этим докладам примыкал доклад А. Гальянич, которая рассмотрела так называемый priamel: случай, когда для понимания некоторого элемента ситуации D необходимо его сравнение с A, B и C. Введение такого рода сравнений в древнегреческие тексты часто сопровождается эпитетом при третьем члене (закон Бехагеля) и, как полагает автор, играло важную роль в индоевропейской поэтике.

Э. Флойд предложил для текста Одиссеи, 19, 477 новую интерпретацию всей сцены, предположив, что во второй части наречия ἔνδον содержится обозначение дома (корень **dom-*). При этом совершенно не были учтены наречия на *-don*, которые были хорошо изучены еще А. Минаром и составной характер которых достаточно очевиден. Впрочем, поскольку языковая игра у Гомера встречается, такая интерпретация не невозможна, хотя с точки зрения индоевропеистики остается достаточно сомнительной.

Т. Барнс на основе сопоставления авест. *hauruuatāt- amərə(ta)tāt-* и греч. ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην предложил пути для реконструкции праиндоевропейской формулы со значением 'бессмертие и юность', которая в греческом эпосе приобретает дополнительное значение, поскольку, согласно мифу об Ахилле, герой умирает юным. Отсюда и возможная замена 'бессмертия' (ἀμβροτῆτα) на 'мужественность' (ἀνδροτῆτα).

Несколько докладов было посвящено реконструкции праиндоевропейского ритуала, в частности Ш. Бранчоу сопоставляла жертвоприношения в ирландской традиции (человеческие жертвоприношения в Мабиноги) с древнеиндийской традицией, а П. Тейлор остановился на перспективах интерпретации гесиодовского корпуса.

Дж. Катц пытался доказать, что русское наречие *очень* могло бы представлять заимствование из неизвестного финно-угорского языка, поскольку диалектное распределение скорее свидетельствует скорее о северных арсалах распространения. Во время обсуждения доклада Н.Н. Казанский предложил возводить это наречие к конгломерату частиц: ср. *окони* в «Слове о полку Игореве» с интерпретацией комплекса частиц в стиле А.А. Зализняка.

А. Хиллестед рассмотрел возможные гипотезы о балтославянском субстрате в прибалтийско-финских языках. Проанализировав гипотезы Хольцера, Андерсена, Матасовича, докладчик присоединился к идее о необходимости реконструировать не дошедший до нас балтославянский язык, а также предположил, что название *листа* (**lešte*) в прибалтийско-финских языках может восходить к балтославянскому, а не к более раннему времени.

Х.Х. Хокк рассмотрел в докладе случаи, когда мужской род служит обобщением при обозначении людей обоего пола. Имеются в виду такие случаи, как др.-верхне-нем. *diu hiwun* 'муж и жена'.

Т. Клари посвятил свое сообщение отсутствию форм перфекта в figura etymologica. Действительно, в текстах Гомера эти случаи чрезвычайно редки и нуждаются в специальном объяснении, при том, что сама figura etymologica, вероятно, может быть восстановлена даже в качестве индоевропейского поэтического приема.

Доклад Д. Голдстейна на большом числе примеров[1] продемонстрировал употребление дательного падежа как падежа агенса при глаголе, стоящем в медиопассиве в классическом греческом. Показательно, что особенно часто такая конструкция встречается с формами перфекта и лишь спорадически с другими глагольными формами.

Р.С. Бернии К.М. Волеро попытались собрать collectiva, засвидетельствованные в ликийском языке. При чрезвычайно ограниченном объеме данных словаря Мелчерта прийти к каким-то выводам авторам доклада не удалось.

И. Якубович, чей доклад был специально отмечен премией для молодого участника конференции, на основании детального анализа контекстов рассмотрел историю развития посессивных прилагательных и возможные их

[1] В том числе, используя новейшую монографию [George 2006].

морфосинтаксические варианты, включая следующие возможные случаи: **bhrātros ek'wos* 'брата конь', **ek'wos... bhrātros-yo* 'конь, брата который', **bhrātros-so* 'брата тот'.

Вяч.Вс. Иванов, опираясь на недавно найденные архивы (примерно 1990–1723 гг. до н.э.), обратил внимание на форму древнеассирийского слова *tuzinnum*, которое встречается в контексте, позволяющем понять в свете феодальной структуры владения землей военную организацию и далее сопоставить в первую очередь с хеттским *tuzzi* 'войско', которое восходит к индоевропейскому корню **teut-* 'народ'. Сопоставив два древнеассирийских слова *tuzinnum* и *ubadinnum*, Вяч. Вс. интерпретировал второе как 'предоставление земли' на основе лувийского глагола *upa* 'дарить, предоставлять'. Таким образом проясняется социальная структура хеттского общества III тыс. и его влияние на ассирийскую культуру.

За прошедшие годы конференции в UCLA превратились в ежегодную встречу всех, кто занимается индоевропеистикой. Благодаря созидательной деятельности проф. С. Джемисона в значительной степени доклады ориентированы на древнеиндийский материал, но с глубокой индоевропейской перспективой. Регулярное издание текстов докладов и монографий по индоевропеистике, список которых помещен на сайте университета, превратил в последние годы Лос-Анджелес в один из крупнейших мировых центров, где занимаются сравнительно-историческим языкознанием.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Fortson 2004 – *B.W. Fortson*. Indo-European language and culture. An introduction. London, 2004.

George 2006 – *C.H. George*. Expressions of agency in ancient Greek. Cambridge, 2006.

Н.Н. Казанский

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

БЕ – Български език
ВДИ – Вестник древней истории
ВИ – Вопросы истории
ВСЯ – Вопросы славянского языкознания
ВФ – Вопросы философии
ВЯ – Вопросы языкознания
ЕИКЯ – Ежегодник иберийско-кавказского языкознания
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения
ЗВО РАО – Записки Восточного отделения Русского археологического общества
ИАН СЛЯ – Известия АН СССР. Серия литературы и языка
ИКЯ – Иберийско-кавказское языкознание
ИОРЯС – Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР
ИЯШ – Иностранные языки в школе
РЯНШ – Русский язык в нац. школе
РЯШ – Русский язык в школе
СбНУ – Сборник за народни умотворения
Сб. ОРЯС – Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук
СТ – Советская тюркология
ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы Академии наук (Пушкинского дома)
ФН – Доклады высшей школы. Филологические науки
ADAW – Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
AfslPh – Archiv für slavische Philologie
AGL – Archivio glottologico Italiano
AKGW – Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
AL – Acta linguistica
AmA – American anthropologist
ANF – Arkiv för nordick filologi
AO – Archív orientalní
APAW – Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse
BCLC – Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague
BPTJ – Biulétyn Polskiego towarzystwa językoznawczego
BSLP – Bullétin de la Société de linguistique de Paris
BSOS – Bulletin of the School of Oriental studies
BzNf – Beiträge zur Namenforschung
CAJ – Central Asiatic journal
CFS – Cahiers F. de Saussure
CJ – The classical journal
FPhon – Folia phoniatrica
FuF – Finnisch-ugrische Forschungen
GL – General linguistics
HR – Hispanic review
IF – Indogermanische Forschungen
IIJ – Indo-Iranian journal
IJAL – International journal of American linguistics
JA – Journal asiatique
JASA – Journal of the Acoustical society of America
JEGPh – Journal of English and Germanic philology
JL – Journal of linguistics
JP – Język polski
JRAS – Journal of the Royal Asiatic society
JSFOu – Journal de la Société finno-ougrienne
JФ – Јужнословенски филолог

KZ – Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, begründet von A. Kuhn
LaPh – Linguistics and Philosophy
Lg – Language
LIn – Linguistic Inquiry
LM – Les langues modernes
MM – Maal og minne
MSFOu – Mémoires de la Société finno-ougrienne
MSLP – Mémoires de la Société de linguistique de Paris
MSOS – Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin
NSS – Nysvenska studier
NTS – Norsk tidsskrift for sprogvidenskap
PBB – Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
PMLA – Publications of the Modern Language Association of America
RES – The Review of English studies
RÉG – Revue des études grecques
RÉSI – Revue des études slaves
RF – Romanische Forschungen
RKJL – Rozprawy Komisji językowej Lodźk. t-wa naukowego
RKJW – Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego
RLing – Russian linguistics
RLR – Revue de linguistique romane
RO – Rocznik orientalistyczny
RS – Rocznik slawistyczny
SaS – Slovo a slovesnost
SDAW – Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil-hist., Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
SL – Studia linguistica
SMS – Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopies a literárnu historiu
SPAW –Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften
StO – Studia orientalia
SWAW – Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften
TA – Traduction automatique
TCLC – Travaux du Cercle linguistique de Copenhague
TCLP – Travaux du Cercle linguistique de Prague
TIL – Travaux de l'Institut de linguistique
TPhS – Transactions of the Philological society
UAJb – Ungarische Jahrbücher
VR – Vox Romanica
WW – Wirkendes Wort
ZAS – Zentralasiatische Studien
ZCPh – Zeitschrift für celtische Philologie
ZDA – Zeitschrift für deutsches Altertum
ZDMG – Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft
ZDPh – Zeitschrift für deutsche Philologie
ZMaF – Zeitschrift für Mundartforschung
ZNS – Zeitschrift für neuere Sprachen
ZPhon – Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft
ZRPH – Zeitschrift für romanische Philologie
ZSL – Zeitschrift für Slavistik
ZSLPh – Zeitschrift für slavische Philologie

CONTENTS

Vjač.Vs. Ivanov (Moscow). On the evolution of processing and transmitting information in human and animal communities; A.D. Koshelev (Moscow). On the principal paradigms of studying natural languages in the light of cognitive linguistics; Z.A. Zorina (Moscow). Monkeys not only «think», but «speak»; A.E. Kibrik (Moscow). Linguistic reconstruction of cognitive structure; W. Chafe (Santa-Barbara). The roles of introspection, observation and experimentation in understanding of mind; K. Družkin (Moscow). The determinative phrase in ancient Greek; **Surveys:** P.V. Iosad (Moscow). The Optimality Theory: an overview; **Reviews:** I.B. Levontina (Moscow). The anthology of concepts; V.M. Mokienko (Greifswald). *W. Wysoczański*. Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych; Ya.G. Testelec (Moscow). *A. Pereltsvaig*. Copular sentences in Russian. A theory of intra-clausal relations...; V.B. Krys'ko (Moscow). Typographical typicon: Typicon with contacarium (end of 11-th – beginning of 12-th – century); A.B. Letučij (Moscow). *D.A. Peterson*. Applicative constructions; **Scientific life:** L.L. Fedorova (Moscow). International conference "Stereotypes in language, communication and culture"; N.N. Kazanskij (St.-Petersburg). XIX annual Indo-European conference (Los-Angeles, 2–3 November 2007).

Сдано в набор 18.04.2008 Подписано к печати 17.06.2008 Формат $70 \times 100^1/_{16}$
Офсетная печать Усл. печ.л. 13,0 Усл. кр.-отт. 15,10 тыс. Уч.-изд.л. 15,6 Бум. л. 5,0
Тираж 1137 экз. Зак. 322

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.
в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредитель: Российская академия наук

Издатель: Академиздатцентр "Наука", 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон (495) 637-25-16
Оригинал-макет подготовлен МАИК "Наука/Интерпериодика"
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6